КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 5

МАЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ: Неизданные литературные работы В. В Воровского **„В кругу и вне круга"** и **„Ева и Джиоконда"** по недостатку места не вошли в настоящий номер и будут помещены в следующем.

★

ОТПЕЧАТАНО
В 1-Й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГР. ГОСИЗДАТА,
МОСКВА, Пятницкая, 71.
Главл. А-36235. П. 13. Гиз 31748.
Заказ 1005. * Тираж 14 000.

Шпион.

(Роман.)

Николай Никитин.

(Окончание.)

10.

Почему они молчат? Потому ли, что у меня веселый и радостный голос? Быть может, потому что на мне новое платье? В новом платье — новый человек... Я хорошо провел день, — я счастливо выхожу из обстоятельств, — я обегал город... Краут в моих руках... Препятствия устраняются. Почему же вы сидите, повеся нос? Не нравится трактир... Вентилятор... торговцы... синий воздух... пар и запах вещей...

Свидерский бледный. Петров устал и уже пьян.

— Что с вами?

Петров щиплет усы. Свидерский оглядывается.

— В чем дело, Свидерский?

— Михайловского арестовали.

— Это я знаю. Он арестован между шестью и семью вечера в Заболотине.

Петров вытаращил глаза. Свидерский побледнел еще больше. Они удивлены. Они смотрят друг на друга, точно я их щелкнул лбами.

— Я был готов... к этому... господа.

Поднимайте бокалы за Маклецова. Берите с него пример. Мне весело. Я хвастаю. Официант...

— Обедать? Что вам Свидерский... Щи или борщ? Дайте нам маленький графинчик. Петров, здесь вам не следует пить. Квартиры? Пойдите в «Гигиену». Прекрасно... Девочки для корнета... Я шучу. Рассказывайте, Свидерский...

— В Касьянове мы отстреливались. Отряд действительно был. Они не ожидали нас в городе. С частью отряда в несколько всадников мы столкнулись. Во время перестрелки Петелькова ранили в плечо. Убито двое рядовых. Смирягин, между прочим, убит. Верст за двадцать мы отъехали в сторону за хутора и к вечеру на лошадях Николаева Филиппа лесной дорогой поехали к Заболотину. Сперва сидели в чайной. Я с Петровым. А Михайловский был один... Нас окружала тишина...

— Без беллетристики. Вы сделали ошибку. Я приказывал вам ехать с разных станций.

— Наблюдения не было, Иван Васильевич. Первым взял билет Михайловский. Мы еще в буфете пили пиво. Вдруг слышим выстрел. Публика бросилась. Агенты врываются и кричат: «Граждане, приготовьте документы». Вижу в окно — бежит по платформе Михайловский. Кто-то бросается ему под ноги. Петров выскочил в окно. Я слышу выстрелы уже с дороги... я думал, что тебя убили.

— Я еще умею бегать.

— Ну вот, гляжу, ведут Михайловского. Двое держат его за плечи... почти бегом тащат в комнату... Через полчаса я пошел пешком, не зная куда.

— А Николаев?

— Ну, мы отпустили лошадь раньше. Часа три я ходил между дач. Подхожу к станции. И там на скамеечке около ларька сидит Петров и пьет квас.

— Паники нет. Так чего же церемониться? Я пью клюквенный квас...

— Правильно, Петров. Всегда пейте клюквенный квас. Ну как дальше?

— Я не умею... Пусть Свидерский рассказывает. Он поэт.

— Дальше... Дальше, Иван Васильевич, мы шли пешком. Всю ночь. Взяли на север и вышли к Гатчине...

Итак, подвести счет. Михайловский взят. Может быть осложнение?

Что это за подозрительный человек в шарфе? Чорт возьми, пожалуй, нам втроем нельзя показываться вместе.

— Постарайтесь сегодня отдохнуть. Я не знаю, что будет завтра. Может быть, нам придется действовать сразу. Я ухожу. Завтра — в Михайловском сквере... Подойдет ко мне только Петров, если я буду читать газету. Время? Одиннадцать часов. Будьте внимательны. Я не прощаюсь.

Сейчас надо позвонить.

Тут действительно душно. Вопрос в скорости. Кто кого? Все надо обделать в сутки. Человек в шарфе? Нет, он не обращает на меня никакого внимания.

— Где телефон?

— В коридоре направо... Автомат.

— Станция... Смольный...

— Опускаю... Хозяйственная часть. Спасибо... слесаря Сименсона... Сименсон? Не узнал? Да, я... адрес Касперова? Срочно... Что?.. брось валять дурака. Какое тебе дело!.. Нет, сегодня. Скажи ему. Я буду у тебя в восемь...

Когда принимаются решения, жизнь кажется уверенней. Человек в шарфе пьет пиво.

— Группа Б... Семь ноль семь двадцать пять... Да... Опускаю.

— Алло? Бибу, будьте добры. Биба? Здравствуйте, ну как животик у мальчика? Узнали? Очень рад. Вы уезжаете?.. Нет, я не хочу. Я совсем этого не хочу. Я готов вас просить... Случайная... Все в жизни бывает случайно...

Нехорошо повторять за один день ту же цитату.

— Что?.. Простите... Я думаю об одной цитате... Да... Я вам ее уже сказал. Вы поете? У вас хорошее настроение... очень хочу. В восемь я не могу... В девять... совершенно свободен. Я очень рад. Очень рад... В девять я буду у вас.

Смотри, шарф. Вот как надо жить. Вот я опущу окурок в твою пепельницу. Ты растерялся.

— Разрешите?.. Спасибо.

Ты изумленными глазами провожаешь меня. Такой веселый человек... Такой общедоступный человек не может быть опасен. К такому радостному человеку нельзя питать подозрений.

— Извозчик. К Смольному!

Мимо идет оркестр. Печальный вальс. За оркестром белые облупленные дроги и на них красный гроб. На крышке гроба, свернувшись на бок, лежит буденновка.

В толпе родственников военные выглядят совсем иначе. Вот этот, седой, подстриженный. Наверное, из армейских полковников. В прежнее время ему бы пора в отставку — на спокойное место смотрителя зданий. Молодежь с ним почтительна. У них еще есть старые традиции. Но ведь это, кажется, Касперов? Это он!.. Он тщательно выбрит, перетянут ремнем, щеголяет стройностью. У него насмешливые и жадные губы. Такие люди любят порнографию и анекдоты...

— Стой, извозчик.

Что? Ты недоволен...

Чорт с тобой. Бери еще. Зверь — сам идет в руки.

Я пойду сбоку. Я должен подойти к Касперову и тихо его отозвать. Пусть он кончит разговор. Так. Он хочет курить. Мне с самого начала надо поставить его лицом к факту. Я должен рискнуть.

— Товарищ Касперов!

— Да?

Он глядит удивленно. Узнали меня? Сегодня днем... Да, да. Сейчас ты будешь удивлен еще более.

— С вами говорил поручик Краут?

Хорош переход! Ты ерзнул взглядом, но не испугался.

— Нет, поручик Краут мне ничего не говорил.

Ты понял меня по интонации? Мне нечего объяснять.

— Один вопрос, прапорщик Касперов. Вы на него ответите — да или нет.

— Пожалуйста... собственно...

— Прапорщик, отвечайте прямо. Хотите вы вступить в организацию или нет?

— Какая организация?.. Простите... не имею чести...

— Я просил вас ответить прямо. Важен принцип. Детали после. Заграничный центр, представителем которого я являюсь здесь, рекомендовал мне обратиться к вам. Цель — борьба с коммунистами. Ваш ответ?

— Вы понимаете... на такие вещи... ответ сразу...

Он — расчетливый человек. Но он не сказал — нет.

— Дело спокойное. Вы приглашаетесь не на террор. Вы будете получать ежемесячно. Кой-какие сведения...

Оркестр играет новый вальс.

Мучается прапорщик Касперов. Но ведь ты равнодушен. Очевидно, ты любишь деньги. Любишь женщин. Ты расчетлив, ты не очень много тратишь на них. Тебе нужна хорошая шинель. Хороший ужин в ресторане. И наконец, какое тебе дело до коммунизма?

У тебя тонкие, длинные пальцы.

— Вы, наверное, играете на рояли?

— Да... играю...

Ты удивлен. Думай же скорее. Ты же просто наемник. Ты, конечно, немного горд. Но это — военная гордость. Ты приподымаешь голову на вытянутой шее. По утрам ты долго смотришься в зеркало...

— Я жду, господин прапорщик.

— Тише, не говорите так громко.

— Помните, Касперов: личной опасности для вас нет. Неужели же вам так дорого это хамье... вы боитесь нести службу офицера?

— Я ничего не боюсь.

— Я не настаиваю.

Ты думаешь. Ты второй раз не сказал — нет... Ты жаден. Может быть, ты уже рассчитал... Теперь в одну секунду готов сорваться план... Никакими документами я тебя уверить не могу. Я могу уверить тебя только безразличием. Риск есть риск.

— Выбирайте, прапорщик.

— Простите... а вы...

— Полковник Маклецов... Гвардейской артиллерии. Вам ясно? Я ничего не скрываю.

Он внимательно смотрит на меня. Ты остановился. Тебе нужно переломить себя, перейти через эту грань. И кончено. У тебя потухла папироса...

Бросил папиросу... Тебе стало страшно. Ты сжал кулак. Дрогнул рот. Что ж, никто из нас не герой.

— Значит, прапорщик? Сегодня в восемь. У Краута. Екатерининский канал, двадцать пять б. Квартира Бухштабе.

— Но если...

— Если в деталях не сойдемся, вы свободны.

— Я понимаю...

Ты уже говоришь как заговорщик. Ты взволнован своей новой ролью. Рубикон перейден.

— До свидания.

Опять заиграл оркестр. Под музыку легче думать.

— Вы гарантируете тайну своей личной ответственностью.

Ты только дернул губами.

Тот человек обвел тебя взглядом. Каждый его взгляд — линия. Он им подчеркивает то, что видит. Вы зависите от случайностей и совпадений. А совпадения есть. Мысль совпадает с фактом. Я задумал встречу — и вот твой офицер стал моим.

Все тише и дальше оркестр.

Толпа. Дамы в отличных костюмах, откуда они? Все те же часы на Публичной библиотеке. И все та же Екатерина с любовниками. Революция еще не отменила ее.

Если я сейчас пойду за этой... Узкие, у щиколотки, ноги. Округлившаяся икра, как у балерины. Чулок крепко стягивает ногу. Серые чулки, серые перчатки и серая шляпа.

Она обернулась. Покупает цветы. Под жакетом у нее белая легкая блуза. Она подняла глаза. Шевельнулись ресницы. Осторожный сигнал...

Что же, будем состязаться. Кто он? Актер, жулик, канцелярский демон... У него бархатная блуза... Я должен сойти с тротуара и юркнуть в этот проход. Он останется позади. Я его обошел. Но он сидит у меня на спине и поверх моих плеч глядит за твоей головой. Это, действительно, настоящие скачки. Сердце мое начинает сдавать. Ты свернула за эту шеренгу военных. Они тоже ринутся за тобой? Они смеются. Кто-то из них готов отделиться. Это средний — самый маленький. Он ерзает плечами. Ему неловко. Ты останешься, мой милый...

Я прохожу мимо.

Но каким же аллюром нестись нам? Опять твои ноги передо мной в десяти шагах. И когда я взглядываю вверх на твою шляпу, мне бросается издали в солнце адмиралтейский шпиль. Он упирается в небо, как чудовищный малиновый плод.

Не придется ли нам брать барьеры? Ты пересекаешь Невский. Алло! Алло! Ты слышишь, что я думаю?

Мне надо снять с круга эту толстую девицу в кепке, выступающего журавля с гитарой, эту маленькую девушку в заграничных ботинках. Девушка гордо выкидывает стройные, худые ножки. Еще три шага — я нагоню девушку и вплотную подойду к тебе. Так помоги же мне, в самом деле.

Козырек, фуражка, красный платок, три кепки, буденновка, черная кудрявая голова, шляпа с проломом, железнодорожник... где же ты? Где твоя серая узкая шляпа?

Военных нет. Не они ли увлекли тебя? Два инженера. Горбун, изрытый оспой, с толстым, тяжелым портфелем. На трамвайных площадках гроздья народу. Милиционер переводит на другую сторону слепую старуху.

Куда же ты делась?

Неужели ты призрак этого проспекта? Пронеслась...

Ты здесь! Ты остановилась у комиссионного магазина. Одним глазом ты смотришь на фарфор. Другим на меня. Призрак ожил.

Зачем же ты опять бежишь? Послушай, призрак...

Что за дурная привычка толпиться на углах... Азиатский обычай!

Призрак оглянулся и кивнул головой. Она сейчас скользнет в подъезд.

Эй — вы, дайте дорогу! Я или перешагну через вас, или девчонка подлетит кверху, завертевшись — как футбольный мячик.

Призрак миновал аптеку со старинными цветными шарами.

Пришпорь коня, Маклецов...

Слава богу, я настиг тебя.

— Послушайте, когда же финиш?

Она подала мне руку. Мы в темном подъезде. Пахнуло прохладой.

— Мы пришли.

Наконец! Старинная, чистая лестница. Но куда мы идем? Кто она? Жена инженера, живущего на строительстве? Сумасшедшая актриса?.. Проститутка?..

Надеюсь, что она не предполагает ограбить меня.

Мы подымаемся в третий этаж.

Она картавит. Она чуть-чуть подсмеивается надо мной.

Она открывает дверь своим ключом и пропускает меня.

Вспыхнул на потолке белый шар. Передняя из дуба почти пуста. Окурок на подзеркальнике. Пустая вешалка. Из передней — длинный коридор.

— Все по-летнему. Не смотрите. Я одна... Раздевайтесь и проходите сюда...

Английский кутаный кабинет. Книжные шкафы. Странные картины. Они висят случайно. Морские виды — волны, багряное клеверское солнце, снег, — недурная старинная копия. Тебе следовало бы жить в более подобранной обстановке.

— Я чувствую себя неловко. Разрешите мне...

Надо все-таки назвать себя. Получается какое-то хамство. Назваться Легасовым?

Ей смешна моя церемонность. Она совершенно права. Взрослый мужик гонится по улице, его ведут в пустую квартиру, ему улыбаются, а он ломает комедию.

— Меня зовут Клара...

Ты снимаешь с плеч мои руки и мягко улыбаешься мне. Клара? Ты не хочешь, чтобы я тебя обнял?

— Простите меня... Клара...

— Через десять минут мы будем пить чай. Я пойду приготовить.

Ты протянула руку, ты улыбаешься.

Не смейся же надо мной, призрак. Я раскис. Это реакция. Я чувствую огромную усталость. Вот здесь в эту секунду — вышли наружу

два последних дня. Так хочется спать, что если бы я свалился на этот диван, меня нужно было бы подымать рычагами.

Мне хотелось бы быть твоими чулками. Тебя подчеркивает пролет прямых голубых портьер...

В этом кресле можно заснуть. Странная квартира. Она совсем не производит впечатления жилой. Криво стоит стол. Лежит прошлогодняя газета. Шкаф затиснут в угол. Для того чтобы достать из него книги, нужно отодвинуть пару кресел и тот столик. Смешно. Так расставляют мебель только на сцене. А что в других комнатах?

Кругом тишина. Окна пыльные. Солнце уже снялось с крыши и светит внизу за флигелями. В восемь мне надо быть дома.

Сквозь окна слышен поющий голос:

— Чинить, паять, лудить!.. Котлы, кастрюли, лоханки!..

Значит... кабинет выходит во двор.

Нет, нужно закурить, а то в самом деле засну. Звонок телефона? Это здесь? Или в нижней квартире? Здесь, в глубине. Очевидно, говорит она. С любовником, с мужем, или с таким же случайным встречным, как я. Телефон там — в темном и длинном коридоре.

В зеркало попадает кусок вечернего неба. Глубокая синева в непонятных облаках.

— Чинить, паять, лудить!.. Котлы, кастрюли!..

Тоска — я влюблен в Клару? Какая гадость! Обнять ее колени, прижаться и все рассказать. Чего ради бросает меня? Я им нравлюсь, я странный человек. Они хотят понять и как обезяны вертят вещь.

Если устроиться в этой квартире? Неделю прожить здесь в этих сумрачных и пыльных комнатах... Ничего не делать. Днем кататься в лодке по Неве. Вода пуста и лазурна. Печально, как тяжелые и обессиленные звери, качаются у набережной редкие барки. Лодку остановить против ростральных колонн. Лодка чуть-чуть подпрыгивает, и под нею пружинит прохладная и мягкая глубина. Я бы сидел с Кларой и разглядывал далекие дома, голубой минарет Петроградской стороны, белую ампирную биржу, крепостные бастионы. На Троицком мосту, увитом — как бонбоньерка — кудрявыми фонарями, мелькают игрушечные красные трамвайчики. После лодки мы будем обедать на поплавке... Сегодня я там видел красный флаг. Пристань качается, и вместе с нею вино в наших бокалах. Мы будем рано ложиться, и все эти ночи я проведу с Кларой. Утром...

Смешная квартира! Словно никто не живет в этом кабинете. Ни одной живой вещи. Как будто эту чернильницу никогда не открывают. На столе нет ничего, что мог бы забыть человек. Ни одного пустяка — сломанный карандаш, обрывок бумаги, старый конверт под чернильницей, аптечная сигнатурка в вазе... Ничего нет. Ничего!

В зеркале сверкнул огонь... В боковом флигеле закрыли окно, и в зеркало попал луч от стекла? Но ведь солнце-то ниже. Или мне просто показался огонь? Быть может, это утомление. Быть может, что-то мелькнуло там?

Странно. За мной подглядывают... Или это нервы? Надо отдохнуть и переговорить с Кларой. Диван мы переставим, а столик пойдет в тот угол. Так будет гораздо уютнее. По вечерам мы бы пили в этом углу коньяк, и я заставил бы Клару развлекать меня. Я выдумал бы славные вещи.

Надо взять в пальто папиросы.

Если я пройду дальше?.. Но неудобно же ходить по чужой квартире! Я скажу, что я заблудился и попал не в ту дверь.

Коридор делает колено.

Но здесь говорят... Значит, она не одна. Это в той комнате за глухой дверью.

Чей-то бас настойчиво бормочет. Клара картавит. Ничего не слышно...

Клара оправдывается. Что такое? Что это говорит бас?

Что происходит? Теперь ничего не слышно...

Тихо. Тихо... Я попал в западню. Я сейчас должен исчезнуть. Это будет подозрительно. Они сообразят, что я заметил. Лучше остаться и спокойно ждать. Но чорт возьми! Поскорее в переднюю...

Клара уже идет за мной. Она в необыкновенном японском халате. По красному шелку ползут золотые драконы.

— Вот и чай... Что вы тут делаете?

— Я искал папиросы.

— В кабинете есть... На столе — в зеленой коробке.

Лицо у меня посерело. Но ведь она не знает меня.

Очень ловко она расставляет печенье. Надо быть непринужденным и веселым.

— Вы прекрасная хозяйка, Клара.

— Я чудовищная хозяйка. Я ничего не умею делать.

— У вас большая квартира?

— Да...

Ты молчишь.

Но меня сейчас не арестуют? Перед арестом нечего поить чаем.

Краут?

Краут? Вопросы топлива... брикеты... донецкий уголь. Нет, Краут не притворяется.

Может быть, человек в шарфе? Это было случайно. За это я поручусь. Завтра надо спросить Свидерского, не было ли за ним наблюдения. Завтра?

— Вы глядите на меня так странно и думаете: кто же она...

Я думаю, правда, о другом. У золотых драконов подозрительные узкие, изумрудные глаза.

— Нет, я не думаю, кто вы...

— Как не думаете? Вот это замечательно!

Она хохочет. Я сейчас покраснею. Чорт возьми, надо было еще сморкаться.

— Я предпочитаю не знать.

— Люди без биографий интереснее? Так, что ли?

Опять издалека звонит телефон. Она услыхала — видно по движению бровей. Но кто же подойдет? Тот не может. Она не встает. Мы молчим. Мне не выдержать этого молчания.

— Кажется, звонит телефон.

— Вы слышите?..

— Да...

Она выходит... Она ничего не говорит. Только — «да» и «да». Но ведь меня могут арестовать и после чая. Я сейчас должен взять шапку и...

Она возвращается. Идиотское положение! Она входит. Я смотрю на часы.

— Вы знаете, Клара...

— Вы торопитесь? Ну посидите... Выпейте чаю.

— Чай я выпью.

Если звонок?.. Ведь тот мог же... Может быть, не захотел? Может быть, нарочно... Отсюда я даже не услышу звука мотора. Автомобиль на улице.

— Нет, я больше не могу тянуть. Медленно, глотая улыбку, я пью чай. Осторожно, спокойно. Улыбнуться еще раз и встать, не торопясь.

— Клара, разрешите мне...

— Ну, что же... Я вас жду. Сегодня приходите в Сад отдыха... часам к девяти.

Пальто... Револьвер — в кармане. Так. К огню — готово. Скорее вниз. «Прощайте, Клара... часам к девяти».

Второй этаж...

Все спокойно. Не может быть?

Смеется. Это ее голос.

Все мерещится мне. Ничего нет, и я выдумал страхи.

Здесь два выхода. Сбоку — под ворота. Прямо — в подъезд. Надо посмотреть боковой. Никого нет. Что же это такое?..

Призрак... Старый призрак классического проспекта!.. Еще немного — и немец выпорол бы меня... Какая чепуха!

Мирно стоят извозчики.

Сейчас завернуть налево... Комиссионный магазин: саксонская ваза с пастушками в камзолах. И тут кафе. Синяя, квадратная комната. Тускло, темно. «Телефон?»

— Группа Б... Семь ноль семь двадцать пять... Биба... я не могу быть у вас... я встревожен?.. Нет, ничего... это вам кажется... я потерял квартиру... Вы? Нет. Я не могу стеснять вас... Что?

У тебя уехала мама... Мама уехала в Сестрорецк...

— Но, Биба... Не рассуждать? Я не рассуждаю, Биба. Я не могу быть.

Я же не могу сидеть у тебя в квартире, как в бесте. Ты же потянешь меня с собой.

— Биба... дайте же мне сказать. Если можно... Позднее... я приеду к вам... ну, хорошо...

Она не хочет, чтобы я был встревожен... «Я приведу в порядок ваши нервы...» Посмотрим.

11.

Касперов ждет. Напрасно я отпустил Свидерского до утра. Сегодня нужно было бы послать его по адресам. Мякотин из Сенного рынка, ларек № 105, призрак семеновского унтер-офицера. Плеске — тоже призрак.

Медлить, очевидно, нельзя. Раздать задания. Очевидно придется прибегнуть к иностранной помощи. И хоть капитан Минута не рекомендовал... Но я не буду рисковать. Кой чорт, второй раз ломать себе голову на границе!

Цвибак? Цвибак пропал. И Цвибак, и иностранный агент — тоже призраки.

Ларек, конечно, закрыт. Но есть дежурный, у него можно узнать домашний адрес. Надо было бы переменить место собрания. Может быть, у Мякотина или Плеске... Впрочем Плеске — важный призрак. Он управляет строительством, красный генерал... Он не пойдет на рискованные штуки.

Призраками переполнена улица.

Завтра пошлю Свидерского с паролями. Собрание назначим на девять вечера. Собрание призраков.

Здесь я когда-то пробирался к Охотниковым на котильон. Здесь проезжали пажи. Решетки банка покрылись туманом. Помутнели золотые львы на гнутом мостике. Царствует огромная колоннада собора. Там у левых дверей перед иконой горит фонарь, и из окон при свете лампад видны были уходящие в тьму своды, увешанные истлевающими знаменами гвардии.

Это давало волнение. Медленно и упорно надо точить камень.

— Нет, я знаю. Я, конечно, знаю, чего я хочу.

У Охотниковых всегда был прекрасный, цветочный котильон.

Касперов, наверное, пришел, и его забавляет тетушка Бухштабе.

Дверь обита старым ковром. Электрический звонок не действует — надо звонить в колокольчик. Даже на ручке звонка пыль. Он совсем захватанный и зеленый. Плесень безжалостно ест эту квартиру.

За дверью шлепает старуха.

Сейчас она подымет крюк. Крюк загремит. Тетушка обольет меня презрением.

Старуха не смотрит на меня. Наверное, что-нибудь случилось. Я сам закрою дверь, не ворчи.

Я хочу есть. Я ведь не ел целый день. Только чашка чая у призрака.

— Тебя ждут. Какой-то пришел. И, пожалуйста, оставь эту моду давать мой адрес. Теперь не девятнадцатый год.

— Хорошо, тетушка. Завтра последний раз.

— Что такое? Оставь, мой ангел.

— Тетушка, я хочу есть.

Тетушка шуршит в паутине.

— Возьмите деньги...

Ты улыбаешься. Раньше у тебя это выходило лучше.

— А винца, Ваня, можно?..

— Разумеется. Все ваше.

— Я куплю белое, из французских. В нашем кооперативе есть.

— Распоряжайтесь....

Старуха надевает мантилью. Еще сохранились допотопные, шитые черным стеклярусом, шелковые, пахнущие нафталином, мантильи. Большевикам следовало бы расстрелять весь мир. Они ошиблись, и теперь эти монстры лезут им на голову.

— Краут... Простите, прапорщик, меня задержали.

Он поднял голову. Касперов встал. Краут стремится улизнуть.

— Краут, вы можете выйти в соседнюю комнату.

Касперов молчит. С чего же мне начать? Он ждет от меня конкретных указаний. Он спокоен, он предпочитает говорить сейчас только о платье. От него пахнет духами. Он щеголеват и сух, как косточка. Усы — по-английски, сделаны ногти, скрипит кобура, шпор, слава богу, нет... В нем еще есть вкус.

Итак, деньги... Деньги — нелегкое дело. У тебя длинное, желтое, офицерское лицо. Сухая кожа. По утрам ты, наверное, ухаживаешь за собой. Ты моешь лицо водкой. Ты не стал счетоводом в расползающихся валенках. Беспринципность? Что ж, ты любишь жизнь. У меня ремесло убийцы, тебе не позволяют нервы. Людей презирают только за одно убийство, за десять смотрят со страхом, за сто — вставляют в литературный роман, а за десятки тысяч убийств возводят в Бонапарты.

Бонапартом тебе не быть, но адъютантом при Бонапарте... Ты почтительно смеешься.

— Итак, прапорщик Касперов. Двести в месяц фиксу. Ваше дело — информация и связь.

Ты чистишь ногти. Ты встаешь.

— Я хочу, полковник, двести пятьдесят. Я больной человек. У меня контужены ноги.

Ты — лавочник, милый мой. Ладно...

— Ваше второе дело — организовать пятерку сочувствующих нам. Это обязан делать каждый член организации.

Ты следишь за моими пальцами. Сегодня я тебе дам больше... Ты, не считая, кладешь деньги в карман. У тебя немножко дрожат руки от страха и жадности.

— Завтра в девять собрание. Дадите информацию о командных курсах... Кто там есть из своих?..

— Полковник Глечик из генерального штаба. Он у нас преподает тактику. Он был сегодня на похоронах....

— Это седенький, бравый старикашка?..

— Да...

— Я плохо его помню. Можно верить?

— Он офицер и....

— И если его пригласить, он пойдет?

— Я не могу сказать.

— У него были недоразумения с начальством?

— Да... Но в общем у него отношения хорошие... Хотя... все-таки, вы знаете...

— Молодец Касперов, вы сразу входите в дело. Завтра попросите полковника Глечика... Но начинайте с ним осторожно. Скажите, что создается просто экономическая и дружеская организация офицеров... он должен понять...

— Слушаю.

— Если успеете... достаньте к завтрашнему дню план Смольного.

Касперов оставил после себя запах духов.

Краут чертит диаграммы.

«Теплотворная способность воздушно-сухого материала...»

«Калориметрическая...»

«Полезная...»

Стол загружен лесными журналами... «Известия по теплотехнике»... Он сошел с ума. Неужели люди могут меняться, и прапорщик Касперов через пять лет займется резиновым производством? Великолепный хлыщ!

Мне стыдно. В детстве я благоговел перед книжными полками, и мне всегда казалось, что я ничему не научусь.

И я ничему не научился. Я даже не умею жить.

Смерть. Это понятно мне.

А Краут сидит ночами — среди диаграмм и книг.

Что это за надпись над столом? Краут развешивает лозунги.

«Развитие культуры и индустрии издавна показали себя столь деятельными в истреблении лесов, что все, сделанное для сохранения их, есть величина совершенно ничтожная...»

— Что вы смотрите, Иван Васильевич?

— Это молитва?

— Нет, это из Маркса. Это отрицательная молитва. Я напоминаю себе, чего не должно быть.

У него провалились виски. Краут, действительно, сошел с ума. Но я не сужу. Я смотрю на тебя, как в детстве... Вот это, может быть, и есть то новое, чего мы не знаем о них. Они сумели переделать поручика Краута.

Я не понимаю вас, поручик Краут.

— Краут, объясните мне цель ваших работ.

— Я ищу новое топливо. Нефть и уголь ограничены в мире. Страны грызутся, стремясь переделать топливную карту мира. Нас ждут топливные войны... Вы понимаете?

— Да.

— Белый уголь может насытить только пять процентов мировой потребности в энергии...

— Значит, надо искать новое топливо.

— Я его нашел.

Как, здесь? В этой комнате, полной хлама? Он, действительно, сошел с ума. Он сыпет цифрами, и я ничего не понимаю. Он похож на цифру.

— Хвойный отпад — это новый материал. Десятина сосны дает в год до трехсот пудов отпада, ель — шестьсот... Если помножить на нашу лесную площадь, это даст двести миллиардов пудов топлива. Это опрокидывает все. Вы понимаете... Надо строить брикеты и механизировать всю обработку. Тут целый ряд вопросов. Все это надо разрешить.

— Об этом знают?

— Да. Я связался с теплотехническим институтом.

— Краут, вы делаете переворот.

— Не смейтесь... В тех промышленных районах, где я могу давать двенадцать с половиной миллиардов топлива в год, потребность только на полтора миллиарда.

Если он прав, то с ним надо будет посчитаться сильнее, чем с целым десятком исполкомов. Физически уничтожить его? Но семена заложены. Надо выбрать иной путь. Ты был бы первым человеком в Европе. Тебе дали бы лаборатории. Ты бы имел отель, и лакей докладывал бы тебе о моем приходе. И ты мог бы принять или не принять меня...

Это я понимаю.

А ты глядишь здесь на канал. Пыльные окна закрыты еще с зимы. Смотришь на эти обычные звезды. В этом небе не жужжат освещенные аэропланы, пропагандирующие новую шоколадную фирму, не играет на нем световая реклама дыма, никто не говорит тебе с неба о новой марк автомобиля для прогулок, о необыкновенном шелке из сосны. Не шумит внизу беспорядочная толпа, где предают, едят мороженое из узких бокалов, готовят убийство и наслаждаются.

— Я хочу...

Что же ты хочешь? Не видно твоего лица. Сумерки. Когда ты подымаешь руку, ты удивительно становишься похож на цифру семь...

— Я выведу людей из тьмы шахт на землю.

Только-то! Немногого ты хочешь. Тебя бы засмеяли там. Тебе здорово щелкнули бы в нос... Загнали бы тебя в ночлежку.

Все еще возится за стеной тетушка Бухштабе.

Мы с ней понимаем простые вещи — еду, вино, котильон...

— Краут, идемте, выпьем.

— Я не хочу.

Ты хочешь фокусничать, дело твое. Мы выпьем французского. Первой вспыхнет тетушка Бухштабе, разгорятся гвардейские кости. Мы будем есть... мы будем пить...

Надо сказать тетушке Бухштабе, чтобы завтра она привела в порядок свою комнату...

Завтра... Нет, мы не будем выводить человечество из тьмы шахт.

Какая глупость!.. Мы не нанимались в няньки человечеству. Да здравствует котильон!

12.

Биба лежит на кушетке. Она спит и немножко присвистывает. Она довольна. Издали нас обоих можно было бы принять за фигурки на чернильнице. Канцелярская скульптура...

Сначала мы разговаривали, а потом пили коньяк. После коньяку опять разговаривали...

Да... потом она засмеялась...

— Завтра мама возьмет мальчика. Понимаете в... Сестрорецк... Ему там лучше. Там воздух!

Я понимаю... я улыбнулся... а она сказала:

— Мы плохие матери. Но ему еще не надо меня. Придет время. Он подрастет, и я стану организовывать в нем полезного стране человека.

Она в это искренно верит.

Ей хорошо жить, ее идеология безупречна.

Вчера ночью свернул с набережной отряд комсомольцев. Их было много. Они шли походным маршем, с гармониками, с мандолинами, с песнями.

Ночная улица, весна, крики, беспорядочность. Это волновало... Я умру, а они будут жить.

Я убиваю... А они будут жить... Я не понял, почему заплакала Биба. Их я не могу убивать. Их больше. Это простая арифметика.

Может быть потому, что это было издали, может быть потому, что улица наполнилась весенней ночью, может быть потому, что мимо проходила молодость...

Нет... Я остался таким же. Я ненавижу.

Это была только ночь? Сон? Улица?

Они кричали из тьмы, мне было жутко, но я был спокоен. Биба живет в своей жизни, в своей стране.

Утро. Ночи нет.

— Раньше они никогда не кричали. Городовой сторожил на нашей Сергиевской генералов и старух.

Так сказала Биба. Я налил две рюмки, чокнулся с ней и выпил... за эту молодость.

Ее нет там. Ее не знают в Париже.

Мы закрыли окно. Начинало дуть с моря. Издали бренчал комсомольский оркестр.

Биба свернулась в кресле. Закрыла лицо руками. Значит, и у нее не все в таком порядке.

Неприятно светлело небо, я опустил штору.

Я подошел к креслу. Нам обоим это было понятно. Я хотел забвения.

Ты — мне чужая. Ты дергаешься во сне. У тебя влажная спина. Тебя мучит кошмар? Может быть, ты сейчас проснулась и нарочно лежишь с закрытыми глазами, не зная что сказать. Если я сейчас поцелую тебя в плечо, ты перевернешься ко мне с улыбкой. Легко состряпать эту улыбку.

Но я не хочу целовать тебя. Если я это сделаю, так только затем, чтобы помочь тебе и мне.

Мы с тобой не одиноки. И в номере тридцать девятом, и еще в сотне других номеров... то же самое... то же утро из-за шторы... Глупость.

Биба мгновенно встает. Может быть, она ждала моих сигналов? Поздно? Она разыскивает халат.

Я закрою глаза. Пусть она думает: я опять заснул...

Она подходит к шторе. Неужели она сейчас отдернет ее? Кинется солнце, и я должен буду смеяться.

Мне стыдно, у нее сильное и молодое тело. Она уйдет к ребенку... Она вымоется и будет кормить его.

Стучат в дверь?

Это прислуга...

Биба шепчет:

— Я знаю, Маша. Я сейчас.

Тебе не надо часов.

Маша, конечно, заглянула в ту комнату, где мне стелили постель.

Теперь, когда она ушла, мне надо перебежать туда... Но в столовой, может быть, Маша? Я пройду мимо нее с ботинками в руках, как испуганный вор.

В столовой пусто. Стол накрыт. Мыться? Слышен крик Бибы. Она играет с ребенком. Ребенок смотрит в лицо матери и не понимает, отчего мать раздражена...

Нет, Биба смеется. Биба беспечна. Как она делает эту игру?

Теперь сесть в кресло, взять вчерашнюю газету, закурить папиросу и дожидаться самовара.

Итак, я здесь...

Здоровается Маша. Здравствуйте!.. Что же вы будете думать дальше?

— Маша, возьмите малютку, я пойду мыться.

Она сейчас должна пройти мимо меня.

Она быстро бежит, запахиваясь в халат. Она открывает глаза, улыбается и исчезает молча.

Все кончено, налажен день, неловкости не может быть.

Биба несет самовар. Пар бьет ей прямо в нос. Она морщится и смеется.

— Сказали бы мне...

— А зачем?..

Биба садится за стол, приглашает меня. Надо спросить о ребенке — это нейтрально.

— Кормили?

— Да... Только не сама. Он с третьего месяца на искусственном. Корова все-таки лучше. Бабушка и спиртовка — вот две идеальные вещи для современного ребенка.

— Вы правы. За границей уже не кормят... Есть несколько способов искусственного кормления. Метод профессора Шварца...

Я говорю долго, утомительно. Она не слушает меня. Она проверяет свою ночь...

Разве это несовместимо с заграничными методами? Или скучны методы? Или просто — об этом не полагается говорить?

Она невнимательна. Она вертит конец скатерти, поддакивая мне. На момент оживляется и опять... ей мешают мысли, — она хочет опровергнуть эту ночь...

— Вы бывали за границей?

— Да... Но очень давно. Во времена войны... Я был с двумя дивизиями. Их послала Россия на французский фронт. Я был в корпусе Фоша... русским военным агентом...

Биба горделиво опускает ресницы грустные и странные.

Я вру... Но она не может сомневаться. Я ведь действительно чуть не попал туда. Вообще я был либеральный человек. Я дышал Европой... Я имел связи с противоправительственными кружками. Меня нарочно посылали на самые опасные места... Так, на Сомме... на Сомме..

Ты с грустью слушаешь меня. Но зачем я лгу?..

Я не понимаю тебя. Ты сегодня спала со мной. Что же ты опровергаешь?

В окно глядит день. Кистью руки ты касаешься щек. Может быть, ты стираешь ночь.

Все бывает случайно.

Неужели ты не умеешь наслаждаться минутой? Призрак на границе привлек меня. Только призрак, отпечатавшийся в мозгу.

Нет, я не облегчу тебя. Я не могу тебя ничем облегчить, ты не можешь освободить себя от мыслей... Вчера ты пела...

Сегодня. . к одиннадцати я должен быть в Михайловском саду. Но я не могу появиться сегодня. Они придут завтра, они придут на третий день, пока их не прихлопнет наблюдающая рука.

Я должен сделать одно. Я должен сказать: «Биба...» Да, именно так! «Я нездоров. У меня разболелись глаза. Это старая болезнь с фронта. Но мне надо увидеть одного человека. Он меня дожидается в саду... может быть, ваша няня приведет его сюда? Мне ему надо сказать только несколько слов». — «Я схожу сама...» — так ты ответишь.

Что ж, если ты хочешь. Тебя я не могу подозревать. Я неожиданно встретился с тобой. У меня никаких данных против тебя...

«Вот... Дайте мне карандаш. Если бы вы пошли вместо меня...»

«Вы возьмете его с собой», — так я ей скажу.

Это же детское... Этот план — план просто дурацкий. Я — дурак.

Он не знает моей конспиративной фамилии. Он побоится... В конце концов я поступил очень глупо. Петров не знает ничего...

Ну что же... Единственный выход — надо ей рассказать.

«Он не знает меня. Я ему назначил свидание в одиннадцать часов. Я — уполномоченный промартели, который с ним говорил вчера...»

— Вы поняли, Биба? Я не могу... Я не могу.

Он выглядит...

Он — странный человек. Вы на него не обращайте внимания. Вы будьте настойчивы. Он очень робкий человек...

Он выглядит? Это — величайшая глупость.

Нет — все не так. Я обещал — «сидеть на скамейке, дожидаться с газетой в руках... читать эту газету». Именно так я сказал ему в трактире. Только тогда можно ко мне подойти. Петров не поверит ей.

Забыл.

Все забыл!

Биба стоит... ей ничего нельзя сказать. А разве я что-нибудь сказал? Я ничего не сказал.

Она села и смотрит мне в глаза. Она видит, что я мучаюсь. Зачем?

Мне мешают совершить преступление.

Оно отходит уже на второй план.

Это она — Биба... Она садится ко мне. От ее плеча тепло и аромат... Это поле. Я бросаюсь в траву...

Совсем один.

Там кусты. Там межа. А оттуда с некошенного луга подуло кружевным, острым тмином.

До боли хочется тепла.

Это же только кушетка.

Маклецов!.. Маклецов!.. Остановись! Отдерни руки! Но разве они не живые... разве они не тянутся сами?

Ничего нет. Это только кушетка...

И из нее в широкое окно ты видишь крыши Ленинграда. Ржавая, с заплатами. Облупленный дом. Вновь реставрированный особняк под старинное: желтое с белым.

В это яснейшее небо на севере — в то, что отражено многоводной Невой и каналами, — тянутся тысячи антенн... провода питают воздух..

Город пересечен паутиной. Растворяются уши — и голос: говорит Ленинград... Алло! Алло! Ленинград... На волне тысяча метров.

Голос кричит — этому скопищу музеев и домов, где все как музей — улицы, фонарь, решетка, памятник, липы...

Алло! Алло! Этому нежному и жестокому небу...

А ты с гранатами... с отчаянием... с предательством.

Но я ведь ненавижу всех их.

Нет!

Я только на кушетке. Это Биба дергает меня, как складного шута, — за ниточки.

Биба гладит мою голову. Если бы она все знала!.

— Биба. Я притворялся. Я видел, когда вы проснулись, я нарочно закрыл глаза...

— Нарочно?

— Да... да...

Я буду лгать... Ты напрасно говоришь:

— Не надо... не надо...

Отсюда из музейного скопища домов-бронз-картин-подвалов, что обмерзает и леденеет в зиму и снова распускается в весну, от этóго чудовищного города — на волне тысяча метров — в пасть — зарычать всей Ресефесерии...

Не покаяться.

Нет.

Сознаться?

Нет.

Не молчать. Только бы не молчать!

— Я... Биба...

— Не надо... Успокойся, я поняла тебя...

— Что ты поняла?.. Ты? Ты? Я же не о том.

Да... Это ее лицо? Именно — эти глаза. Их я нашел. Но это только видение. Ее круглые руки — это тоже призрак... Но это уже не тот, за которым можно умчаться по длиннейшему проспекту в мире, — мимо колоннад, памятников, багровых дворцов...

Все, что осталось от империи, — багрово.

Багровы старые крыши. Багровы флигеля. Багровы арки, стены, колонны. За черными решетками стрела проспекта летит мимо — прямо в низкорослый, раскидистый строй деревьев жуткого Александровского сада — рядом с багровым, широколапым, непонятно-жутким дворцом... наверху — на багровом фронтоне строй белых призраков в строгой лазури петербургского неба.

Багряная империя! Жерла сверкающих пушек гвардейской артиллерии на крещенском параде у Зимней канавки...

Громко трясутся лафеты... Впереди взвод голубых кирасир. Слепит серебро. Оглушают трубы. Лиловый багрянец семеновцев. И чистый алый — наших батарей...

И около нас — маленький багряный император... Он говорит мне: «... Полковник...» И я ему говорю: «Полковник...»

— Биба!.. Биба!

— Я здесь... Вот вода...

Но ведь и я багрян. Кричит мое шитье! Мой воротник!.. Мой конь! Качаются у колонны штандарты... Разве я не ненавидел, разве я не обожал этого пигмея, ради которого гордо реет багрянец?..

Да.

Но мы остаемся... Мы доживаем. Ужасное слово. Я, как и он, — я... складывающийся, залитый багрянцем... Кукла на ниточках.

Биба!

Пролилась за воротник вода... Мелькнула испуганная Маша. У нее мальчик на руках — мой флаг, моя крепость.

— Вы гулять?.. Только осторожнее, Маша... Я жду маминого звонка.

Они гулять? .

У него глазки как насекомые. Он доволен — не плачет сегодня.

Хлопнула дверь.

Биба вернулась. Вытянулась около стола. Может ли она осмыслить причины? Она глядит. У тебя в голове лапки перебирают что-то — шуршит ворох мыслей.

— У меня шуршит в голове, Биба... Это у меня, Биба, а не у тебя.

— Да... да. Я знаю — ты сейчас успокоишься.

Я лежу.

Я спал? Мокрый воротничок. На виске слиплись волосы.

Луч передвинулся. Значит, Петров стоит... На другой аллее нервничает Свидерский. Они шагают по круглому скверу — в тарелке. На ходу они переглядываются — что случилось, я опоздал...

Они ходят еще четверть часа. Над ними тот же ясный свод. Безмятежничает кукольный Михайловский театр... Раскинул фасады музей, в прохладных залах — гробах — картины...

Гремят трамваи кольца.

Клумбы у музея лысы. Революция не охотница до цветочков. Там, где взводы императорской охраны сторожили военную комендатуру и гауптвахту, рядом за проволокой лежит пустырь? Растет трава. Играют в лапту ребята. Те же испытанные решетки на окнах. И около ворот два спокойных, небрежных красноармейца.

Мои офицеры оглядели все окна, всех прохожих, изучили милиционера, поставленного караулить музей. За широкими окнами мертво. Еще не рано, еще не поздно, — площадь оживет к четырем часам дня.

— Биба... я пойду.

— Ты не можешь итти.

Откуда ты это знаешь? У тебя растрепалась прическа. Ты испугана. Но почему ты говришь?.. Ты что же, вырываешь у меня признание? Разве я что-нибудь сказал? Я же отлично помню...

Ты хочешь командовать и вырывать. Ты?

Кто знает — кто ты? Я вас знаю... таких. Я ничего не сказал!

Ты опускаешь глаза. Неужели тебе достаточно?.. Неужели тебе все ясно?

Так зачем же теперь ты берешь мои руки?

— Володя!

— Я не Володя. Лгут мои глаза. В эту секунду я тебе, наверное, противен. Да... Ты говоришь: «Володя...» Что же ты хочешь вложить

в это слово? Какой смысл? Ты переспала со мной... и вот — «Володя...»

Ты пугаешься? Разве я оскорбил тебя?

— Биба, я должен итти.

— Ты не пойдешь.

— Почему?

— Тебе нельзя.

— Откуда ты знаешь?

Она отошла. Опустилась на кушетку. Закрыла глаза. Что ж, это твоя гордость мешает тебе признаться... Вздор. Ничего нет.

Я ничего не сказал вслух. Или я бредил? Видишь — я смеюсь. Я спокоен.

— Да, Биба. Я ухожу.

Ты хочешь мне помешать? Ты держишь меня за руки.

— Нет...

— Что же ты хочешь?

— Ты не уйдешь. Ты не можешь итти. Ты сам сказал...

— Я сказал?

— Да, ты это сказал.

— Я не мог сказать.

— Ты сказал...

— Ну и что же?.. Не держи меня. Слышишь!..

Бьет двенадцать часов. Это в соседней квартире. На Сергиевской тишина. Будет такое же жаркое лето? Или только весна такая?

Как случилось — она вторгается в меня? Это от ночи, когда пришло все неожиданно — лимонные облака, умершие улицы, разрытые мостовые, ветер с Невы, обшитой гранитом... Когда ползла эта утомительная, обессиливающая тень, тоска, прохлада геометрического города.

В этих линиях... в прямолинейных проспектах скопища, в квадратных кварталах, расчисленных архитектором, страшно легко поймать шпиона.

Неужели ушел Петров?

— Биба. Ты не пускаешь меня?..

Прекрасно — назло всему, всей геометрии, всему потревоженному скопищу — к чорту!.. Плюнув...

— Ты останешься здесь!

Я останусь здесь? Вот как! Может быть, меня заставят это сделать силком? Пожалуйста, я не сопротивляюсь.

Здесь стоят кариатиды. Я складываю руки — как шут... Я хохочу. Ха-ха!.. Я поддерживаю эрмитаж ненависти.

Ты видишь — я закуриваю папиросу. Я никуда не ухожу.

— Биба. Ты сейчас возьмешь извозчика к Михайловскому саду, там ходит человек... Он выглядит... Да. Он в черном кожаном пальто, черная фуражка. Скажи ему, что его ждет Маклецов. Маклецов! Поняла?.. Ты поняла? Ты довольна?.. Маклецов!

Я сказал. Я сижу на кушетке. Я курю.

Она накинула пальто... Теперь — шляпу. Ты довольна? Я сказал? Как же я мог сказать?.. Я крикнул!

Красные пятна... Мне кажется, ты молчишь потому, что тебе уже страшно спрашивать дальше.

— Ты прикажешь ему ехать немедленно сюда... ко мне...

Все сделано. Все ясно... И ничего не ясно. Ты видишь, только ты могла меня поймать. Но я никогда тебе не прощу этого.

Не ободряй меня. Сними руки... это оскорбляет меня.

— Я тебе все расскажу... Потом.

Видишь — я ничего не боюсь. Ты ни его не добилась.

Минутная слабость? Но в ней я не выдал себя.

Ты дотрагиваешься до моих рук...

— Нет, я не роняю голову...

Если бы заражение стало разрушать палец, я бы должен был взять ножницы и резать, закрыв глаза. Если бы заражение, но если шуршит мысль... Ты понимаешь?

Ты целуешь. Но я не могу поднять глаз. Я не могу ответить тебе. Я хохочу...

Биба, я же не люблю тебя.

Щелкнул французский замок. Тишина, полковник.

Журналы? Я ничего не могу смотреть. Еще одну папиросу. Я не понимаю Бибы.

Это делается нарочно. Или... Нет, этого «или» не может быть. Но теперь уже поздно. Все нужно поставить по своим местам. Сегодня собрание...

Господа-шуаны, достаточно ли вы ненавидите?

В конце концов, иначе я поступить не мог. Я же имею право рисковать.

Единственное, что меня может спасти, — откровенность.

Да. Тишина, полковник, тишина. Тишина — это гордая женщина.

13.

— Ты шпион?..

— Да, я шпион... если хочешь... Шпион.

Биба сжала губы. Ты презираешь меня? Ты должна меня презирать. Я открылся. Теперь ты видишь все карты — делай все, что тебе угодно. Ты не думала, что я шпион.

Но Биба — и ты вовлечена! Ты привела шпиона. Шпиону я передал поручение... пароли... У тебя в квартире были два шпиона...

— Вечером я ухожу, Биба.

— Но...

Да, да, Биба! И ты привела шпиона... Петров поверил тебе. Теперь Петров ушел. Ты не слушала нас? Ты не разговаривала с ним? Однако ты сразу сказала мне, когда вышел Петров: «Шпион?»

— Ну. Мы не встретимся... очевидно... Биба...

— Да.

Ты, конечно, согласна. Мы, конечно, не встретимся. Когда стемнеет, я выйду — в сумерки. Сегодня пасмурно.

Нева — душная печь. Даже собаки не играют на улице.

В сумерках я сумею пробраться на Екатерининский канал.

Биба так странно ходит, так непонятно молчит, как будто бы я ее обманул.

Она взяла книгу и бросила.

Подошла к окну. Остановилась, прилегла на подоконник.

Шелковый чулок порвался в коленке.

Если бы я тебе предложил контрабанду — пудру, чулки, духи?.. Я тебе завтра пришлю контрабанду. Надо приказать Свидерскому найти Цвибака в «Баре». Цвибак разыщет...

Ты получишь «диаманты».

Я отблагодарю тебя.

Не думает ли она, что я ее люблю? Я был нежен... К чорту — я достану тебе заграничных материй.

О чем же она думает?

Надо к ней подойти и рассеять ее.

Биба подняла голову — вдруг вгляделась... Куда? В седые мои виски?

И рассмеялась.

— Как вы решились...

Что? Я стар, хочешь ты сказать. Или — как я решился тебе признаться?..

— Как вы решились подняться на съемку?

Конечно, она считает меня дураком... Конечно, я выглядел там очень смешно — среди великолепия той террасы, вылощенных лошадей, егеря с зелеными жгутами.

— Вы были пьяным, что ли...

Я был пьян? Да, меня лихорадило. Я был пьян...

Или — ты говоришь это с досады? Попалась ведь ты, а не я... Ты спала со мной. Ты привыкла спать со всеми. Так, что ли?

Думала ли ты, что в твои герои попадет такой. Значит — все то, что я тебе рассказал...

— Что вы кривите губы?.. Разве я вам сказала, что-нибудь неприятное?

Этого еще нехватало. А разве я не кривлялся?

Вчера... В вагоне... ночью... Да, даже ночью...

И даже это... нелепое признание... Оно, в сущности, ничего не раскрыло. Биба всегда может оправдаться — перед собой, перед властями. Я назвался чужой фамилией. Вот и все.

Почему — отвечать...

— Я не хочу отвечать.

— Немного нужно, чтобы вывести вас из равновесия. Вы стучите кулаками?

— Я стучу?

Да, я не замечаю. Кулак мой на подоконнике. Смешно, когда лежит кулак без действия...

Ты уже стала называть меня на «вы». Я жалок... Ты презираешь...

— Ну, выдавайте меня... Бегите, звоните по телефону..

— Убирайтесь... вон!

— Биба!..

— Не трогайте меня!

— Вам противно?..

— Уходите, я говорю вам...

— Биба!..

Я вижу в маленькой дырочке на чулке ее тело... Что я делаю?.. Она локтями отталкивает меня. Я — гадок... Больно? Я держу тебя за руки, да — я хочу, чтобы тебе было еще больнее.

Ты сопротивляешься. Лицо исказилось. Я тебя буду нежно ласкать. Я не хочу, чтобы ты меня считала таким...

Неужели ты не понимаешь моего крика?

— Биба!

Она окаменела. Я ее прижал в угол. Глазами она зарезала бы меня.

Что же, долго мы будем стоять так? Ты стараешься оттолкнуть меня, ты упираешься мне в грудь руками. Но я сжимаю их. У тебя выкатились слезы от боли. Я втисну тебя в щель. Я сплющу тебя.

— Ты сошел с ума...

Да, я сошел с ума. Ты сказала мне — «ты». У нее посинели губы. В уголке губ слюна.

— Сейчас вернется Маша... Мерзавец! Мерзавец!

Это сигнал мне. Да, это сигнал. Не понимаю... я сразу отпустил ее. У нее упали руки.

Вот она двинулась. Она — больная. Она оглядывается и как будто не узнает ни стен, ни кушетки, ни широкого окна...

Напротив глядит баба... Я спущу штору. Штора падает наполовину, закрывая строй антенн.

Биба упала на кушетку.

Я — «мерзавец» — беру ее руку.

Но стоит мне, поднести руку к губам, Биба отдергивает ее.

Ты не хочешь!..

В горле у меня катаются шары. Слюна топит горло.

Одеться, уйти?

Сейчас вернется Маша, закричит ребенок. Там на черной вешалке мое пальто.

Я целую ее чулок... Туфли. Я чувствую кожу туфли — старую и пыльную. Но мне это приятно. Если она пожелает, я застрелюсь... Я ощупываю револьвер...

Нет, это преувеличение.

Я не могу удержать спазмы.

Хоть какой-нибудь звук — гром, пожар, Маша...

— Биба, я не знаю, что сказать...

Я чувствую на лбу пот. Биба хочет подняться, я боюсь, что как только она встанет, тронется с места и тишина...

— Одну минуту, Биба... Биба!

Я хочу говорить. Но вместо этого я только кричу ее имя.

Я опять наклоняюсь к ее коленам. Я слышу — она сморкается. Я не смею поднять головы. В одну и ту же секунду пробегают разные мысли. Они потеряли свою серьезность. Не потому ли, что она сморкается?

Я дотрагиваюсь до нее. Я хочу вложить в это всю нежность. Я знаю, что мне сейчас можно не верить. Но тем более я хочу, чтобы сейчас мне поверили.

Я слышу шуршание ее платка.

Она пискнула носом.

Я поднял голову.

Я держу, я не выпущу из рук мое спасение. Нос — ты меня спас!..

Ее холодные, зеленые глаза расплавились.

Она не знает, как ей отнестись ко мне. Она коснулась моего виска, покачала головой.

— Вы больны... Вчера ты тоже был пьяным. Ты пьешь...

Она трогает мои седые волосы.

Мгновением — неимоверно быстрым — мне вспоминается: большая, угловая клетка... гориллы... Стол, стулья, трапеции — все брошено. Они прижались в угол клетки. Он опустил голову к ней на колени. Она слегка касается его своей рукой. Она смотрит в пар, где в синем от отопления воздухе вянут пальмы. Сквозь стеклянную крышу берлинское небо давится дождем... Когда она забывает его гладить, он берет ее руку и прикладывает к своей голове...

Я буду откровенен.

Я рассказываю ей... почти все... Если мою откровенность помножить на политику... ну берите меня таким, таким. Я не ангел... Правда, про двух красноармейцев, везших грим, я утаил. Я утаил и про уборщика в исполкоме. По мере рассказа я пытаюсь ей доказать, что все это проделано мной «не для себя». Я ловлю себя... но она не дает мне исправиться.

Не для себя... так для кого же?..

Она испуганно закрывает глаза, точно я стреляю в нее. В оскале остановившегося рта, в темной щелке среди ровных, блистающих зубов я вижу... Иногда они закрываются, точно от омерзения.

Иногда она вздрагивает.

Неужели все это так страшно, так отвратительно?

Я этого никак не учел. Значит, я просто не понимаю.

Она бледна. Руку с моей головы она уже давно сняла.

Я хочу ее успокоить...

Я начинаю смеяться... Я вышучиваю Париж и протирающих штаны эмигрантов.

Я соглашаюсь с ней. Тем лучше для революции. Если я отброшен, я сыграю свою роль отброса до конца.

Я осмотрюсь. И уйду обратно — туда...

Она говорит:

— Да... и чем скорее, тем лучше. Ручаюсь вам, что там вы будете на своем месте.

Я хожу по комнате и разговариваю, и хохочу, как сумасшедший. Иногда я подхожу и беру ее за руки.

Конечно, я убежден в собственном ничтожестве. Я согласен с тобой. Я уйду.

Она внимательно слушает меня... И в тот момент, когда я уже перешел на другое, когда с легкостью я рассказываю о всех приключениях, стараясь, чтобы они были только смешными, а я — немножко героем, немножко, авантюристом, она подымает ресницы и останавливает меня:

— Трус...

— Я?..

Я начинаю бормотать. Она меня сбила. В чем же я трус? Я ей ничего не рассказывал о трусости.

Она курить папиросу, полулежа на кушетке. Я вижу тебя совсем другою. Я совсем не так тебя понимал.

Я чувствую себя—в карикатурном зеркале, изуродованным и смешным.

Она начинает тихо хохотать.

Я стою посредине комнаты. Гляжу на освещенную золотом штору, на ее блестящие чулки. Если ты издеваешься надо мной, я тоже тебе не спущу.

Я подхожу к ней, останавливаюсь, моя рука блуждает. Я пристально гляжу в ее глаза.

Рука моя скользить грубо.

— Что такое?..

Я покажу тебе, что такое... Ты же спала со мной. Я сажусь к ней. Если ты могла спать вчера...

— Я не позволю тебе.

Я и не буду спрашивать твоего позволения. Ты у меня перестанешь смеяться. Я заставлю тебя плакать.

Да, я не могу сдерживать себя. Все эти дни я держу себя на цепочке. Я оборвал ее. Понимаешь ли ты, что это значит?

Я не чувствую... Может быть, я говорю это вслух.

— Ты не смеешь.

— Мне ничего не надо, Биба...

В висках у меня гудит. Она права. Я струсил. Стоило ей крикнуть...

Мне нечем дышать.

Я подымаюсь с колен... Я шепчу, что я ничего от нее не хочу. Не понимаю, что она слышит... Почему она улыбается так бессмысленно?..

Она обнимает меня за плечи, но когда я приближаюсь к ней, она отта кивает меня и говорит:

— Нет, этого не надо.

Она взяла меня за руку и больно сжала ее. Я прилег, я голов уткнулся в ее плечо.

Она притихла. И когда я подумал, что она потеряла над собой волю,- она закричала:

— Я сказала тебе... не смей дотрагиваться до меня!

Я отскочил от нее. Я барабаню по столу. Это смешно. Может быт и сейчас она обзывает меня трусом.

Я сейчас скажу тебе всю правду, что я думал о тебе сегодня утром Я поймал ее взгляд. Она просила...

Если ты просишь... Значит, я не так уж ничтожен.

Или я жалок? Или я негодяй?

Она говорит:

— Это ужасно...

Да, да, мне ничего не надо. Я наливаю из самовара воды. Она ещ теплая. Вода застревает у меня в горле. Я начинаю кашлять и краснею. Что же, чем же это ужасно?..

Ужасно, что мы встретились. Или ужасно то...

Да все это ужасно.

Это случилось.

Ну — мне надо уходить. Опять в соседней квартире бьют часы. Пробило половину...

Я разыскиваю фуражку. Хотя чего же ее разыскивать? Она, наверное, висит в передней на вешалке.

Да... они придут. Маша и твой ребенок... Моя крепость. Тебе нечего вздыхать.

Я ухожу, и мы, конечно, никогда не встретимся. Я делаю резкий поворот, я около двери...

Я вижу, Биба приподымается на локтях.

Она хочет что-то сказать.

«Отпусти меня». Она молчит. Она не двигается.

Молчание. У стола, в той комнате, за шкафом... здесь — в передней... и в этой комнате — за дверью... В двери торчит ключ. Я осматриваю эту квартиру, как съемщик. Значит, за дверью — тоже комната?

Вдруг трещит звонок.

Биба вздрагивает и испуганно подымает голову.

14.

— Это они... Мальчик, — говорю я.

Биба пожимает плечами и вскакивает с кушетки. Кто-то кашляет за дверью. Второй звонок нетерпеливей, — он кричит в квартиру об опасности. «Нет, это не они... А кто?»

Я тянусь к вешалке.

Биба пробегает мимо меня.

А если? Я все забыл! Если за мной?.. Мысль о револьвере щелает — вместе с замком. Третий звонок. Он — сильнее. Он настойчиво эебует, чтобы распахнулась квартира... В углы забилась тишина.

Биба открывает дверь. Высокий военный растерянно оглядывает еня. Швыряет на стол портфель. Я ничего не понимаю. Он тоже... Улыбка риклеилась к его губам.

Я смотрю на торжественные ромбы. Этот ответственный человек едленным движением начинает расстегивать шинель.

Биба трясет его за плечи. Биба кричит:

— Сережка!..

Они целуются.

Он косит на меня одним глазом, недоверчиво обходит меня, вешая ı крючок свою шинель. Биба называет меня Легасовым и представляет ему.

Мы сидим в большой комнате.

Я не слышу, о чем болтает Биба.

У него пыльные сапоги и черные ногти. Он держится свободно и ловко. Но все-таки он стесняется смотреть на меня.

Платком смахивает пыль с сапог, улыбаясь глядит на Бибу и по-медвежьи говорит:

— Помыться, что ли...

Биба схватывается с места.

Из ванной сквозь шум открытых кранов слышно, как хлопочет Биба. Она его уговаривает:

— Понимаешь... Сережка! Он потерял квартиру... Ведь я могла ему предоставить место для ночевки?.. Он друг моего первого мужа, Сережка. Ведь это не преступление. Пусть переночует дня два...

Ах, Биба!..

Вода льет сильнее. Я ничего не слышу.

Биба несется мимо меня, улыбаясь... Мчится обратно — с полотенцем в руках.

Я ничего не могу понять.

Наконец мы пьем чай.

Со мной он почти не разговаривает, лишь случайно касаются его мои взгляды. Биба заводит речь о советских фильмах, я бормочу. Она поспешно меняет тему...

Мы болтаем о погоде, о роли Англии в интервенции, об электрификационных постройках, о том, как растет Москва. Разговор заполняет Биба.

Она спасает меня. Но почему такая предосторожность?

Я вглядываюсь в лицо этого человека. Я напряженно вспоминаю, где я видал фотографию... берлинская картотека Орлова... Быть может, польская контрразведка...

Бритый, на щеке шрам, от свинца — от удара — острого, колющего? Он причесан на пробор, черные волосы блестят бриолином. Такие лица бывают у молодых банковских служащих. Если снять с него френч, он сразу станет обыкновенным человеком.

Он ест с большим аппетитом. Он слушает Бибу, отделываясь короткими замечаниями.

Он забывает про меня. Снимает пояс и ложится на кушетку.

Он делает вид, что я никак его не интересую. Но мне кажется, он все-таки приглядывается ко мне. Я смотрю на него, Биба ловит мой взгляд — и широко распахивает глаза. Сигнал?

Приходит Маша. Биба выхватывает у нее ребенка и во-время подносит мальчишку к нему. Он оживляется, строит «козлика». Мальчишка тянется к его петлицам. Он начинает лаять.

Ребенок плачет. Биба уносит мальчишку:

Ты глуп, Сережка... Ты с ребенком играешь как с собакой.

Мы остались вдвоем. Я стою у окна. Крыши подернулись синевой.

Он зевает, трещат кости... Он, очевидно, сильный.

— Значит, вас сократили... так, что ли?..

— Нет... Я имею работу... Так, просто разладилось кое-что у меня... Потерял комнату. И вообще...

— И вообще...

Он бесцеремонно подшучивает надо мной.

— Вы, случайно, не из Ростова?

Из Ростова? Что ему надо?

— Нет... Я совсем не из Ростова. Я никогда не был на Дону.

Он оставляет меня в покое.

Я курю у окна.

С Невы ревет сирена. Это, наверное, большой пароход. Неужели меня опять отошлют в Париж? Хуже, если оставят в Варшаве. Катнуть бы в деревню, на Каму...

Он опять зевает... Может быть, это нарочно. Он вынул записную книжку и что-то чертит в ней. Нет, это он пишет. Иногда, задумавшись, он кладет карандаш в рот, слюнявит. И потом снова пишет. Пролетарская привычка.

Он, очевидно, заметил мою улыбку и с досадой отвернулся от меня.

Потом смахнул досаду, шутит...

— Расходы записываю... Командировочные...

Он снова погрузился в маленькую черную книжку в простом клеенчатом переплете. Он не франт. Карандаш у него вроде огрызочка. Но эти огрызочки....

Что за лихорадочная работа мозга? Я опять начинаю волноваться. Я смотрю на себя в стекло окна. Благодаря отражающему свету я кое-что вижу. Но видеть, в сущности, нечего. Пока ему нечего подозревать. Разве в этом заключаются его обязанности. Мне надо итти.

Я прощаюсь с ним. Он равнодушно протягивает мне руку.

В передней Биба ловит меня:

— Я с тобой...

Мы выходим. Улица обдает нас теплом, накопившимся за день в камнях.

— Как тебе показался Сережа?

Как? Что мне твой Сережа!..

На улице торговец с лотком:

— Огурчики зеленые... редиска молодая.

По-старинному он протяжно выкрикивает това .

Твой Сережа? Он как-то странно относится ко мне.

— Он стесняется... Он — простой парень. Не бойся. Он мне друг.

— Он? Чего же стесняться, если он только друг?

Биба откидывает мою руку, как будто я обидел ее.

— Я же сказала... Удивительный народ! У вас всегда какой-то задний смысл...

Биба замолкает, но не надолго. Она не умеет молчать... Она рассказывает о его доброте, о том, что он всегда ее выручает, и о сегодняшнем разговоре в ванной...

— Он меня спросил: «Ты знаешь его?» Я сказала, что ты старый друг моего первого мужа в Одессе...

— Все друзья.... В Ростове, может быть?..

— Нет...

Она задумалась.

— Нет, я сказала в Одессе. Именно, в Одессе... Я этого не могла спутать. Я вышла замуж в первый раз в Одессе. Мне тогда было шестнадцать лет.

— Он меня спросил, не из Ростова ли я...

— Бывает... — Биба усмехнулась: — Это пустяки...

— Значит, это его квартира?

— Да. Он дал мне пока две комнаты.

— А кто он?

— Мой друг... Что тебе еще?..

Ну ладно, я больше тебя не буду спрашивать.

— Что ж, он любит тебя?

— Не... — Биба спотыкается. — Он умный человек. Не знаю... Едва ли... Знаешь, я бы держалась скромнее...

Она обрывает фразу. Она крепко держит меня за локоть и спрашивает, взглядывая мне в глаза:

— Ты идешь... Но ведь ты сказал, что конец...

— Конец?

Я тебе не обещал конца. Ты что же, мучаешься за меня?

— Почему ты солгала?..

— Я... Что ты говоришь?.. Разве? Я даже и не заметила. Ты знаешь, я это сделала машинально...

— Женщины всегда лгут из-за мужчин... но не машинально.

— Если это дерзость, я пройду мимо. Я не люблю луж... По луйста, не заговаривайте мне зубов... Ты сказал...

— Видишь, Биба... Конец приходит сам. Но ведь я тоже дол к нему подойти.

— Ты уедешь... Я хочу, чтобы ты уехал отсюда...

— Хорошо... Завтра...

Мы стоим на трамвайной остановке.

На Литейном мосту, как на горбе, качаются трамваи.

Окружной суд — конструкция стен без крыши, с зияющими чел стями. У арсенала темные старинные пушки...

Бегут равнодушные люди — в сандалиях, с расстегнутыми во тами, с портфелями в руках. У них расхлябанный шаг. Здесь на ходь тратится больше энергии, чем нужно.

Я прощаюсь с Бибой. Она наскоро мне говорит:

— Ты придешь ночевать? Вот ключ... не теряй.

Я киваю ей и вскакиваю в первый трам. Она успевает все-та крикнуть:

— Но насчет того... Ты дал слово.

Я дал слово? Меня уносит.

Как будто здесь никто не вошел. В прицепной вагон вскочил ма чишка-газетчик.

Я прячу плоский французский ключ.

Скрежещет на повороте вагон, я пересяду с этой линии на другу

Девушка управляет вагоном наивно — как игрушкой. Мелька дома — коричневый, серый — знакомый за знакомым — шоколадн форштадтская церковь... Форштадт. Давным-давно это было: предг родом.

Болота взметнулись империей. И на ходу столица умерла. Н Невой — обрученное с ней длинными, затейливыми каналами — повис музейное скопище архитектур — почти однообразного стиля — поч неповторимого — звучащего краской — лимона с белым — под этим то ким небом севера.

Город — театральная поза...

Революция здесь была бы задушена классикой.

Он слинял. Перемешались люди. Остались здания.

Загнувшийся Невский широким взмахом упирается в пасть мон шеской лавры.

Вот они, новые...

Окраина прет — большим парадом в открытых майках, с кумачам Анфилады багрово-кирпичных амбаров подпирают белую лавру. Неско чаемы галлереи. Огромны замки. Убиты хлеботорговцы. И революц среди серпа и молота на стене написала: да будет царство твое.

Деревянный мост пихнул подальше заставу—нагромождение домише казарм, корпусов, длиннейших заборов, деревянных мостков — подальш от фантастической геометрии площадей, перспектив, линий, от материк

и островов, где в бывших императорских архитектурах величествуют наркоматы и обыватели.

Паром покрылась Нева — затихла, став музеем.

15.

— Откройте... скорее...

Баронесса встречает меня. Она странно молчит. Я останавливаюсь. Она отодвигается к преющим шкафам, скрестив руки на груди. Третий раз захожу в эту квартиру — что же у них приключилось? Вверху зреет перекалившийся уголь лампы. После тепла, после мягкой душистой улицы — здесь чуть заметное тление вещей, прохлада, жуткий запах гнили.

Тетушка Бухштабе, не говоря ни слова, ведет меня в комнату Краута. Краута нет — так же как и вчера лежат диаграммы, как будто бы он не притрагивался к бумагам. Неприбрана комната.

Петров уже здесь. Бутылка коньяку на подоконнике. Рядом недопитая рюмка. Опершись на локти, он уставился в хаос над каналом. Петербургская мгла обсыпана редким электричеством.

Свидерский лежит на постели.

Петров вяло поднял голову. Пробормотал и опять опустился. Свидерский спит. Под ногу попалась вторая бутылка.

— Зажгли бы свет...

Петров невнятно хрипит...

Тетушка спряталась в тьму за ширму.

Очевидно, здесь было пьянство. Комната плывет в тьме... Может быть, ничего нет. Может быть, все это — сон, обрывки...

— Что здесь происходит?

Никто не откликнулся. Свидерский еще сильнее засвистел. Скотина, его нужно будет расталкивать сапогом.

Скрипит стул—подымается Петров. В раме окна согнувшийся квадрат спины. Спина нагибается. Петров харкает через подоконник.

— Закройте окно.

Он повинуется мне машинально. Хлопнули, как выстрел, рамы. В углу за печкой заохала старуха. Надо прекратить это безобразие. Если сейчас соберутся, если увидят такую картину...

Петров обнимает меня. От него разит кислым, перегоревшим запахом вина... Неужели вчера я тоже был пьян?.. И Бiба права? Может быть, я уже перестал замечать.

— Иван Васильевич!.. Иван Васильевич!..

Петров захлебывается от пьяной нежности. Злость шумит во мне, и я готов разбить ему череп.

Он пьяно вздыхает и опять опускается на стул. Качается в его руке черная бутылка... дрожит над рюмкой. Снова скрипит стул. Он шепчет в длинные усы, и от того, что в просвете окна болтается его голова, они кажутся крыльями.

В раме окна парит летучая мышь.

— Ночь, — хихикает он, — белая ночь... Темно. Ничего не видно. Грязная ночь? Хо-хо-хо...

Я не отвечаю ему, но чувствую: он смертельно жаждет каких-нибудь слов от меня. Сам он говорить не умеет.

— Баронесса...

— Это — его последний якорь...

Старуха попрежнему молчит, — не превратилась ли она в комок пыли за печкой. Петров бормочет:

— Что? Вы сговорились... Ничего... Тени... Только тени!

Никто не отвечает ему.

Он опять наливает рюмку. Остановить его? А если он не послушается? Если он засмеется мне в лицо?..

С каждым часом я теряю волю.

Я упорно молчу. Быть может, меня схватил столбняк. Нервное небо над колоннадой собора — дергаются вглубь короткие и растрепанные облака.

— Зажгите свет.

Молчание. Петрову надоело сидеть, — он вскочил и начал шарить по стене. Где выключатель?

Старуха умерла в углу. Петров обшарил все стены, ругаясь.

Наконец, вверху вспыхнула лампа.

Свидерский забормотал во сне, перевернулся на другой бок и опять захрапел.

На стуле у печки, уронив лицо в руки, сидит старуха. Ее глаза налились и остеклянели, и щеки слоятся морщинами и лоском, как молодые помидоры.

Еще девять часов... Я назначил к половине одиннадцатого...

Значит, нам еще долго сидеть и молчать. Петров перекладывает какие-то книжки на столе у Краута... Читает медленно, по складам, как пьяница, «лозунг» над столом — и начинает долго и пьяно хохотать, пока кашель не скапливается у него в глотке. Он хрипит, давится и падает на стул.

Проходит еще четверть часа. Петров расталкивает Свидерского. Но тот только мычит.

Надо спросить тетушку о комнате. Неудобно в первый раз принимать здесь...

— Тетушка... а вы приготовили...

Непонятно, что она отвечает. Да? Кажется — да... Она сопит и не подымает на меня глаз.

Петров переставляет бутылку на стол, затем рюмку. Он долго вертит ее, уныло ставит и медленно, каплями льет в нее коньяк. Он отсчитывает секунды себе и мне... У него набухают под глазами мешки. Как будто этими каплями он проверяет крепость.

Он смотрит на меня. Разве я в первый раз вижу его?

Белки глаз иссечены красными нитями алкоголя.

У него же и раньше были эти жилки.

Улица радуется теплу... Может быть, она радуется и жизни. На тротуарах полно народу. У освещенных входов кино гудит толпа... Это же не музыкальный взрыв гранат. Нас посылают сюда... А разве мы знаем что-нибудь про эту жизнь, которую идем взрывать. Разве что-нибудь успеешь узнать за три дня волчьей жизни...

Знает Минута? Союз защиты и освобождения?

Лакей не пробует тех кушаний, которые он разносит по столикам.

— Ваше здоровье... старый офицер...

Мое здоровье?

С рюмкой, налитой до отказа, стоит Петров. Он не шатается, для этого ему нужно поглотить бочку. Только чуть-чуть дрожит голова. Усы ядовито шевелятся...

Вот он что-то хочет сказать мне... не вышло. Расхохотался. Выпятил губы трубкой, пожевал их, опустил язык в коньяк и сразу опрокинул рюмку в рот, прищелкнув пальцем по донышку.

Следующей рюмкой выполоскал рот, шумно уселся, закурил и кивнул на окно.

— Пьем... за казанскую божию матерь... Патронессу и покровительницу.

— Довольно, Петров. Не ломайтесь.

Я говорю спокойно. Но почему он ощерился, он отвечает со злобой.

— Что ж... долго еще нам болтаться? Видно и эту ночь спать у проституток... Где ваши квартиры?

У меня ничего нет. Я тебя не намерен оспаривать. Но сейчас он уже не ждет моих слов. Алкоголь воспаляет его.

— Мы в лабиринте здесь... Каждую секунду оглядывайся. Я лиц не вижу. Одни ноздри, ноздри... ноздри. Все мимо меня бежит. Нюхают, нюхают. Зачем ты нас сюда притащил?

— Петров!

— Не кричите, Иван Васильевич...

Он рубит рукою воздух перед моим носом.

— Давайте дело. Или обратно? Свидерский всю ночь не спал... Три ночи не спит. Мы не можем.

— Вы не можете...

— Да, да.

— Я тоже не могу. Пойдите умойтесь под краном.

Он глядит долго. Вздыхает со злостью. Будит Свидерского. Тот качается на кровати. Потом протяжно зевает и, опрокидывая локти назад, выправляясь, приветствует меня...

— Лагерь видел во сне... Польских лайдаков... Ну что? Какие дела? Как будто я попал в Микулицы... И нам прислали новых проституток... Как дела?

— Будут дела. Отдыхайте пока, да не так... Петров раскис.

Свидерский смеется.

— Пехота... Дайте мне рюмку.

Петров мрачно наливает коньяк. Свидерский опрокидывает ее тем же жестом, научился у Петрова, и опять садится на кровать.

— Жалко гитары нет...

Он напевает что-то, потом косится на старуху и прыскает. Петров уходит мыться. Свидерский шепчет мне:

— Пьяна, как обезьяна...

У него резкий, картавый голос. Старуха слышит. Она повела бровями... и не тронулась с места. Кажется, что она сидит в мыслях, как в воде, и боится эту воду шелохнуть.

Из кухни доносится шум воды, — Петров фырчит, кряхтит и плюется. Свидерский спрашивает у меня. Он хрипит, точно у него в горле налеты.

— А Михайловского нет?

— Нет.

— Что же это такое...

Что? Что — может быть... Разве ты не знаешь сам? И он, и я — мы думаем одно и то же и, может быть, разное? В результате одно — Михайловского нет. И, наверное, не будет.

Я не слыхал, как подошла старуха — колеблющаяся, маленькая тень. Я не понял, то ли она сказала, то ли я догадался сам, может быть она даже не шевельнула губами. Ее лицо, обожженное спиртом, как маска, сказало мне:

— Краута нет.

Я переспрашиваю. Да, я не надеюсь на себя. Все это мерещится мне...

— Нет. Со вчерашнего вечера ушел... как поговорил с тобой. До сих пор нет.

Я успокаиваю себя... Нет, я успокаиваю старуху. Краут вернется, мало ли — он мог задержаться... у товарищей или в лаборатории?

— Нет. Краута нет... Его взяли. Его, конечно, взяли... Его нет.

За что его могут взять? Хотя... Но старуха топочет толстыми, распухшими, обвитыми в тряпки ногами. Старуха вертится на одном месте.

— Взяли... Он всегда приходил. Каждую минуту он бежал сюда... Взяли! Взяли!

Старуха кричит, что мы помешали ему построить огромную машину, что он был сыном, а мы — подлецы...

Свидерский, бледнея, силой усаживает ее на кровать, вливает ей в рот коньяку. Старуха давится, кашель, слезы... На ее губах слюна. Можно разобрать лишь одно слово:

— Туберкулез...

Наконец, она опрокинулась, подобрала ноги, начала хватать воздух маленькими, короткими пальцами и, похохотав, замолкла.

— Баронесса готова... — говорит Свидерский.

Но она шепчет, она хохочет, она разговаривает с кем-то...

Она не может расстаться с этим словом... Маленькими грязными ручками она ловит воздух и, обессилев, закрывает глаза. Нижняя губа упала, точно к ней привязали гирю

Мы снова молчим. Свидерский шагами измеряет комнату. По пути выпивает рюмку.

— А что, полковник, если правда... Если Краута взяли?

— Если Краута взяли, мы не сидели бы здесь... Здесь сидел бы кто-нибудь другой.

— Да, но может быть...

— Нет... этого не бывает.

Но, чорт возьми!.. А если нет, а если действительно?.. Но приходит Петров. Он бодр. Он разбивает наши мысли.

— Бабушке каюк. Спокойной ночи!..

Он подходит ко мне и просит извинения. Так надоело мотаться, я должен его понять. Я понимаю... Действительно, в ближайшие два дня — все решится. Или обратно...

Дребезжит из передней колокольчик. Свидерский приподымает веки. Я приготавливаю револьвер.

— Спросите предварительно — кто?

Шаркает сапогами Петров. Там встречаются два звука — взволнованный звон и осторожные шаги. Их отделяет только перегородка дверей, они прислушиваются друг к другу. Петров колдует у двери.

— Касперов, — шепчет он через коридор.

— Пускайте.

Касперов входит на цыпочках, дергая плечом, стесняясь, что у него скрипят сапоги.

Офицеры церемонно раскланиваются. Касперов прикладывает руку к козырьку шлема. Взглядом он задевает спящую старуху. Петров угощает его коньяком. Касперов вежливо приподымает плечи и благодарит.

— Не беспокойтесь, я не пью.

Петров смотрит на него с изумлением, в руке у него качается рюмка.

— Как желаете, — говорит он и автоматически выпивает сам.

Я предлагаю Касперову пройти в соседнюю комнату. Он молодцевато щелкает каблуками.

Вслед нам недовольно бубнит Петров. Конечно, Касперов ему не понравился.

У тетушки прибрано. Открыта фортка. Перед киотом горит лампада. Пахнет пылью — слежавшимся, мирным, лоскутками... В старушечьих комнатах всегда особенный воздух. С Невского врываются отблески огней взволнованной, вечерней улицы. На канале смеются голоса.

Трещит фитиль лампадки, окрасив в зеленый цвет одну щеку Касперова. Завтра — воскресенье.

Среди тишины вдруг заглотали воду весла. Взмахи сильные, — гребцы хотят перевернуть канал.

На Урале жил-был плотник...
Золотистый, золотой...
Целоваться был охотник...
Не качай, брат, головой...

Касперов поднял голову... Вспыхнул голубой шар трамвайного провода и озарил цепи золотых, крылатых львов...

Опять хохот...

Мы на лодочке... ка-та-лись... Зо-лотисты...

Они не стесняются никакими регламентами. Это так же, как и вчера, на Сергиевской.

А чего им стеняться? Весь этот город — это скопище архитектур, — принадлежит им.

— Я предлагаю вам террористический акт... — начинает Касперов. Голос у него гудит низко, он старается его изменить. Я протягиваю ему папиросы. Он отказывается так же вежливо, как и от коньяку.

— Благодарю вас, я курю только свою марку.

Он объясняет — план Смольного в данную минуту трудно достать; конечно, его можно составить, не претендуя на топографическую точность, но ведь требуется время...

— Что же вы предлагаете?

— Сегодня днем я совершенно случайно узнал, что завтра... в воскресенье... в одиннадцать часов утра назначено собрание работников печати с ответственными представителями промышленности. Там будет много хороших голов. Место спокойное. Охраны никакой. Внизу старуха — швейцариха.

— Это где?

— Я вам напишу адрес... Мне кажется, это подходит.

— Вы говорите — ответственные?..

— Да... несомненно. Некоторые из них — члены губкома. Командиры идеологии... Позволите вам начертить?..

Мы оба ищем выключатель.

Садимся у столика. Горит ночная лампа.

Касперов вошел в дело. Он исполняет все, как службу. Он аккуратен и точен. Он вынимает толстенькую и ловкую записную книжку, обтянутую резинкой. Вырывает листок так, чтобы не выпали остальные, и начинает чертить.

— Вы входите в вестибюль... Здесь вешалка. Обязательно раздеваетесь и расписываетесь в книге... Вот у этого столика. Подымаетесь во второй этаж, первая комната направо. Она имеет лишь один выход... Внизу никаких помещений и никого, кроме швейцарихи.

Я согласен. Пусть дает адрес. На это дело достаточно двух человек.

Касперов чертит дом, подъезды, расположение улиц... Тут же за углом в переулке я буду ждать их с двумя извозчиками. Отсюда мигом домчаться... Нет, удобнее Финляндия... Ну что ж, к Марсову полю,

через Троицкий мост на Выборгскую. Бежать надо этими двумя радиусами.

Я согласен. Прекрасно, Касперов.

— А где же полковник Глечик?

— Он сказал, что он не может.

— Вы думаете, он догадался?

— Я не могу знать. Я говорил с ним только об экономической организации.

Собственно, смешно было надеяться.

— Как он принял ваше предложение?

— Никак. Он замахал руками. Закричал: не нуждаюсь...

Опять звонок...

Петров просовывает голову в дверь и докладывает мне:

— Мякотин.

— Дурак... Ну, зовите.

Я говорю это так величественно, как будто я президент, как будто я переполнен государственными соображениями. Для Касперова требуется декоративность.

Петров исчезает. Мякотин царапается у двери, потом осторожно открывает ее и медленно вползает, как низкорослый теленок. Он щурится, трясутся щеки, оттопыренные над губой... время для него остановилось...

— Не меняюсь, Иван Васильевич... Дайте вас облобызать, дражайший полковник. Господи, благослови!

Он держит меня потными, веснушчатыми ручками и лижет...

Он обмахивается платком и жалуется на жару.

— Там у меня есть кулечок... с прохладительными напитками... Ежели они позволят...

Он кивает на Касперова. Тот вопросительно глядит на меня. Я обрываю — сейчас нам не до кулечков...

Мякотин послушно обтирает шею.

— Ну, как, полковник, наши заграничные друзья?.. Как господин Шавельский?

— Шавельский просил вам кланяться.

— Господи... До чего я рад!.. Бывало, вспомнишь Могилев... Шестнадцатый год. Я ктитором в походной церкви был...

Подрагивая туловищем, сообщает он Касперову:

— ...какая очаровательная была Пасха! Царь на церковную службу в суконной рубашке ходил, в церковь-то, помните, Иван Васильевич?.. Не по Садовой, а кругом, мимо городской думы... Аккуратный был богомолец. Помните, Иван Васильевич, в вербную субботу на всенощной подаю ему особую вербу, украшенную цветами. Он как толкнет меня ручкой и укоризненно говорит господину Шавельскому: «Зачем вы», — говорит. И взял простую. А тут генералитет. Свиты генерал-майор Татищев, господин Воейков, полковник Татаринов из Бухареста... Боже

мой, нечеловеческое великолепие! Стоит мне закрыть глаза — и все вижу. Так и мечтается.

— А я гнил в окопах.

Касперов сдержанно улыбается, смутился... это слово случайное, вылетело... Он смотрит, какое впечатление он произвел на меня. Я замыкаюсь. Он опять настраивает свое лицо независимо и гордо.

— Гнили... верно, — подкашливает Мякотин, — не всем счастье... В окопах всегда гниют. Это уж положение. Его не прейдеши! Я избежал. Я счастлив.

Он доволен собой.

— А теперь? И теперь мне счастье. Торгую получше других, в нашем рыночном комитете состою, опять же в церкви на Сенной, в двадцатке... Все меня уважают.

Он торжественно кашляет.

— Дайте мне волю... Я распущу пыль, я развернусь роскошно. Без меня им не жить... Я тихий... но...

Его прерывает звонок. Вспомнив, зачем он здесь, торговец прикрывает рот ладонью и опять бормочет о кулечке.

Я сам должен встретить. Это, конечно, Плеске.

16.

Свидерский почтительно здоровается с ним... Да, ведь они знакомы у Охотниковых. Петров поражен его солидным видом, он кланяется из угла передней, как лакей.

Точно герцога, я ввожу его. Он держит шляпу в руке — на отлете. За мною свита — из Свидерского и Петрова.

Касперов быстро вскочил. Он понял, что мы дожидались именно его.

Среди тишины слышно астмическое дыхание Мякотина.

Плеске по очереди протягивает руку, затянутую в черную перчатку. Он благосклонно предоставляет ее пожимать. Потом садится, ищет, где положить шляпу. Мякотин угодливо бросается к нему.

— Разрешите мне...

Он несет ее к комоду, держа за поля обеими руками, как драгоценную вазу.

Плеске медленно стягивает перчатки. Он не торопится.

На Плеске отличный костюм и перекинутое через руку легкое английское пальто-бэрбэри. Он вертит трость с замысловатым, костяным набалдашником. Длинные пальцы с отросшими и сделанными ногтями меланхолически барабанят по палке... Иногда попадает в полосу света старый перстень.

Пушатся седые виски. Весь он сверкает сухо, матово, благородно. За узким, сдавленным лбом водится напыщенность. Длинный, тяжелый нос почти падает с этого лба, но даже из этого он сумел сделать для себя

привилегию. Он держит голову слегка наклонно... Пусть думают, что в этой промытой и разделанной коробке бывают остроумные мысли.

Плеске кашляет в маленький душистый платок, оглядывается на открытую форточку и мычит:

— М-м... послушайте!... Вы забыли форточку... Я — петербуржец...

Он говорит это так, словно он дает приказ войскам перейти в наступление.

Вот ты какой!.. Раньше мне не удавалось тебя разглядеть. В легионе таких же, как ты, трудно было понять основу твоих благополучий.

Петров захлопнул форточку и так посмотрел на Плеске, как будто он тоже разгадал его. Но он быстро опустил глаза, испугавшись своей резкости.

— Можно начинать... — Плеске кивает мне. Он сразу поставил себя распорядителем. Я сам виноват, но я ему собью спесь.

— Я приехал сюда, чтобы информироваться о положении дел. Результаты печальные. Люди раздроблены. Организаций никаких. В нашем деле царит развал. Мы не можем, приезжая сюда, повести крепкую работу. Мы являемся, в сущности, только толкачами. Но фактически мы делаем все... Мы требуем сведений. Мы требуем непрерывной работы. Нас интересует реорганизация Красной армии, количество и качество вооружений, сведения о маневрах, дислокация и передвижение войск.

Плеске торжественно кивает. У него дергается рот, ему смертельно хочется спать. Несмотря на опасные слова, Касперов не перестает разглядывать голую и соблазнительную наяду, повешенную над кроватью тетушки. У Касперова порнографический мозг, — он сдерживает его и никогда не успокаивается.

— Мало того. Нас интересует состояние железных, шоссейных и грунтовых дорог, состояние автотранспорта, авиации, морского флота. Что вы сделали для этого?

— Мы?.. Но разве это имеет отношение... военные сведения... Разве я брал какие-нибудь обязательства? — спрашивает Плеске. Он настойчиво хочет сохранить свое положение. Он не теряет здесь, но не прочь закинуть руку и за рубеж. Он ни в чем не уверен. Он не предпринимает рискованных шагов. Он напоминает утку, потерявшую жир и испугавшуюся воды. Но по мере того как я говорю, он начинает ежиться... Напрасно, — он один из немногих, который обладает многим... Он связан с иностранным агентом... У него огромные советские связи...

Плеске страдальчески закрывает глаза.

— Послушайте, ближе к делу. Так же нельзя!

— Дело такое. Мы должны вызвать войну...

Все смотрят на меня. «Да, это единственный способ. Мы должны скомпрометировать соседние государства... Мы должны втянуть Россию. В этом есть выход. Сейчас не помогут никакие Чемберлены, и Англия не заплатит нам ни гроша... Англия закрыта для нас. У нас есть один способ — провокация».

— Война!

Касперов улыбается.

Может быть, с их точки зрения, с точки зрения советских людей — это, действительно, нелепо. За стеной зашевелилась старуха.

Плеске взволнованно поднялся:

— Что такое?.. Нас слушают!..

Он развел тростью.

— Не беспокойтесь, — захохотал Петров, — это храпит баронесса.

— Наш большой план — это взрыв заводов и гатчинского аэродрома. Вам поручается исследовать все подробности, собрать все сведения...

— Виноват... Это — гипербола?.. Ваши слова?

Плеске морщит лоб, кожа собирается в детскую гармошку.

— Вы говорите... план... война... Война — это комплекс идеологических и механических сил. А люди? Возбудители войны... Реактивы на взрыв... Где? Мы одни... единицы. Вы... питаетесь баснями. А людей... нет.

— Что же, нет недовольных?

— Недовольных, — брезгливо перебивает Плеске. — Естественно, есть... Но это отработанные механизмы.

— Совершенно верно... — впутывается Мякотин. — Его превосходительство, конечно, правильно... Народ наш любит...

Но его обрывает Плеске, обиженно разводя руками:

— Я! Я хотел сказать... Только новый материал дееспособен... Но мы еще не раскрыли его формулы. Ни химически ни механически... Мы не знаем его места в социальной таблице. Но мы слышим запах, мы угадываем эффект... этого элемента...

Мякотин всплескивает руками и вскакивает:

— Через батюшек надо вести агитацию... Через батюшек!..

Все смеются, глядя на Мякотина, но он пробует защищаться:

— Напрасно смеетесь, господа офицеры. Наши попишки — чудесный элемент. Соорганизовать бы сто тысяч попишек, положить им твердую ставку, чтобы никакого среди них раскола, да сказать: жарьте, сукины дети!

Свидерский, прижавшись виском к креслу, спит.

Плеске шокирован выходкой торговца. Он брезгливо пожимает плечами и натягивает перчатки. Мякотин подает ему шляпу. Он, точно в футляр, влезает в представительность и изысканно шутит:

— Извините. У меня... еще одно академическое заседание... правда, иного порядка... Прошу сообщить... конечно, конфиденциально... мы... свою роль ведем умнее, чем там думают.

Он нервно и величественно мнет шляпу в руках, ни на минуту не теряя своей элегантности. Он весь закован в лоск, в рассудочность, в недоговоренность и хитрость.

— Но мы... считаем... не сила взрывов... а мм... мозг страны... я хочу сказать — не извне, а... внутри... Да, именно... реальная база...

Эмиграция... страдает фейерверками... А игрушки? Мы — против... Мы не играем. И пусть там откажутся от вульгарных мыслей...

Он делает общий поклон и прощается за руку только со мной.

У порога двери он вдруг останавливается. Угрожающе хрустят шарниры:

— Да. Съезд компартии устанавливает... проблему...

Он стучит на нас тростью, как на школьников, и вскипает:

— Читайте... газеты и протоколы. Следите за деформацией... за общественностью. Вот где положение, мм... положение всех вещей.

Он хлопает дверью.

Среди тишины храп баронессы. Никто ничего не понимает. Касперов поражен, точно его ударили бутылкой по мозжечку. Петров жует усы. Он неожиданно протрезвился.

Он что-то пробурчал о пророках..., о фокусниках. Но никто его, разумеется, не понял. Тогда, как-то неестественно крякнув, он громко шлепнул себя по затылку.

Мякотин, вздохнув, поглядел на него и полез за своим кульком. Меланхолически вынимаются две бутылки.

17.

Все молчат. Я провожаю Касперова. Около двери он шепчет мне на ухо:

— Я бы просил вас... У меня были расходы...

Истерически забился колокольчик... Дергается дверь. После Плеске мы забыли ее закрыть. Краут...

— Тетушка дома?

Он бросает шапку и тут же садится на сундук. Касперов жмет мне руку. Чем он потрясен? Он покраснел и старается поскорее уйти... Но про деньги он не забыл. Хорошо... Завтра... Завтра вечером, в это время.

Я запираю дверь на крючок. Обнимаю Краута, мне хочется ему помочь, но он вырывает руку.

Знаменитая бекеша свалялась, в грязи... Где умудрился он измазаться? Лицо в поту, усишки повисли.

— Я гулял целый день... И ночью гулял. Все по городу...

— Ну ладно. Пойдемте в комнату..

— Нет, не пойду.

— Почему вы не пойдете?

Он разозлился. У висков пот сочится ручьями... Жарко ему?

— Разденьтесь... Снимите бекешу — вы...

— Вы... вы... — он размахивает кулаком, — вы... Какая вежливость!..

Он пьян... Я нагибаюсь к нему. Нет, он совсем не пьян. У него обиженный вид, — именно потому, что я не обижаюсь.., Что же ты делал на улицах?.. Выводил человечество из тьмы шахт?..

— Иван Васильевич!.. Дражайший полковник!

Это Мякотин.

— Надо итти, Краут. Приведите себя в приличный вид. Пригладьте волосы.

— Я не пойду.

Он уселся на сундуке и скрестил руки. Он смотрит на меня с сожалением. Он оглядывается, как будто у стен есть уши.

— Вы... висите надо мной... как рок.

В комнате звенят стаканы. Свидерский поет песню... Мякотин хохочет. Снова крик:

— Иван Васильевич!..

— Возьмите Краута, господа... Он здесь выдумывает трагедию.

Они входят в переднюю. Петров с бутылкой. Свидерский поет, подыгрывая на воображаемой гитаре:

Краут... Краут...
Крамбабули.
Тысяча лет. Тысяча зим.
Крамбабули.
Мы так рады видеть тебя,
Крамбабули...

Петров дружески обнимает его. Кажется, ведь однополчане...

— Коньяку!.. Краутик!..

Краут сидит, положив ладони на ручки кресла, и слушает, как сомнамбула, рассказ Петрова про польские лагеря, про Торн, про жену... Болтают, что он ее убил... Это ложь... она сама застрелилась...она достала из-под подушки револьвер... Говорят, он заразил ее... Какая наглость!.. Она сама путалась...

Петров утирается ладонью.

— Но... Краутик... Разве мы разберем?.. Все у нас смешалось. Да... что я хочу сказать?.. Винить ее?

Вздыхая, он опять наполняет рюмки.

— Выпей... будет хорошо...

— Я не хочу.

Но Краут все-таки берет рюмку и пьет медленно, каплями. Воспламеняются глаза. Он кричит.

Знает ли он, о чем кричит?.. Рюмка коньяку сразу подействовала на него, он начинает лепетать. Петров покорно слушает и только вздыхает. Он может слушать все, что угодно... Это самый приятный слушатель.

— Понимаешь, — шепчет Краут, — допустим война... Следовательно, во всесоюзном масштабе требуется топливо... А Дон?.. Но Дон не безопасен... ты понимаешь, мои машины работают в лесу в укромных, защищенных местах...

— Понимаю...

— Понимаешь... Функции — сбор отпада... Второе — просеивание... Третье — прессовка. Понимаешь, я прессую дрянь... Одна брикетная станция вагонного типа...

— Вагонного... — мямлит Петров и снова подливает коньяку. Краут воодушевлен:

— ...дает в год два миллиона пудов... Я стою в центре круга и прессую. Радиус — три версты... Мой пресс движется на площади, равной шестидесяти четырем квадратам... Это мечта...

— Мечта... — вздыхает Петров.

— Я все подсчитал! — кричит Краут. — Стоимость пресса — пятьдесят семь тысяч рублей... Амортизация — на десять лет...

— На десять лет... Скажи пожалуйста? — пьяно удивляется Петров.

— Да... На десять лет! Рабочая сила — четыре сдатчика, четыре складчика, четыре квалифицированных работника. Помножь на две — в две смены... Тридцать три процента начислим в зарплату... Ремонт — пять процентов... Пуд моего брикета стоит пятнадцать копеек. Вон из могил! Идите в леса!.. Наука и техника вычеркнут природу... А мне Маклецов говорит — не пейте пиво... Я не пью пива...

— Молчите, Краут...

Он невменяем. Он подходит ко мне, плавая руками в дыму.

— Позвольте... Я пять лет молчал. А теперь я сделал революцию.

— Краут, вы — академик... Что вам угодно? Идите спать.

— Я? Спать? Я должен спать? Я не имею права спать. Я должен работать. Уходите вон. Вы — шантажист... Вы шантажируете меня.

Мякотин и Свидерский хватают Краута за руки. Он рвется, подскакивает вверх, собираясь проломить потолок.

— Я все сообщу... Я вот завтра пойду... С утра... Вы думаете, я не могу? А я... Петров! Петров!

Петров стоит у окна и вздыхает:

— Ах, нехорошо... Какой, брат, ты неврастеник. Ты, брат, просто бредишь.

От сотрясения упала лампадка. Сверху стучат соседи. Значит, там слышен шум.

Он бледнеет. Вспышка прошла. Если бы его не держали под руки, он сейчас, наверное, упал бы. Повисла вниз голова, ее плохо приклеили.

Петров побежал за водой.

— Уведите его в соседнюю комнату.

Он что-то еще хочет сказать, но только икает. Мякотин и Свидерский волочат по полу грязную, съежившуюся бекешу.

Лампадное масло залило кресло.

Собрание — карусель петрушек...

Завтра?

Да, надо отдать долг капитану Минуте. Я больше не знаю ничего.

Еще раз крикнул Краут за стенкой.

Стихло. Мякотин на цыпочках вошел в комнату:

— Разрешите откланяться...

— Да... Мякотин... мы еще должны увидеться.

— Обязательно, господин полковник... Непростительная неосторожность у них... Он сумасшедший... У него коловращение.

Он кивает толстым пальцем на стенку. Дрожит над губой белобрысая щетина, провалились сумки. Он пятится задом к двери и осторожно выползает.

Звякнул крючок.

Свидерский вошел в комнату.

Нужно отбросить все и сообщить задание на завтра. К чорту мысли! Теперь уже не о чем думать. Я смеюсь...

— Что, господин полковник?..

— Позовите Петрова.

Да... моя голова скоро превратится в автомат для боя.

Я бы ударил Краута. Вдруг голова наполняется... Я чувствую: она горит, как в бензине.

Петров тянется опять к коньяку.

— Довольно!..

Он послушно отдергивает руку. Классический пехотный капитан...

Свидерский садится в кресло.

— Господа... завтра в одиннадцать часов...

Я сбрасываю пепел с папиросы, и Петров машинально повторяет мое движение.

— ...вы совершаете...

Петров взглядывает на Свидерского.

— ...террористический акт. Место найдено.

Их взгляды попали друг в друга, переплелись пальцы.

Свидерский поднял брови. Петров наливает коньяк.

Я достаю касперовские чертежи.

— Видите... здесь... вы знаете эту улицу... подъезд — отсюда... Вешаете с краю пальто. Здесь надо расписаться. Вверх по лестнице... Первая дверь направо... Переулок тут. Я на улице. Я буду ждать вас с двумя извозчиками — в переулке.

— Граница?

Свидерский бледнеет и поводит плечами.

На Сестрорецк... В акте полная безопасность... Внизу, в вестибюле...

Я повторяю рассказ Касперова.

— Завтра вы выходите из дому... ровно без четверти одиннадцать... не заходя никуда, вы идете в этот подъезд... Я за углом. Обо мне не беспокойтесь. В одиннадцать часов по советскому времени.

Я даю последнюю инструкцию — что надо сказать швейцарихе, как вести себя там, где держать револьверы, как метать гранаты...

Действовать, не теряясь.

Я стою. Я показываю им.

Я вижу, как Свидерский мучительно сжимает рот. Желваки бегают в скулах. «Это — смерть?» — думает он.

— Старайтесь владеть собой.

— Я не боюсь. Все будет исполнено, — говорит Свидерский сквозь зубы.

Петров вздохнул и налил новую рюмку.

Усмехнулся. Проглотил коньяк:

— Кавалерия... — с пренебрежением говорит он. Но Свидерский этого не замечает.

— А умеешь ли ты так?..

Он отгрызает край рюмки и толчет в зубах стекло. Свидерский морщится от скрипа:

— Какая гадость!

Петров выплевывает на коврик стеклянный песок и желтую от крови слюну...

Вдоль бронзы решеток тянутся густые, плотные липы, падают багрянцы зданий в неподвижный канал, — там мы назначаем свидание.

Она вздрогнет — эта вода...

И в воде треснет пополам — колонна, фронтон, крытый подъезд.

18.

Летит проспект стрелою. От точки — в ничто.

Я сказал им: «прощайте». Или я сказал: «до свиданья»? Или я ничего не сказал?

Куда же итти?..

Они сейчас лягут спать. Говорят, смертники прекрасно спят последнюю ночь. Это справедливо. Природа понимает больше, чем мы.

А те, которых ждет завтра?..

Один ласкает жену. Другой работает, — тихо у его головы горит лампа. Третий слушает музыку, и музыка мучает его душу. Четвертый подошел к кровати сына, — и вдруг сын показался ему чужим. Пятый пирует с друзьями и поет залихватскую песню, он весел, он отчаянный человек, каждый на минуту хочет быть королем. Шестой...

А не много ли их?

Нет, их больше.

Одному из них не спится сейчас. На столе недопитый чай. Открыто окно, — и взволнованное небо — неожиданный почтальон — приходит в комнату. А в телеграмме — несчастье. Он думает...

Никто не знает. Знаю только я один.

Низкие кусты сквера перед собором толпятся, точно народ. По бокам площади стоят две куклы на мраморе. Если они оживут, подымут руки и закричат: «мерзавец!..» Так сегодня кричала Биба. Я не пойду к ней. Я целую ночь проведу в городе. Я и тебя ненавижу. Ты обманул нас всех. Среди твоих стен качается обезьяна. Ты слушаешь песни... На

твоих каналах плывут их лодки. Ты замкнулся, гороховый шут, ты все так же держишь петербургскую шляпу на отлете.

Я ненавижу тонкое небо, профили, колонны, граниты, твой горький ветер, пахнущий водорослями. Ты думаешь, я не замечаю твоих морщин? Если бы мы могли, мы бы взорвали тебя — в лимонное небо.

Зачем я бегу по каналу?

Над воротами лампочки. Это глаз каждого дома.

Где мое пальто?

Я забыл... Я потерял. Револьвер со мною.

Тень идет на меня.

Я пропущу ее. Я отойду в угол. Нет, я зайду за церковь. Горбится другой мост. Желтеет длинное двухэтажное здание. Я слышу запах лип из сада.

Тень приближается.

— Стойте... куда вы бежите? Боже мой, что за спешка?

Серая расплывчатая тень пыхтит около меня.

— Полковник!..

Я — перед горбатым мостом. Справа площадь подковой опоясала багряный полукруг императорских конюшен. Церковная башня. Фонарь над вывеской «Автобаза Ленинграда».

— Вы не узнали меня!.. Это я — Цвибак!..

В мохнатом заграничном пальто тормошится шут. Здравствуй, не смотри на меня. Это — Петербург. Видишь — кудрявая церковь на этом канале. Куда я иду?.. Я иду — так... Иду прогуляться. Нет, не беспокойтесь, Цвибак. Я прекрасно вас узнал.

Он берет меня под руку. Он спрашивает. Мы шагаем, как Мефистофель с Мартой.

— Ну, полковник, я продал весь товар... А у вас какие дела?

— У меня?.. я схожу с ума.

— Вы знаете, я имею поручение иностранного агента. Он спрашивал о вашей работе.

— Да?..

— Ну, я сказал. Они — никто... И никто их не знает. И представьте, — он смеялся. Вы испугались меня?

— Нет.

— Вы знаете, что сказал агент?..

Что же он сказал?.. Под навесом у церкви огромная икона. Я вижу черные пропасти глаз и лампаду. Священники умеют реставрировать царственность и трагедию империи.

— Завтра уходит мотор... в море... Это спокойнее. Я имею поручение и еду на этом моторе. Прекрасный мотор.

— Опасность везде, Цвибак. Они стерегут все границы.

— Но! Всякое дело имеет опасность. Там есть еще одно место. Я им могу располагать. Вы понимаете, полковник? Я шепну господину агенту.

— Я пошлю вас, Цвибак.

— Что? Что такое?

— Я пошлю вас сказать, что этим местом располагаю я. Завтра утром сообщите агенту.

— Что?

— Вы же поняли меня, Цвибак.

— Я... Я понимаю с одной запятой... Я..

Цвибак начинает хохотать.

— Но если бы я не встретился на вашем пути, кто бы располагал этим местом?

— Цвибак!..

Мне не остановить его. Он подскакивает, он веселится. Он сыпет шутками. Он повторяет без конца:

— Чудесный мотор... Такой быстрый мотор!..

Я был прав, когда собирался к агенту. Место одно? А Петров и Свидерский...

Их ведь убьют.

А если нет?.. Нет, тогда неловко... Но....

Хорошо, если бы их убили.

А если не убьют, все равно... Я займу его. Они пусть идут финляндской границей...

Лучше, если бы их убили... Но как я смею думать? Чорт с ними, военный материал... Я поеду на моторе.

— Чудесный мотор! Прекрасный мотор!

Цвибак качается рядом со мной. Он потирает руки. Он хохочет. Может быть, издевается он...

Чорт с ним! Прекрасный мотор!.. Я не в силах, я не могу отвязаться от этой идеи.

— Завтра, Цвибак, скажите агенту...

— Он уходит в три часа от Тучкова буяна.

— Хорошо... Передайте агенту. Завтра в одиннадцать он узнает о деле.

— Простите, полковник... Ка-акое дельце? — подхихикивает Цвибак, щурится, хватает за локти.

— Он узнает сам... так и передайте... Он услышит...

— Сам... господин агент... услышит... как приятно, как приятно!..— смеется Цвибак. Он не верит мне. И я стою перед ним, как дрянь.

— Прощайте, Цвибак... Передайте агенту... завтра в три часа.

— На Тучковом буяне...

Он корчится от смеха. Надо бежать. Я сую ему руку. Я первый подал Цвибаку руку... Я унижаюсь... Или, быть может, благодарю его?.. Я бы и сам мог иметь от агента... Я бы пошел. Я бы имел это место...

Но сунул — сунул — сунул... все-таки, я первый сунул Цвибаку руку!

Я бегу по каналу. Опять — назад...

Одно место?

Да, одно место... Я? Я поеду на моторе. Не хочу знать угрызений. Мне кажется, — пестрая кудрявая церковь колотит меня по затылку. Здесь, на этих булыжниках, убивали того императора. Мы не расстаемся с кровью.

— Ау!..

Эхо звенит в канале. Отражает его гранит. Железо и бронза ромбических решеток канала звучат мембранами.

— Ау-у!

Это Цвибак.

Неужели начинает светать? Розовеют граниты. Яснее геометрия стен. Лимонное небо выплывает за багровой крышей Павловских казарм. Спит поле — кусты — гранит могил революции... Багровое английское посольство. Летний сад спит пышным зеленым прямоугольником... Ау-ау! Ау!.. Ау?

Что такое?

Цвибак подбегает опять... И я... я тоже услужливо бегу навстречу. Он толст. Он задыхается.

— Завтра... на первой линии... ждите... на углу набережной...

— Хорошо.

— Ну, прощайте... вы куда сейчас?..

Куда?.. В город, в улицы... Спать нельзя... В гостиницу поздно... В «Бар»?.. Надо его посмотреть... Я хочу есть... В «Бар»! Холодно. Я выпью и согреюсь.

— В «Бар»?.. К Михайловскому?

— Что?

— Ну да, я сказал. Поручик сидит у окна... Он один... Я сразу подумал, не ждет ли он вас?

— Да... к Михайловскому... в «Бар»... Вы говорили с ним?

— Нет, мне было невозможно. Я был не один.

— До свиданья... В три.

— Ровно в три...

Цвибак бежит. Тротуар отщелкивает шаг...

Михайловский на свободе? Что случилось? Убежал или выпущен? Убежать было бы трудно.

Может быть, не стоит итти в «Бар»? Хотя... такой поздний час... Не страшно... Скоро три... Так и не успел вставить в часы новое стекло.

Михайловский на свободе!.. Но зачем мне встречаться с ним? А если он убежал?

Нет, я обязан узнать.

Здесь рядом... Тянется цепь извозчиков.

Белые точки круглых фонарей нелепы утром. Это светит «Бар». Там у окна...

Я прохожу через вертящуюся дверь. Синий пар трубой летит сквозь вентилятор.

Скрипки ноют романс. Толпятся на лестнице усыпанные пудрой женщины.

Хлопают пробки пивных бутылок.

Официант — потный и красный, точно его натерли семгой, — несется с подносом... графинчик, и на тарелке ветчина украшена зеленым кустиком петрушки.

Ноги женщин, круглые шеи, ключицы, груди — губы — языки, изъеденные ночью, алкоголем и никотином, глаза — все кружится в табачных облаках, в чаду, в испарении пива, пирожков, кушаний.

Меня охватывает эта пляска. Я успокаиваюсь... Я любуюсь...

Вот Михайловский. Он, действительно, один.

Я подхожу к нему. Он издали узнает меня. Я заказываю официанту коньяк.

Михайловский смущен — или это кажется мне? Он спокоен. Он даже не встал, здороваясь со мной.

— Я, — говорит он, — нарочно не пошел на канал... Я приехал ночью.

Но я тоже спокоен. «Бар» успокоил меня. Я тебя ни о чем не буду спрашивать, ты сам мне расскажешь обо всем. Он отхлебнул свое пиво, отшвырнул сосиски, — как будто ему было противно видеть еду. Он попросил коньяку и налил его прямо в пивную кружку.

— У меня болит голова, — говорит он, — я сижу здесь давно и дожидаю утра. Это ад. Утром я хотел итти к Бухштабе.

— Вы лжете... Михайловский...

— Что? Я вру?... Кто вам сказал, что я вру?

Он опускает глаза и краснеет:

— Нет, я не вру... Я даже обрадовался, когда увидел вас.

— Неужели... я прямо не верю вашей любезности.

— Зря, Иван Васильевич...

И тут... он усмехнулся, как умеют русские мужики. Он хитрит со мной. Но, все равно, ты должен признаться... Никто не поверит, что ты убежал. Этого не могло быть.

— Когда вы приехали?..

— Не торопитесь, Иван Васильевич.

— Мне некогда...

— Ну, как хотите... Я не лукошко. Я не могу вывернуть все сразу.

— Знаете, Михайловский... таких, как вы...

— Что? Бьют по морде? — оживляется он, — расстреливают?.. Расстреливайте. Подумаешь!

Вот она — Брама, еврейский рынок, вялый разговор...

— Я не тянул вас силой, Михайловский..

— Силой! Силой! А что мне делать? Мне надоело околачиваться в ваших интернатах, господа. Ну, виновен... Я виновен. Во всем. Я здесь, там... и у чорта в ступе.

Он глотает коньяк, как воду.

Нужно подождать, когда он успокоится. За нами не следят. Поздно... Может быть, этот официант?

— Не беспокойтесь... Здесь бояться нечего.

Он оглядывается... Народу уже мало... Взад и вперед, как на параде, проходят невзятые женщины. Эта похожа на бедную, старую швейку. Та — толстая еврейская матрона — стянута белым атласом. Узкая брюнетка спускает рукав и показывает мне костистую, припудренную спину. Все идут быстро, будто они не нуждаются в нас... Прелесть, показанная на лету, красивей.

— Вот, — говорит Михайловский, — всякий может помять... Потискает и бросит. И еще, чорт знает... Стоит стесняться. Не подходите к ней с вопросами... Обложит.

— Ну...

Михайловский смеется.

— Погодите нукать... Я перестал быть лошадью.

Он чувствует мое нетерпение. Опять пьет коньяк. Человек в черной визитке с сальным, круглым лицом, как зажаренная картошка, проходит мимо нас, позвякивая колокольчиком. Тухнет часть ламп. Пора уходить. Человек совершает ритуал, как священник, утомившийся от долгой, католической обедни.

Не спрашивая моего позволения, поручик разливает остатки коньяку. Он выпивает залпом.

— Пошли, господин полковник...

Из «Бара» вываливается толпа. Плачет, прижавшись к стене, обиженная проститука. На перебой извозчики, размахивая кнутами, предлагают нам ехать. Над всем гамом властвует свежесть. Она вывела каждую линию. Каменные плиты тротуаров, серые торцы, углы, чердаки, проволоки обведены черным, острым карандашом.

Над этим углом безобразная желтая башня городской думы. И под ней у гранитной лестницы — на трех кубических гранитах, готовых упасть друг в друга, — стремится взорвать улицу обострившаяся, резкая бронзовая голова Лассаля, сработанная давно расстрелянным скульптором...

— Ау!...

Это кричит пьяная проститутка.

Мчится мимо, сверкая ненужным огнем одинокий трамвай. Вожатый сошел с ума в утреннем просторе города и несется через мосты — проспекты — в линии — мимо дворцов, монументальных соборов, гранитов, воды — к площадям, где стальным кольцом свернувшись спят рельсы.

— Я выдал вас... — говорит Михайловский.

Ты не мог не выдать. Конечно — теперь ясно!.. Только здесь все можно понять — в этом городе. Мы вернулись к сегменту старых конюшен.

— Сколько же дней вы здесь?

— Два дня... А Витька... Витька соскочил... Он соскочил, полковник... с поезда... И сломал ногу... с вашего поезда... помните...

Мы садимся на каменные плиты полукруглого крыльца. Михайловский хочет смеяться, но я не слышу звука... С полотна смеется актер... Дайте же хоть пианино.

Узкий канал Мойки загибает к дворцу.

Ты два дня здесь... Витька сломал ногу. «Прокалывается в присутствии врачей».

Поручик просит папиросу. Курите. Он прислонился к багровой колонне. Ему трудно стоять, он пожелтел,— в его кожу впиталось беспокойство, предательство, лимонное утро города. Он нервно вертит в пальцах папиросу.

— Она не отравлена?.. — хрипит он. И, улыбаясь, ломает одну. Хватает новую папиросу. Я подношу ему спичку.

— Вот... — говорит он, затянувшись дымом, — хорошие папиросы... Русские... Словом, я выдал вас... Я не мог... Витька... встретился...

Он грозит в улицу — врагу —тем, что спят за стеклами, обагренными горизонтом.

— Но тише. Я не сказал про Бухштабе... Кое-что я должен был оставить в запас... ты понимаешь, полковник?.. Вот почему я не ходил туда.

Так. Значит, вчера я оборвал наблюдение. Иначе сегодня был бы арест....

— Я сказал себе... проститутка должна скрывать. Я обманываю своих хозяев... Раз-два... Раз-два...

Он качается справа налево.

— Позвольте, полковник, прикурить... Но не до конца. Хозяева не должны знать все. А на Невском... Я показал... ты гонишься за бабами... Ты, ты...

Он наглеет. Но и это не удается ему.

— Я же, все-таки, к тебе питаю чувства... И люблю... Обрати внимание. Я тебя предупредил.

Он хочет смеяться, но у него стучат зубы.

— Мне жалко... понимаешь... когда тот сломал ногу... Он — самоотверженный человек... Я тогда подумал... Нет, вру... Не верю. Я поступлю охранником на склады. А как вы думаете?.. А-а, все равно!.. Ты думаешь, я верю коммунарам?.. Да ну их к чорту! Но ты меня не выдавай.

В переулке идет милиционер. Он зябнет. У него поднят воротник.

— Подымайтесь, Михайловский... Вы хотите проводить меня? Нет, меня не надо провожать.

— Вы... — полковник... пожалуй, обиделись на меня? Уж такой переплет!.. Пожалуй, вы мне приказали бы сдохнуть...

Он пытается меня убедить. Он багровеет.

— Вы что мне дали?

— Я ничего не хотел давать. Прекратим разговор. Я ухожу. Отстаньте от меня.

— Отстать... от тебя?.. Хочешь, я позову милиционера?.. Хочешь?

Я молчу.

— Вот... стрелять будешь? Испугал!.. Я ненавижу тебя... Гадина!

Он открыл рот, задохнулся утренним воздухом... Равнодушно идет милиционер.

Проснулись птицы.

Я пересекаю горбатый мост. Солнце глыбой обрушивается на огромный квадрат Марсова поля.

Михайловский вцепился в решетку канала. Свесился вниз — в воду. К нему подходит милиционер. Трясет его за рукав.

— Нельзя скандалить, гражданин...

— Да... да...

— Иди домой... Распустил слюни... алкоголик!..

Он уходит, согнув плечи. Что ему делать? Он идет в безнадежность. Бросил окурок.

Если он сейчас крикнет?.. Убегу ли я от них?.. Спрятаться за граниты могил... Милиционер не поверит ему.

Я один, больше никого на поле.

Приходит утро. Полетят воскресные трамваи.

Поручик смотрит на меня. Мелькнула рука. Он возвращает мне мой жест, — он помнит его с Варшавы... Тогда на еврейском рынке я по-генеральски махнул ему рукой. Пролетка тронулась. Он затерялся в торгующей толпе евреев.

Теперь он уходит — в геометрический город.

За красной, жирной колонной еще раз остановился он... Он метнулся в переулок. Ничего нет...

Остались — овалы окон, кудрявый фриз, колчан, факел, кубические ступени, колонна, сломавшая перспективу угла.

Город, как бухгалтер, подчеркнул итог, эта колонна — прямая, и за нею «сальдо» поручика...

Пустота... Шиш... деревня Сухие Броды.

Сидит на тумбе милиционер...

Милиционер думает, что он один в этом городе, что кругом только камни, стекла, вода и воробьи.

Милиционер поет. Милиционер размахивает руками. Милиционер хохочет. Я высунусь из-за угла, крикну ему и спрячусь.

Он остолбенеет. Он сконфузится, его поймали за постыдным делом.

Чорт с тобой, поющий милиционер!

Летит в небо багровый Михайловский замок с круглыми башнями, с острой иглой, с огромными окнами. Дрожат павловские клены за высокой устремленной решеткой. На причалах покоятся лодки.

Между выступами стен идет на мраморных колоннах глубокий балкон. Высокая лестница протянута к нему, все сильнее и богаче рас-

ширяясь вниз. Мрачные фигуры павловских мальтийцев, предателей и убийц толпятся на балконе, и площадь перед рвом и лестницей заполнена гремящим строем войск. Сверкают краски штандартов, мундиры, цветная пудра. Гримасничает император, принци, придворные. Император косится на любовницу...

У Лопухиной перчатки розово-багровы... так же как стены замка. Император доволен. Стены нарочно окрашены в цвет перчаток любовницы.

С Лебяжьего канала метнулась лодка в ров — к Фонтанке. Скользнула тень по граниту.

Девчонка с распущенными волосами лежит на корме. Для нее гребут гребцы. И на дне лодки сидит мальчишка с балалайкой.

Ей-вы, послушайте!..

Лодка метнулась под арку — подданная волной, как пробка.

Ей-вы... вы равнодушны. Ваше право. Ваше дело...

Я не хочу, чтобы по этим водам плыли обезьяны.

19.

Не выдумает ли Париж, что я последний шпион?.. А что скажет Варшава? Пора перестать сумасшествовать. Этот город раздражает нервные центры.

Биба спит, но у меня есть ключ. Я пройду тихо и незаметно и постараюсь уснуть. Надо перед сном проговорить себе несколько раз: «одиннадцать часов... одиннадцать... одиннадцать». Мозг послушно восприймет внушение... Конечно, это будет не в одиннадцать. Пока они подойдут да распишутся... Да швейцариха стянет с Петрова пальто. Свидерский в куртке, ему удобнее... Это будет четверть двенадцатого... Потом надо подняться. В воскресный день публика собирается медленней. Они подождут... Я им приказал подождать... Да не проспали бы они. Глядишь — к двенадцати часам...

Дворник открыл ворота и вышел с метлой и железным совком.

Ну что же... пора итти... Или еще немного, еще пять минут посидеть у ворот, чтобы проветрить голову от всяких призраков. Собственно, что такое призрак?.. Это старость, это отчаяние... Когда стареешь, начинаешь жить призраками. Иногда кажется, что тело — просто сосуд, переполненный изжитой кровью, переливаемой из года в год, из десятка в десяток, быть может, из столетия в столетие.

— Послушайте, откройте мне дверь.

— Вы к кому?

— В пятый номер.

— Поздно гуляете, гражданин.

— Да... поздно...

— Весна приятная. Невозможно спать... Так бы вот и жил, и гулял...

Дворник отставил метлу... Борода у него пухлая и круглая, как горшок. Равнодушно принял двугривенный. Сегодня я просчитаю эти

ступени, и завтра... и больше я никогда их не увижу. Через Маркизову лужу мы помчимся в залив.

Может быть, завтра утром Биба будет долго спать. Это было бы удачно... Женщина должна быть имуществом. Его можно продать, бросить, можно наслаждаться, оно подчиняется распоряжениям... Если бы женщина могла быть имуществом, это было бы самое приятное имущество на свете.

Пьяные мысли, вздор... Но я уже не так пьян. Я совсем не пьян. Когда слишком много кувыркаешься в жизни, хочешь, чтобы женщина не мешала.

Я тихо открою дверь. Нужно осторожно принять на себя, придержать...

Замок щелкнул почти неслышно. Завтра я могу уйти так же незаметно. В воскресенье они будут спать... И я с ней не встречусь.

В той комнате тихо храпит Сергей.

Чайник на столе закутан мохнатым полотенцем. Грудка грязных тарелок. Сухарница прикрыта салфеткой. На вилке записка... Мне?.. Если я поздно приду... «Пожалуйста, ешь бутерброды... Чай еще теплый... в буфете ветчина... Биба...».

Есть не хочется. Надо спрятать записку. Лирическое воспоминание.

Еда? Я позабыл сегодня про еду... В «Баре» — коньяк...

Старость... Или бессонная ночь? Но мало ли было бессонниц! Старость — тонкая и ядовитая старуха. Усиливает подлость, мелкие страсти, жадность... Хорошо, что мы не видим себя в старости, — мы отвернулись бы в испуге.

Вот я стою сейчас перед зеркалом. Нос мой покрылся маслом. Глаза в гнездах. Виски пригнулись. Вытянулся подбородок. Но рот... Это искривленное жерло, обтрепанные губы...

Нет, это слишком! Говорят, современный человек за один год переживает два или три года. Словом, восемьдесят лет... Откинем молодость.

Шестьдесят лет.

Тут, действительно, сойдешь с ума. И кажется, ни капли не жил.

— Биба!..

Она стоит в дверях своей комнаты. Она в том же купальном белом халатике, точно сегодняшним утром... вчерашним утром. Сегодня уже новое утро. На плече маленькая заплатка. Я не заметил этого тогда.

Она глядит. Она даже не просит меня быть осторожным. Во всяком случае, она волновалась всю ночь. Разве я просил тебя волноваться? Эти современные женщины вспыхивают моментально, как зажигалки... Или совсем не вспыхивают... Но надолго ли в тебе хватит бензину?

— Ты хочешь спать?..

Ну, конечно... Уж не думала ли ты, что я сейчас начну распевать серенады.

— Тебе приготовлено... ты, наверное, проголодался.

Я знаю... Я кивнул тебе. Но тебе мало. Ты хочешь объяснений. Неужели ты не понимаешь, что иной раз противно говорить. Я устал. Меня не

влечет к тебе. У тебя раскрылся халат... ты стоишь на колоннах... Я смеюсь. Ты удивлена? Чему ж удивляться — призраки, старость, милая моя.

Я прохожу в комнату. Я раздеваюсь.

Холод простыни охватил тело. Хорошо бы перед сном теплую ванну. На коже чувствуешь какой-то налет... Ну — скоро, моторный катер... и прощайте!

Она стоит в столовой у окна. Она борется с собой — зайти ко мне или нет? Мне некогда... Завтра в двенадцать часов... Нет, в одиннадцать я должен быть на ногах.

Она не выдержала. Она пришла. На секунду она остановилась в дверях. Она шагнула так тяжело, как будто бы к ногам ей привязали груз. Ну, конечно, она ждала каких-то слов.

Ты хочешь сесть ко мне на кровать? Садись... я же не могу оттолкнуть тебя. Ты пришла, конечно, не для объятий?

Я беру ее руку. Целую. Надо же хоть чем-нибудь заткнуть пробел.

— Ты уйдешь завтра... Немедленно... Слышишь!..

Конечно... Я уйду. Но отчего такая перемена? Почему ты говоришь как цезарь?

— Ты уйдешь... и как будто я тебя не знала... Никогда — ничего — не знала... Ты понимаешь?

Я понимаю. Не устраивай трагедии. Я хочу спать.

— Ты молчишь?

— Все прекрасно... Я завтра уйду... то есть сегодня...

— Вот как... Это что же такое?.. Ты... как будто рад?

— Я? Рад? Я не понимаю тебя. Ты же сама... приказываешь мне.

— Да, да...

— Ты... Чего ты?..

Она лихорадочно протирает глаза.

— Сережа... Он вспоминал твое лицо. Он пристал ко мне, понимаешь?.. Но я уверила его. Я боюсь, утром он поедет на службу...

Новый человек входит в игру. Если бы эту пьесу можно было разучить заново, переменить роли и... В сорок лет нам хочется умереть — и родиться вновь. Странный вздор. Жизнь — это химия плюс инженерия. Теория господина Плеске.

Конечно, Михайловский указал меня... Клара поторопилась — призрачная актриса. Химический эксперимент — раздражение на кожу.

— Ты чему смеешься?..

— Я? Смеюсь... Биба, ты веришь в чудеса?

— В чудеса?..

Она изумлена. Она смотрит на меня глазами любви. Биба — это же ненадолго, это только зажигалка, потуши ее.

— Я знаешь, вспомнил.. На фронте у меня был еврей, солдат... Он верил в чудо. Он говорил: «Как же нет чуда?.. Вот я уснул и проснулся, и опять вижу солнце. И опять усну, и опять проснусь, и опять увижу солнце. Разве это не чудо?»

Биба хочет понять тайный смысл.

— Биба, давай лучше спать.

Она качает головой. Нет, она этого не хочет. Последние часы, думаешь ты сказать... Но ты современная женщина. Тебе стыдно. Ты мечешься от стенки к стенке. У нее спустился халат. У нее круглое здоровое плечо, на нем красное пятнышко. От волнения... или натерла халатом...

Биба раскрыла глаза, запрокинула голову и отшатнулась.

— Ну... начинается анализ. Надо спать.

— Ты хочешь чтобы я легла?

— Да... ко мне...

У нее оскорбленно посерели глаза, и она встала.

Штору забыли спустить. За окном огромный свет. Солнце косит в улицу. Веселье обрушилось на соседний дом и скоро затопит это окно.

Комната еще прохладна, грустна.

— Ты можешь поспать... недолго, — холодно говорит Биба.

— Да... я уйду часов в двенадцать... Нет, в одиннадцать...

Я постоянно путаю.

— В одиннадцать... — повторяет она, — это хорошо.

— Биба!

Я присыпал голос пудрой. Но я совсем не хотел, чтобы он выглядел красивей. Мне же ведь ничего не надо. Иди, иди!

Она стоит и кусает себе пальцы. Свет просеивается ореолом сквозь шапку ее волос. Может быть, ты хочешь знать, где я был? Ничего серьезного. На собрании петрушек.

Первая солнечная стрела упала в окно, — закрутилась пыль... Миллиарды пылинок, мельчайшее деление мира и времени. Биба быстро опустила штору. Не испугалась ли она движения секунд?..

— Да... Что ты хотел сказать, уж не похожа ли я на твоего еврея?..

Мне трудно не смеяться.

Я ловлю короткие электрические взрывы мыслей... Я даже не успел подумать. Позвал ее.

Она закрыла лицо.

Кожа на ее лице сделалась грубой, неровной, побагровели виски, скулы, уши. И как будто нарочно она сомкнула глаза.

Между шторой и стеной — сквозь узкую щель — быстро проползал тончайший, наполненный кружившимися частицами луч. Это — двигалась земля...

Я взял Бибу за руки. Она стояла рядом — большая, тяжелая, тоже наполненная светом.

20.

Часы бьют. Я видел сон: полярную ночь. Стоял матрос с «Чесны»... в валенках и с укутанными в башлык ушами. Он, небрежно опираясь на винтовку, курил папиросу и презирал нас...

Мы? Я не видал нас. Но мы были — офицеры...

Потом — Cantine Boyard, огромная маркитантская лавка; я вижу австралийские окорока, зашитые в парусину и залитые эластической массой, цилиндрические банки с аргентинским коровьим маслом, сыры, паштеты, яичный порошок, белые колбасы, портер...

Иностранцы не пускают меня. Я нацелился в окорок. Но они кричат. На них особые шапки, парусиновые сапоги с исландским мохом внутри, ветронепроницаемые одежды Шакельтона, рукавицы, кожаные безрукавки. Они, все-таки, зябнут. Они кричат: «Огромный северный пикник... Огромный, северный... Пик-ник! Пик-ник...»

Я нацеливаюсь опять в окорок.

Они отталкивают, они предлагают мне: «Пожалуйста, пианино... Механическое пианино! Предметы спорта, для пикника... Кино-аппарат... для пикника. Пик-ник!»

Я хочу есть... Они выкрикивают: «Маршандиз, Мурман... Мурман, Маршандиз...»

Да, я хочу есть.

Это, конечно, оттого, что я вчера почти не ел. Да... ничего не ел.

Мои часы остановились. Так и не вставил стекла. В механизм попала пыль.

Но неужели я мог проспать?

Я встаю.

И Биба держит меня за руку.

Ты не спала? Ты смотришь на меня.

— Ты порвал? — неожиданно спрашивает она.

Что?

— Как будто ты не знаешь.

— Да, я не знаю...

Я говорю грубо. Я не давал тебе права вмешиваться. Я встаю... Где мои сапоги?

Нет, не может быть, чтобы я опоздал... Слишком мало времени — только матрос с «Чесмы» и окорока...

Я еще успею доехать.

— Ты ведь уходишь... зачем же ты так говоришь со мной?

— Перестань... что тебе?..

Она смотрит на мой наморщенный лоб, на мою гримасу. Ты ждешь нежности. Мне некогда, ты должна это понять.

Только одно маленькое слово, говоришь ты...

Чорт возьми, куда закатился второй сапог.

— Ты не знаешь, сколько времени?..

Она молчит, когда я ее спрашиваю.

Прав ли я?..

Она осунулась, и лицо стало некрасивым — узкое, стянутое... как собаки...

Неужели те стоят?.. Или — нет... Петров мрачно вошел в подъезд. Швейцариха протягивает ему номерок. Свидерский расписывается

в сальной книге перед зеркалом. Ему неудобно... Оттопырился правый карман куртки... Там — граната, завернутая в бумагу.

Приходят люди. Может быть, кто-то покосился на него. Но ему некогда. Он совсем не думает, что кусочек мозга этого мимо идущего человека с портфелем через пятнадцать минут, прилипнет к штукатурке карниза. Он думает — о радиусах к вокзалу... Скорей!..

Я надеваю брюки... я слышу за спиной плач.

Это Биба закрывает подушкой рот.

Отстань!..

Лучше не обращать на нее внимания.

Если я ей скажу: «Нечего плакать, я тебя не люблю!» — она примется еще сильнее. Это принесет мне еще больше беспокойства.

Надо торопиться. Так? Револьвер здесь...

Теперь — что же?.. Надо попрощаться с нею. Она будет говорить...

Некогда, некогда...

Я делаю три шага, открываю дверь, оборачиваюсь: она подняла голову...

Глаза — жестяные коробки — ничего не видать.

— Подожди!..

Она охрипла. Чего мне ждать? Я должен итти. Я отрицательно пожимаю плечами. Но лишь я повернулся спиной, я сделал только шаг, — она кричит:

— Володя!..

Тише... Тот же рядом, через комнату, — может быть, он не спит. Я оборачиваюсь.

Ее лицо искажено. Невольно я делаю шаг к ней. Это ошибка. Надо было бежать. Теперь поздно — я обернулся, я спросил, я жду...

— Ты... Ты...

У нее такой голос — точно это нож с зазубринами. Она, конечно, права... но когда она проводит этим ножом, во мне возникает страшная ненависть...

Я бы разбил эту голову с подкрашенными бровями.

Она удивительно права, у нее все преимущества...

Но при чем тут я?.. В тебе говорили — твои глаза, твои губы, твоя грудь...

Я не при чем.

Мне некогда, мне некогда!

— Володя! — кричит она.

Боже мой!.. Они уже там — в комнате — у круглого стола — Свидерский пробует предохранитель гранаты.

Сейчас я ей должен сказать нежно и ласково. У меня неправильная тактика. Быстро. Я могу потратить одну минуту, чтобы уйти без скандала.

Я бросаюсь к Бибе.

Я беру ее голову. Я чувствую, как я хочу ее трясти и бить, но я целую. Губы мои становятся липкими и солеными от ее слез. Я не люблю мокрых лиц.

Я шепчу какие-то слова. Я стараюсь не дышать. Мне неприятен запах согревшегося в постели тела.

Я отрываюсь от нее и бегу.

Посредине столовой я слышу за собой спешный шелест босых ног. Руки Бибы отчаянно хватают меня за плечи.

Ну что еще?.. Что тебе надо?

Неужели я это сказал?

Да, сказал.

Крышки падают с ее глаз: они — мутные и зернистые, как будто в них икра.

Она сейчас упадет.

Если бы она могла кричать, но она боится т о г о...

Но ведь и стоять она не может.

Да — если я брошу ее, будет крик и скандал, и выскочит т о т...

Нет, я лучше поддержу ее.

Она методически стонет, внутрь себя. Это слышно только мне... Как будто ей льют воду в глотку, и она давится.

По этим стонам я отсчитываю секунды и дрожу от неистовства и нетерпения.

Неужели она не чувствует этого?

Мне ее не поднять. Надо бы ее оттащить к кушетке.

Я пробую передвинуться с нею, но мне неудобно ее волочить.

Она совсем закрыла глаза. Я ощущаю пальцы на своем плече. Когда я дотрагиваюсь до ее влажных пальцев, к ненависти примешивается жалость.

Но я не выношу влажности.

Ее рука скользит по моему телу, и я обхватываю ее за талию. Я не хочу, чтобы она упала.

Только сейчас я вижу... Она в одной рубашке.

У нее горячая спина.

Я больше не могу ждать. Я опускаю ее на пол. Прощай!..

Я иду на цыпочках к передней, не оборачиваясь. Мне кажется, — она давит мне шею глазами, и я сгибаюсь. Я жду, — непременно она должна крикнуть мне вслед и еще раз остановить меня. Нет, я прорвусь.

Но и перед собою я ощущаю какое-то препятствие.

Я подымаю взгляд... В передней стоит Сергей. В секунду я оглядываю его, — он полуодет, без сапог, в рейтузах, сзади болтаются помочи. Мне не узнать его черной, гладкой головы. Она вылезает из широкого воротника ночной рубашки, взъерошенная подушкой и тревогой.

Мне поздно думать о револьвере, если он кинется на меня. Я рядом — я иду, — это дело секунды, я успеваю почувствовать прилив его вражды...

Он сейчас задержит меня. Вдруг сзади бешеный крик Биби:

— Уйди!.. уйди!..

Я не понимаю, кому она кричит.

Крик, наполненный страстью, сбил его.

Я уже за дверью. Биба прокричала еще раз.

Я мчусь вниз по лестнице. И все еще в ушах остается крик...

В море на охоте кричит об опасности тюлень.

Мимо бежит щегольская коляска. Я беру ее, не торгуясь. Я даю указания кучеру.

Он подбирает вожжи, и лошадь пружиной натягивается между оглоблей.

— Скорее!.. Почему не по Литейному?..

Парень, не двигая туловищем, оборачивается ко мне.

Свернем у Михайловской... По набережной лучше дорога.

Взятая в гранитные массивы Нева перечеркнута бесчисленное число раз длинными, дугообразными мостами. Они повисли над огромными пространствами, способными выдержать целые эскадры.

Сверху обрушиваются цветущие плоскости неба.

От земли и садов тянет теплом. Бриз собирает воду в складки.

С моста и на мост несутся трамваи. Они полны, несмотря на утро.

Длинная цепь в несколько десятков человек заняла очередь к пароходу. Торгуют у пристани ларьки с лимонадом и квасом. У синего ящика торговца мороженым маленькая толпа. Мелькает на солнце его ложка.

Муравьиные группы шныряют по мосту.

Я спрашиваю кучера. Он отвечает любезно:

— Идут на Острова... Там гулянье по праздникам.

Как спичечные коробки, дрожат вверху три аэроплана.

Мы сворачиваем на площадь, чтобы вырваться к центру.

Навстречу нам процессия. Впереди пионеры с красными галстуками. За ними в рядах — взрослые и молодежь.

Перед процессией два парня в желтых туфлях и в гимнастических фуфайках — несут развернутый на двух палках плакат.

Маленький барабанщик идет самым первым.

Он бьет. На нем синие короткие штанишки и открытая белая рубаха.

Мы осторожно объезжаем его. Он занят выбиванием ловкой и сосредоточенной дроби, он погружен в барабан, он не замечает нас.

Плакат упирается: «Кто отдыхает разумно, тот подымает продукцию».

Среди задних рядов девицы в сандалиях пробуют фальцетом завести песню.

Это напоминает мне Армию спасения.

Но среди них много франтих. Сегодня, — несмотря на то, что день предвещает жару, — они в замшевых туфлях и шелковых платьях.

Мы оставляем их позади, — лошадь в узкой улице перед Михайловским замком так несет, как будто не ее плечах нет экипажа.

— Извозчик... вы можете отвезти двух товарищей? Они сядут вместо меня.

— Отчего же...

— Надо спешно.

— Молнией можем. У меня овсяной жеребец.

Этот ловкий парень будет еще ловчее, если ему хорошо заплатить. Я поставлю его в переулке... А разбираться он будет потом.

Мне кажется, город бежит мимо. Еще минуты две — и мы у цели.

За спиной сзади ухнул удар. Я даже приподнялся в пролетке.

— Что такое?

— С пушки... Петропавловская крепость стреляѐт.

— Крепость... Крепость?

Значит, я опоздал. Двенадцать часов. Крепость стреляет в полдень... я проспал с Бибой.

Они покрутились там и ушли. Ведь иначе в городе было бы волнение. Я бы перевернул этот безмятежный праздник. Но разве я им приказывал заглядывать в переулок. Они должны были прямо итти в подъезд.

А может быть они проспали тоже? Петров был ведь здорово пьян..

Зачем мне теперь мчаться туда?

Ну — если они арестованы?

Через полчаса все будет известно в городе. В городе? Но что я отвечу капитану Минуте? А-а, он теперь не получит майора... Его не будут поздравлять. Я даже рад. Но почему я рад?..

Не хлопнет пробка.

Вздрогнул жеребец — секунда. Впереди взрыв...

Да — да, взрыв!

Это они. «Это не двенадцать часов».

На тротуарах остановились люди.

Обернулся извозчик. У него побледнело лицо. Он смотрит на меня. Жеребец переменил аллюр.

Мчится толпа.

— Стой, извозчик!..

Свистит милиционер...

Неужели здесь можно уйти? Я не могу помочь. Они кончены. До свиданья, лихач... получи... Да, да, я интересуюсь узнать, что там случилось.

Мимо! Мимо! Скорее бежать — хоть в эту пивную. Там ведь, наверное, никто еще не слыхал удара.

Стойка роскошно сияет закусками, рыбой, разными сортами колбас, гарниром, салатами. Сверкают краны, подающие пиво в кружки и воду.

В пивной — прохладно, каменно, чисто. Большие прямоугольные своды. К пальмам нельзя притронуться — их сегодня покрасили.

Петров, Свидерский... Кончено! Им не уйти. Естественно, что я поеду на моторном боте. Это удача.

Там всполошилась улица, всю эту груду домов, трамваев, людей ковырнули сверху гигантской палкой.

Официант подходит ко мне.

— Сейчас. Погодите, выберу... Дайте мне миноги... Или нет... Это что? Осетрина... Дайте мне кусок осетрины...

— Пожалуйста...

Официант, взмахивая салфеткой, приглашает меня к столу.

Но я ведь хочу есть. Еще...

— И потом...

Я скольжу по закускам, точно глаза мои на коньках.

— Горячее у вас есть?..

— Нет-с... по праздникам, извините, не держим.

— Та-ак...

Бросается в глаза гусь, — золотится пупырчатая поджаренная корочка на его лапках... Холодный гусь? Нет, лучше уж заливной поросенок.

У него такая же белая кожа, как у человека.

Нет! Нет! Поросенка я не могу.

— Это что?

— Салатик... майонез из дичи. Очень вкусно, рекомендую.

Я оглядываю салаты. Буфетчик равнодушно полощет в кранах огромные кружки...

Он бы выбежал... Значит, он ничего не слыхал.

Ну... ну дайте мне салат...

— Пива большую прикажете?

— Да... Большую...

Я хочу подумать. Ничего не выходит. Стойка перенеслась в голову, и сияет там: майонез, осетрина, заливной поросенок с гарниром...

— Буфетчик... Еще кружку пива.

21.

Моторного катера нет.

Он будет позже.

Цвибак бледен.

— Господин агент слышал ваше дело...

Еще бы не слышать господину агенту!

— Моторный катер будет только к десяти часам... мы идем в сумерки.

Я согласен.

Я ждал три часа. Я могу еще подождать.

— Ровно в десять... с Каменного острова...

Место переменили. Цвибак шепчет на ухо:

— Господин агент был потрясен...

Еще бы!..

— Цвибак, вы были там на месте?..

— Конечно, да. Но вы понимаете... Дом оцеплен... Я узнал, что они успели убежать...

— Едва ли...

— Говорят.

Я не могу подойти к этому месту. Надо прятаться. в отдаленных кварталах. Цвибак согласен со мной. Молча, окружными путями, мы попадаем на Лиговку. Я чувствую: центр дрожит, нарушено сердце. Скачут конные милиционеры. Город скрестился телефонами. Гудит скопище архитектур... Где они?

Они?

Нити ползут к границам.

— Вы согласны, Цвибак... сейчас трудно перейти.

— Что значит — не согласен... когда я знаю, что за последние три дня не перелетела ни одна птица. Но капитан Кравченко приведет мотор...

— Кравченко?..

— Ну да...

Я помню...

Стокгольм чествовал. Оркестр играл цыганские романсы. Я ждал англичанина Лича, посылавшего русских офицеров на Мурманск. Лич после переворота скупил все газеты Петербурга и Москвы, подымал рыболовство на севере, расширял порт...

Большевики помешали ему. Вот почему он приобретал наши руки и мясо.

Среди фонтанов, пальм, среди разрисованных женщин, на мавританских балконах кафе, среди величественных лакеев, состоялось свидание.

Во времена налета одиннадцати английских катеров в Кронштадтскую военную гавань советский моряк, артиллерист Севастьянов — командир миноносца «Гавриил» — потопил семь налетчиков. Остальные удрали.

Кравченко грыз ногти от зависти... это было — «морское дело».

Кравченко — жив... Но ведь и я жив.

Цыган торгует кольцами и ножами. Девки, нарумяненные кирпичом, ловят жертву в толпе. Китаец продает с палки пирамиду абажуров. Орут бумажные драконы.

Мчится, обгоняя трамвай, щегольская коляска, — еле держатся в ней два пьяных гармониста, наяривая вальс. Толпа меланхолически бредет, выискивая скандал.

Подле панели тянутся лотки с леденцами, фруктами, жареным орехом. Художник на углу рисует моментальные портреты. Над его головой надпись: «Исправляю все дефекты лица». Рядом с ним красавец-грек режет маслянистую халву.

Зубной врач — около своего дома — около вывески — качается, как бонза:

«Дешево починяю зубы... Вставляю новые зубы... Вставляю челюсти... Быстро, аккуратно, дешево. Зуб — три рубля. Совет — полтинник. Бедным — бесплатно»...

На другом берегу канала скрипит сверкающая карусель. Волнуются на столбах лодки. Взлетает с влюбленными колесо. Быстрее гремит шарманка.

«Зуб — три рубля... Совет — полтинник. Бедным бесплатно»...

С толпою мы попадаем в балаган. Нам надо убить время.

Мы читаем на заборе рукописные объявления:

«Матрац с пружинами... книжная этажерка...»

«Китайский доктор моментально лечит сифилис огнем...»

На пестром ситцевом барьере ширмы хрипит Петрушка. Он разыгрывает драму с городовым, капиталистом и попом.

Узкое лицо истерзано косой гримасой.

Артисты ссорятся. На крик выскакивает милиционер. Кампания остолбенела.

Петрушка громко колотится деревянной головою о барьер.

Цвибак смотрит на меня...

Плюнь три раза через левое плечо! Я смеюсь, но мне нехорошо.

Хозяин карусели зажигает фонари. Сумерки быстры. На краю горизонта зреет лимон. Он увянет через четверть часа.

Стремятся на кругу серебряные кони.

— Пора, Цвибак!

Он задумчиво жует губы.

Мы берем извозчика.

На большом проспекте остановилась толпа. Стоят трамваи. Задерживают и нашу пролетку.

Все глядят вверх.

По карнизу крыши пятиэтажного багрового дома мечется маленький человечек. Он в бекеше. Он смешно размахивает руками и кричит: «Райзодись... Ушибу...»

Милиционер с лицом, закутанным в старорежимные бакенбарды, вытаскивает из деревянной кобуры наган... Он растерялся. Он скачет по мостовой и вопит человеку в бекеше:

— Не смей прыгать, сукин сын!.. Застрелю!

Цвибак готов вылезти из коляски, чтобы присоединиться к толпе. Но я удерживаю его. Я не хочу видеть смерти Краута.

Мы еле пробираемся через толпу... Спустя минуту я слышу за спиной возглас мальчишки:

— Прыгнул!..

Толпа бросилась и очистила место коляске.

Я тороплю кучера. Лошадь взяла аллюр... Будь, что будет — там, сзади...

— Скорее!.. Погоняй, погоняй!..

Я закрываю глаза...

Роится проспект, веер рельс, бульвар по линейке, бакенбарды, бекеша, колонна на площади багрового циркуля, ангел и крест вверху. Взвод милиции пересекает пустоту барабанным, подкованным шагом. Бежит газетчик через тротуар: «Экстренное вечернее прибавление... Будь готов, пролетариат... Митинги на заводах... Беспощадная месть шпионам...»

22.

На берегу тишина. Вдали гудит оркестр, и белые шары ламп на террасе клуба настраивают печально. В рукаве Невы возвратившиеся с плаванья яхты берут бортом воду, повинуясь буксиру. Ветра нет. За поворотом огонек укоризненно моргает в тьму парка.

Вязнут ноги. Кряхтит рядом Цвибак.

Кравченко смотрит на часы.

— Через четверть часа...

Пахнет сыростью большой теплой воды. По другую сторону брейквартера из темноты отфыркивается гигантский водяной конь. Это механик Дилс проворачивает мотор.

Кравченко состарился. Я говорю ему об этом. Он безнадежно машет рукой.

— Жизнь... слуги международного капитала...

Он не может без шутки.

— Теперь не то... Теперь не разгуляешься. А четыре года тому назад, — помните?.. Теперь наставили боны...

— Но ведь вы прошли...

— Пройдем и назад... Через полчаса будем сидеть в Териоках... Сорок пять минут. При правильном курсе сорок узлов хода... Не поймать...

— Что значит узлов? — спрашивает Цвибак, заикаясь, — простите, я не моряк.

— Семьдесят верст в час... можно до ста.

— Ого!

У сваи качается белая гичка, как игла.

Мы по очереди скользим к мотору на крохотном тузе.

Сразу распластывается перед нами по воде большое и плоское тело, выкрашенное в защитный цвет.

Садимся. Вытаскиваем из воды тузик и вставляем его в продолговатый минный туннель.

Кравченко внимательно осматривает горизонт, облизывая его глазами.

— Хорошо... Свежей погоды не будет...

— А что? — беспокоится Цвибак. Я чувствую: Кравченко щурит насмешливо глаз.

— Что? Мы не идем... мы — камень, пущенный плашмя над поверхностью... при свежей погоде мы разбиваемся об воду собственной скоростью... Давай, Дилс.

Команда принята. Двигатель неожиданно и могуче всхрапнул под нами, Цвибак упал и вздохнул:

— Боже мой!..

Я говорю Кравченко:

— Цвибак — не трус... Он умеет прекрасно сражаться.

Цвибак горд. Толстый, крепко сбитый, он сидит на дне и серьезно старается объяснить:

— Видите ли, я не привык к морским путешествиям. Если вы помните библию, вы должны знать, что мы всегда ходим пешком... даже через море.

Мотор рвануло, катер хрипит порывами и толкает за себя массы берегов, леса, огней.

— Сколько?

— Пока восемь узлов... Даю половинный ход... Двадцать.

Корма сразу вырыла сзади глубокую яму, и к бортам прилипли две летящие, стеклянные стены. Мотор ноет от напряжения. Катер, встретившись с налетающей волной, подскакивает вверх, подданный в дно пинком гиганта.

Я стою у минного туннеля, держась за привязной тузик. Мысль о Бибе вдруг не дает мне покою. Ноющий мотор раздражает меня... Если бы так же было слышно человеческое сердце. «Поздно...» Да, поздно... Но не хорошо. Пусть нехорошо! Любовь — даже к матери — первое несчастье.

Последний рейс. Кончена затея. Скорее к цели! Только бы жить!

Слева юркнул яхтклуб. Трепещет огнями город, в нос бьет огонь Северного Елагинского маяка.

Горизонт темен. Мы — люди тьмы, — нам не надо ни луны, ни звезд. Кругом нет ряби, корма ломает застывшее стекло.

В тьме несутся с боков пологие берега болот и кустарников.

Направо промерцала приземистая Лахта, прикрытая пятнами тростников.

В просторе раскинулся туман — метра полтора над поверхностью. В этом свинце едва наметились слабые огни окрестностей.

На фортах беспросветный мрак.

Сзади безобидной лентой висит луч неподвижного прожектора.

Горизонт уплотняется. Привыкший глаз начинает ловить вскипающие барашки.

Кравченко кладет руль параллельно берегу, и поднявшийся ветер бьет уходящую в воду корму.

— Скверно... надо торопиться...

Кравченко ставит телеграф, ускоряя ход.

Цвибак лежит, свернувшись.

— Видите... Что это там?..

— Судно...

— Толбухин маяк... — смеется Кравченко, — у него купол сдвинут на бок, как шапка.

А что если судно... если миноносец... что он может сделать нам? Скорей бы!...

Механик принял сигнал.

Взревел двигатель. Провалилась в воду корма... Нос хлещет мчащуюся под нас воду. Мы сейчас летим над ней.

С бортов растут два урагана.

Под кормой полощет бешеный водоворот, низвергаясь в глубокую яму. Мы взрываем ее все сильнее.

Водяной столб обливает нас. Цвибак накинул брезент.

Выдвигается Кронштадт.

Нам надо скорее к фортам. Там беспросветный мрак.

Там тишина. Но кто нас поймет?

Не стоят ли за этой тонкой, четкой чертой миноносцы, потушившие огни?

Звук мотора наполняет мир. Я кри у об этом Кравченко. Он оттопыривает губу:

— А-а... Они жгут уголь... Где им!.. Они не знают нашей скорости...

Он не привык говорить. Опасность он таит про себя. Он ничего не понимает, — он знает только одно: море...

Мотор спотыкается о встречную волну и тигром прыгает вперед.

Видны профили. Еще одна минута. Медленно ползут навстречу массы.

Надо проскочить между ними, как между телеграфных столбов...

Кравченко на цыпочках приподымается над рулем, вгрызаясь в колесо руками. Он хочет сразу швырнуть катер.

И слева, точно поняв его, примолкший, черный Кронштадт выплевывает молнию... За ней вторую... третью...

— Стреляют!.. — кричит Цвибак.

Вот как!

— Им кажется, — кричит Кравченко, — что мы идем к Кронштадту... Они ж определяют по звуку... Я — к номерным фортам. Их путает ветер.

Мотор изнывает от хода.

Я чувствую, мы срослись с телом мотора. Мы должны ощущать его. Он должен ощущать нас. Ни одного фальшивого движения. Чудовище мчится к двум массам фортов, чтобы кинуться в широкий простор. Над нами скрещивается несколько огненных линий.

Мимо. Поздно!

Вдруг неподвижный луч прыгает и радиусами хватает залив.

Он окатывает нас сверкающей пылью, не замечая.

Кажется, что ее легко смахнуть рукою.

Кравченко телеграфирует машине: «Полный ход!»

Катер встал на дыбы.

Бритвой сбривает нос верхушки волн. Мы идем, окруженные водяным облаком и ревом мотора.

Еще минута... мы вырвемся... Териоки... контроль финской морской пехоты... потом уютный стол, горячий чай.

И моментально с правого борта вспыхивает в ответ играющая тысячецветной радугой стена.

Прожектор с борта ударяет нас.

Глаза прихлопывает ослепляющим светом.

Неужели попались?

Массы фортов сразу кажутся непоколебимыми. Они ловили эту секунду.

Нас глотают еще три прожектора — с носу, с кормы и с левого борта.

Мы оглушены. Нас жует свет. Радиусы подтягивают нас к себе.

И передний форт кидает горизонтальную молнию, громыхнув мягкой, низкой октавой.

Кравченко на полном ходу кладет руль вправо.

Мы прячемся на несколько секунд.

Радиусы переключились. Ищут. Щупают. И хватают опять.

Руль снова переложен.

Что же? Пятиться назад... или попытаться проскользнуть другим берегом?

Шансы еще есть. Мы отрываемся от прожекторов.

Они ползают вокруг нас, обходя мимо. Кажется, что Кронштадт поднялся на световые ноги и нюхает кругом воду.

Звук двигателя прекрасен... Нет, — это сердце не изменит нам!

Издали — короткая вспышка. Случайно — мазнувший луч прожектора показывает несущийся огромный бурун. Вдруг его скрывает тьма. Среди поднявшихся волн Кравченко ловит звуки.

— Ну... к нам в лоб прямо идет их глиссер... Видите... гидропланный мотор.

Я вижу только бегающие лучи.

Среди толчеи мы подскакиваем вверх, ударившись о водяную груду. Кравченко летит от руля. Конец!.. Катастрофа! Нет, — опять выправляется ход. Голова кружится, точно при сильной температуре. Кронштадт методически бродит по морю. Перекликаются прожектора. Чорт побери такое спокойствие!.. Мы идем вне их... Точно нарочно показывая себя, глиссер падает в луч, скользя за нами стремительной эластической дугой.

Он играет с нами. И Кронштадт, оказавшийся страшно близким, черпает вокруг нас голубой сверкающей лапой.

Кравченко меняет руль... Звук усиливается.

— Вы знаете, — кричит Кравченко. — Он не из трусливых. Ему не страшно разбиться о нас... этому чорту.

Руль перекладывается снова. Мы уходим... Кравченко хочет повернуть и итти северным берегом, обойдя Кронштадт.

Световая власть секундами захватывает...

Кравченко трясется над рулем, перекладывая его.

— Чорт знает, где курс... на что мы летим...

Я чувствую: Кравченко теряет самообладание... Сдуло ветром фуражку. Он мечется среди толчеи.

— Вы видите... — кричит он мне. Но я ничего не вижу. — Он вцепился мне в загривок...

Я спрашиваю, куда мы идем. Я слышу злой крик Кравченко:

— Куда... он пляшет здесь, как на паркете...

Кравченко колдует над рулем. «Этот молодчик... он хочет взять нас живьем... я выключу мотор... они этого не ожидают».

Пусть... но скорее, дальше невыносимо ожидать. Кравченко телеграфирует в машину. На секунду тишина охватывает нас... И вдруг ..

Среди перекрестившихся прожекторов нас разрывает, точно мы разбились на мелкие куски. Звенит железо.

Мы внезапно останавливаемся, зацепившись за что-то... Мотор умер.

В эту секунду прожектора потеряли нас. Они бегут вперед с нашей скоростью.

Кравченко завертывает в платок электрический фонарь и идет ревизовать.

Тишина. Воды не прибавляется. Все спокойно.

Мы — в темноте.

Цвибак стоит, закутанный в брезент, и бормочет:

— Это называется семьдесят верст.

Кравченко осматривает корму. Мы сидим на деревянной стенке брейквартера в большом Кронштадтском рейде. Корма зацепила за нее.

— В сущности, мы висим на заборе, — говорит Кравченко.

Кому от этого легче? Двигатель расколот на две части.

Мы упираемся крюком и быстро соскальзываем с барьера, качаясь в воде пустой посудой.

Мы скрыты... но кругом цепочка огней: Ораниенбаум, форт Обручева и Александр III.

Тишина.

Прожектора ищут нас впереди. Они не могут понять, что с нами...

Кравченко говорит:

— Положение усложняется... Но ничего страшного. Возьмите тузик. Вдвоем вас вынесет... Плывите параллельно берегу... там есть патрули... Они сочтут вас за рыбаков...

— Но сейчас все рыбаки дома.

Кравченко пожимает плечами:

— Что делать!... Старайтесь мягче выбрасывать весла.

Он сдерживается. Но я вижу: он очень огорчен. Он просит дать ему сухих папирос... у него промок карман. Закрываясь ладонью, он закуривает.

— На отлете деревни есть хутор Кирилайнена... Попроситесь от моего имени... Он пустит вас... Переночуете... Завтра выберетесь...

— А как же вы, капитан? — спрашивает Цвибак.

— Я должен остаться...

Кравченко указывает нам направление.

Тузик всех не возьмет. Возвращаться немыслимо. Уже свежеет...

Я не хочу расспрашивать...

Но мне страшно оставить его... и страшно его спросить. Тут вылезает Цвибак, не знающий сомнений:

— Что такое, капитан?.. Разве это можно? Ведь это беда. Ну так давайте беду хлебать вместе...

— Нет, это непрактично... Вы не бойтесь, тузик хороший...

Цвибак плохо сдается.

— Я, конечно, не моряк, но я слыхал, что капитан уходит последним... Только, знаете, давайте бросим этот предрассудок.

Кравченко вместо ответа выталкивает тузик из минного туннеля. Мы курим, пряча огонь в кулак. Дилс сидит молча. Кравченко ставит ладонь на ветер.

— Мы укрепим этот мат... ветер прекрасный... Он тихо поднесет нас к Ино... Глиссер выпустил нас... Он не думал, что мы наткнемся сразу... глупый факт.

— Ну, если факт, — философствует Цвибак, перелезая в тузик. — Жизнь есть жизнь... Смерть есть смерть... Это очень просто.

Мы пожимаем друг другу руки. Кравченко огорчен, он просит простить его... он во всем виноват...

Дилс снимает с палубы веревочный мат и привязывает его к флагштокам. Цвибак говорит Кравченко:

— Вы знаете, я боюсь три четверти часа... но в последнюю четверть мне это надоедает.

Наш тузик скользнул, кувыркаясь в барашках. Мы гребем по очереди, не оглядываясь и не разговаривая. Мы ничего не слышим, — волны играют скрипичную фугу. Кажется, воде не будет границы.

Ладони натерты в кровь. Наконец выплыл берег, черные тени вытащенных лодок лежат, как спящие животные.

Берег пуст. Часового не видать.

Двор мы находим сразу.

Он выстроен, что крепость, из острых, широченных бревен.

В избе спят дети. Белокурая девочка испуганно смотрит на нас. Горбатый старик — поросший зеленью, фантастический персонаж — разговаривает с нами.

Мы укладываемся.

Цвибак, будто лошадь, пьет воду из кадки. Мне не хочется даже вымыть рук, натруженных греблей.

Я чувствую, что я уже сплю. Я полон сном, как стакан воды.

Валюсь на пол, подвертывая под голову солому, вдруг меня тормошит Цвибак:

— Послушайте, Маклецов... Маклецов!..

Я еле отзываюсь.

— Вы знаете... я думаю, что капитан нарочно придумал всю эту декорацию... Тот молодчик-то, наверное, их поймает...

— Идите вы к чорту... я хочу спать...

Я с наслаждением закрываю глаза... Я хочу спать, только спать, мне нет никакого дела до всех этих декораций.

23

Сомнения нет... Аэроплан летит над Дрезденом. Или ближе? Очевидно, из Берлина... Огромнейший авиационный плацдарм. Какая скука подыматься в небо с такого поля! Оно ровно — бурые, жалкие пучки травы. Оно — голое, неприятное, как африканская собака. На белом вокзальчике пьют в рюмках зеленую гадость. Оркестр хочет быть хорошим... Лает саксофон; как сплетницы, свистят флексотоны... Все это удивительно непристойно.

Я лечу. Мне очень хорошо. Не за человека, не за человеческую победу, не за то, что земля такая маленькая и до отвратительности аккуратная, как школьная география. Все это неверно... я чувствую себя привязанным за веревку к небу.

Мне хорошо физически. Я сижу в железном брюхе и кожей ощущаю его вибрирующее движение. Мне кажется оно жутко медленным. И я хочу слезть. Я открываю машинально дверь... и ступаю. Я лечу — я ни о чем не думаю... Нет — только одна мысль: мне говорили, что сознание работает семь секунд, на восьмой секунде падения лопается сердце. Я лечу... ногами вниз. И ничего не могу придумать, кроме этой мысли. Не могу дождаться восьмой секунды.

В маленькое квадратное окно, как в раму, попадает кусок елки и серое небо. Это... это, конечно, сон. Мои глаза еще кипят пузырьками сна.

Конечно, теперь утро. Я подымаюсь. У печки храпит Цвибак. Он разулся. Некрасивы человеческие ноги. Я не рекомендую женщинам снимать чулки. Если я разбужу Цвибака, пропадет тоска.

— Цвибак!..

Он подымает голову. Привычка контрабандиста — просыпаться сразу.

Но я ему ничего не могу сказать. Он закуривает папиросу и думает о своих делах.

Я думаю о боли под ребрами. Это называют «сосет под ложечкой». Я впервые наблюдаю это простое ощущение. Я вполне равнодушен. Мне оно кажется таким же осязаемым, как мой зуб. Я могу пальцами дотронуться до этой боли и потянуть ее. В этот момент легко стреляться. Все бесцельно. Прошлого нет, будущего не надо, и настоящее я, как губку, сжимаю в ладони.

Настоящее — маузер в кармане моих брюк. Меня поражает подобная простота. Вот это и есть самое страшное, чего я боюсь... Не смерти, а того — как легко притти к смерти. Она — моя соседка. Я спал с ней всю ночь. И вот мы проснулись...

Я перевернулся на другой бок. Еще рано. Я буду думать о лапах животных. Почему они красивы? Еще можно попробовать спать. Я прикладываю ухо к соломе, закрываю глаза... и слышу тихую команду за окном.

Как будто в мире только эти слова.

— Первый взвод... Входи в ворота... Второй взвод — у амбара...

Я подымаю голову. Цвибак тоже. Мы встретились глазами. Мы слышим дальше.

— Третий взвод...

Мы встаем, понимая происходящее за стеной. Я вынимаю револьвер. Цвибак еще продолжает курить. Просыпается белобрысая девочка.

Будем отстреливаться?

Мы оба смотрим на девочку. Она протирает глаза. Она старшая — в этой стае цыплят на полу. У нее маленькое лицо, густо засыпанное веснушками. Цвибак пожимает плечами. Я прячу маузер. Мы поняли друг друга.

Забилась дверь. Трясется щеколда. Девочка вскочила. В квадрате окошка мелькнул красноармейский шлем. Цвибак говорит девочке:

— Открой!

Входит отряд. За ним начальник. Я вижу Сергея. Я не удивлен. Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Нет, нет... мы не встречались. Я незнаком с вами. Я отдаю оружие. Он говорит мне:

— Не похоже на вас...

— Да.

— Но на тысячу ночей приходит всегда тысяча первая ночь, — он шутит...

Он улыбается. Улыбаюсь и я. Он начинает дознание. Я рассказываю кое-что вкратце. Он разрешает мне после небольшого допроса прилечь. Через час мы тронемся. Но я никак не могу заснуть.

Он сидит у стола, полузакрыв лицо ладонью. Я вижу: он напряженно и долго думает о чем-то. Как будто он ищет форму, чтобы облечь свою мысль. Но нет этой формы. Он начинает говорить о бесплодности, но нет, он совсем не поучает. Мы говорим спокойно. Но вскоре опять умолкаем. Ясно — он думает совсем о другом. И горбуна и Цвибака берут под стражу. Вдруг, собирая со стола бумаги, Сергей нечаянно спрашивает меня — он смотрит мне в глаза:

— Про Бибу не будете говорить?

— Нет.

— Хорошо.

Он прячет бумаги в портфель.

Он пополам с шутками рассказывает об аресте Петрова и Свидерского на границе. И вдруг — переход...

— Ведь вы у Биби были случайно... Ведь она ничего не знает... Конечно, так?

Ты, конечно, об этом и думал.

— Конечно, конечно... Я попросился на одну только ночь. Это вышло случайно... Она поверила мне...

Я чувствую: он знает все... Но я согласен с ним. Не надо сюда путать Бибу. Он обдумывает мою фразу.

— Да... Биба...

Он приглашает меня выйти на улицу.

— Правда, здесь душно.

Цвибак сидит в углу. У него такое выражение, как будто он подсчитывает огромные убытки. Горбун свесился с полатей и по-фински ругает девочку. Ползают маленькие по полу и играют коркой хлеба. Они передают ее изо рта в рот.

Мы долго сидим на крыльце. Каждая минута становится событием. Это нервирует, — я стараюсь удержаться в рамках и не могу, — как будто в голове сидит залпом проглоченный роман. Я дергаюсь. Я хочу это замаскировать. Вот почему я должен с Сергеем быть хладнокровным и насмешливым.

— Знаете, — говорю я, — я не могу скрыть. Я все скажу про Бибу.

— Вы ждете иного конца.

— Нет, я не жду. Но я считаю, что я должен быть честным...

— А разве вы знаете, что такое честность?

— Честность...

Сергей думает, что я торгуюсь, как сволочь. Губы у него собираются в складки, — точно это дела, подшитые из признаний, документов и протоколов. Действительно что такое честность?.. Ее мажут на хлеб, или наоборот на нее мажут масло?

Я хохочу.

Сергей медленно и густо краснеет.

— Вы очень верили Бибе... — говорю я...

Он грызет свою папиросу. Он берет меня за руку. Я чувствую его крепкие пальцы, он сжимает мне косточки около кисти, это выходит так, будто мы играем в силу. Он, конечно, делает это бессознательно. Но это выходит так.

— Мне... — он путается, — мне не страшно... ей верить.

Сергей с преувеличенной вежливостью предлагает мне место... Цвибак сзади — на второй телеге.

На секунду я понимаю себя, все — до конца. Я хочу отмахнуться от этого... Я пробую болтать о Бибе, но Сергей обрезает мои мысли. Он прав... Шутить нечем. Позорно кривляться в эту минуту.

Я смотрю на его лицо — спокойное и несколько мрачное, как будто он задумался вперед на сто лет.

Я отгоняю мысль, обжигающую меня. Не стоит думать. Чтобы отвлечься, я начинаю считать. Сутки равны тысяче четыреста сорока минутам... помножить на шестьдесят... восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд....

Не стоит думать...

О р е л.

(Рассказ.)

Ив. Вольнов.

1.

Как сон: в тесной и низкой избе, с грудою наваленной по кутнику одежи жужжат шесть веретен; шесть склонившихся над прядевом женских голов равномерно покачиваются.

Полюбилась девица с молодцом,
Променяла волюшку на варовчатый кнут, —
Эх, волюшку, зореньку росную...

Среди поющих — две девушки, дочери бати, — им только весело от песни, голоса их звенят и переливаются: они не верят, что, слюбившись, расстанутся с волюшкой. А мама низко приникла к мочке и украдкою смахивает слезы.

В подставце трещит лучина. По лицам и прядеву скользят тени. Брат Федя, который сидит рядом с подставцем и меняет лучину, обняв кудрявую голову, с улыбкой следит за искрами.

Морозно и тихо. Окна запушены мягким снегом. Радужными огнями отражается лучина в окнах, шарит тараканов на закоптелом, цвета черного шелка потолке, неожиданными яркими вспышками выхватывает из полусумрака бок кошки, недоплетенный золотистый лапоть в углу, столешник, гримасу на лице. Так же неожиданно все это меркнет.

Мы с батей на печи. Он только что кончил сказку, от которой я расплакался, и утешает меня, говоря, что все это он набрехал. Порою он свешивает с печи аккуратную, как у игрушечного мужичка, голову и визгливо кричит снохам:

— Эй, кокоры, шевелите пальцами-то поспорее, не телитесь: языком много не напрядешь... Жрать, так по два ломтя уминаете, чтоб вас пострелило!

Песня становится тише и печальнее. Дочери бати то присоединяются к голосам невесток, то смолкают: словно они теперь стали неуверенными — может быть, слюбившись, они в самом деле променят девичью волю на грубые окрики, засилье, слезы, варовчатый кнут?..

Только отец, подшивающий на конике старые валенки, не обращает внимания на надоедный крик бати: держа в зубах насмоленную дратву, он качает из стороны в сторону черной, как уголь, бородой и деружит, не в лад бабам, свою любимую песню, которую он принес с юга:

Ха-руш город Ли́-би-ди-и... ой, ха-варуш...
Ха-руш, ой-да-вэ... ха-руш Либи-дин...

В песне девять слов: «Хорош город Лебедин, в котором я три года жил», но отец замучил нас: он поет ее с раннего вечера, едва мы успели поужинать, и никак не может окончить.

— Сеньть, — говорит батя, чтобы перебить отца: эта песня корчит его, будто из бати тянут через горло внутренности. — Слышь, Сеньть, загнал овчатишку-то в стайку? Объягнится, богова, змерзнет!..

Отец бессмысленно глядит на батю.

— Овчатишку загнал в стайку? — кричит батя, — что ты, как змей, лупишь на меня бельма?..

— Загнал, — нехотя отвечает отец. — Ой, Либи-диэ-вин... хав-руэш Ли-би-ди-и...

— Хосподи милостивый, — с тоскою шепчет батя, хватаясь за ворот: — счахнуть не долго!.. Штоб ти шилом подавиться, сукину сыну!.. Эй, губернатор чортов, как ты глядишь за лучиной? — кричит он на убаюканного песнями Федю: — ишь, моду взял дрыхнуть, собачья печонка!..

— Тот-то тебя мучает, — устало говорит мама, не поднимая головы: — целый день, как бешеный, липнешь ко всем. Хоть бы Орел-домовой пришел скорее, унял бы тебя...

А для безногого бати, круглыми сутками сидевшего на печи, не было большей радости, как сцепиться в брань. Отпихнув меня в угол к ухватам, он верещит маме:

— Нехалява! непряха! бесподставница! чорт голобокий! Вы орлова ногтя не стоите, он вас продаст и купит!..

Батя с наслаждением косоротится, передразнивая маму:

— Орел, орел!.. Кабы у тебя дети были похожи на орла, век бы богу кланялась!..

— Еще бы, — говорит мама, суеверно сплевывая.

С крыльца лязгает промерзшая щеколда.

— Слава ти, осподи, — шепчет мама.

Слышится скрип снега и колыхающийся, будто лошадиный, шаг. Гнусавый бормот.

Бабы, переглянувшись, смолкают,.

— Катит, часом не опоздает! — раздраженно шипит батя и кладет кругленькую голову на кирпичи.

Примерзшая избянная дверь с треском распахивается, и клубы белого пара льстиво обнимают бабьи ноги. В избу по-медвежьи вваливается огромного роста старик с коноплястым лицом и полурыжей косматой бородой по пояс.

— Здо-рово были, — говорит он, щурясь на свет.

Забыв слезы, я с ужасом гляжу на его плечи в клочьях овчин и престрашный крючковатый нос, подогнувшийся к губам: кажется, на лице только и есть этот богатырский, сизо-багровый, пористый нос.

— Батя, милый, кто это? — шепчу я, прижимаясь к дедушке.

— Это? это, сынок, Орел, — не поднимая головы, покашливает батя. — Лошеводина. Снохач. Зверюга лесная.

— Он людей ест?

— Он чорта слопает, сынок...

Страшный старик подходит к столу и садится.

— Ну, еще раз здравствуйте, — гнусаво говорит он.

Батя пренебрежительно свертывается в завитушку и свистит носом.

— Дремлешь, Иван?

Батя молчит.

Старик снимает рукавицу и бьет кошку по глазам.

— Места себе не найдет, гад!.. Дремлешь, мол?

— Нет, тебя ждал, думал: куда черти угнали лошевода? — не выдержав, запальчиво огрызается батя.

— А я замешкался. Опять мне обида в доме, — спокойно говорит Орел. — Демидки еще не видно? Вот мразь мужик-то, черева его вывались!..

Демид — это второй наш неизменный посетитель, друг бати, лысый, как горшок, старик с ужимистыми движениями и тихим, вкрадчивым голосом, богу поклонник, попам — храму рачитель. Мама не любит его и говорит, что он обверхал семью.

Легкий на помине, вскоре приходит и Демид Чибря-Тилялянти. Истово крестится. Кропотливо обметает веником валенки. Потом всем ласково кланяется, сияя бусинками темных глаз.

— Какой нынче вечерок-то добрый: звездочки на небе, скотина похрупывает соломкой, воробьи возятся под поветью, от воряги-Яшки пахнет дымом, — жалеет нас господь-батюшка. С работкой вас. Прядете, бабы?

— Прядем.

— Веретья или на рубахи? Прядите, бог труды любит. А мои суки уж спать собираются. Одну пришлось ткнуть в зубы, ничего не сделаешь: не согрешивши, согрешишь с блядями... Васильич, на печке греешься?

— В лохань хочу прыгнуть, — отвечает батя.

— Ты все брешешь, как борзой. Лежи, грейся: к небушку ближе — душе легче.

Кряхтя, Мафусаилы усаживаются на лежанке возле бати. Батя снова кладет голову на кирпичи, будто ему наплевать на гостей.

Отец не видит их. Зажав в колени валенок, вытянув жилистую шею, он тоненько надрывается:

В ка-ва-ту-тором я... эх, в кату-ром я да жи-и...

Старики переглядываются: молод, глуп. Батя стонет.

— Раз так-то вот, — говорит Чибря, подымая бусинки в потолок, по которому прыгают тени, — ехал раз мужик верхом на пегой лошади...

Батя быстро поднимает голову и настораживается.

— Лежи мирно, не ворочайся, а то живо на пол швырну, — грозит он мне. — Какой непоседливый, дьяволенок!..

И вот до полночи затягивается серая, всем до тошноты приевшаяся волынка. Чибря рассказывает о том, как один раз ехал мужик на пегой лошади, у лошади отвалилась подкова, подбежал другой мужик, схватил подкову и не отдал.

А то ехал Чибря самолично в Полесье и за Кромами видел чудо-ночью чорт гнал несметную силу мышей на новые земли. Чибря слышал, как чорт хлопал кнутом и свистел на мышей, а под колесами хрустели кости их...

— Не хуже этого, — лениво перебивает его Орел: — попала один раз кошка в кулагу. Мальчик кричит матери: «Мама киса!» — а мать ему из сенец: «О, сынок, езле кисло, не ешь!..»

Орел сурово поднимает мшистые брови:

— Такую дуру видали?.. Другой раз, к примеру, пахал мужик пашню и поймал блоху. Мимо ехал барин. Мужик гукнул: «Барин, барин, постой!» Барин остановился. Мужик подошел, снял шапку да говорит: «Я, барин, пымал заморского зверя, по прозванью — блоха, подержи ее, я...»

— Хорош мальчик? — спрашивает Чибря батю. Язык бы твой отвалился за такие побасенки!

Батя до слез смеется.

— Али нанял, конечно, поп работника за одиннадцать рублей, — поощренный смехом, продолжает Орел. — Ну, нанял и нанял. А работник, не будь дурень, залез к попу в щикатулку — да и упер пять рублей. Вот и выходит: прожил работник у попа не за одиннадцать, а за шестнадцать рублей. А попу невдомек, кто украл деньги, так все лето и продумал что работник живет у него за одиннадцать рублей... Тоже и из попов бывают дураки, — со вздохом говорит Орел.

Кончив рассказы, — других они не знали, — все трое в отупении чешутся. Батя жалуется на ноги, не дающие житья, Чибря — на пьяницу сына, Орел — на белый свет, ставший поперек горла. А рядом льется печальная песня баб, золотыми слезами катятся и тухнут в подставленном черепке с водою искры от лучины. В цепких объятиях ночи и глубоких синих снегов чуть слышно копошится деревня, от избы к избе перебрасываются шалыми петушьими криками, хриплым брехом собак, неведомыми ночными шорохами.

Мафусаилы сонно прислушиваются к песне; Орел жжет в глиняной трубке едкую конопляную мякину пополам с махоркой. Клонит тоскливая измора, изжитое, — вот-вот все повесят чубатые головы и загудят, захрюкают, захоркают носами.

Но вдруг Чибря встряхивается и обводит избу детски-повеселевшими глазами, словно он только что вспомнил что-то важное, радостное, зачем, собственно, и пришел к нам, чтобы поделиться, но что за разными пустяками забыл рассказать.

— Какие потехи бывают, — с презрительной улыбкой говорит он: — ехал раз мужик верхом на пегой лошади, а у лошади оторвалась подкова.

Бабы прячут за гребни с прядевом лица, а батя и Орел внимательно слушают рассказ о подкове, затем — о мышином чуде, бранят жадного мужика, не отдавшего подковы, дивятся, что и мыши, такие поганые твари, ходят под началом, предполагают это начало у собак, крыс, кошек: всякому зверю и твари, и ползучей гадине предуложено в жизни место свое: одним — от бога, другим — от чорта.

— А человеку? — спрашивает отец, выпуская дратву из зуб.

— Человеку с двух концов: от бога и чорта, — говорят ему.

Удовлетворенный ответом, отец опять склоняется к валенку, еще тоскливее выводя:

Ха-руш, ха-рум да хару-е... харуш...

А Орел уже нетерпеливо ворочается по лежанке, стучит ногами, будто у него непереносно застружило живот, и как только Чибря смолкает, он гнусаво подхватывает:

— Это что за потеха, а вот потеха, так всем потехам потеха: стоял на лавке горшок с кулагой, в кулагу попала кошка...

— Внесло, дьявола! — с негодованием замечает батя. — Кнут бы хороший, да кнутягой!..

— Мальчик увидал, кричит матери: «Мама, киса!..»

— И так по несколько раз в вечер! И так — каждый божий вечер, всю долгую зиму. А подобных зим было много!..

И каждый раз батя, сам ничего не рассказывавший, с увлечением слушал их, смеялся или негодовал, а когда они, серые, разломленные, скрипящие, о полночь уходили, батя утомленно-брезгливо сплевывал:

— Придут, чешутся, бя-бя, мя-мя, ля-ля, а слушать нечего, пустомели, чтоб вы позадохлись, языками бы своими подавились, окаянные!..

Проклинал, червем извиваясь от злобы, ибо предстояла долгая, тягостная, бессонная, безрадостная ночь и серый день за нею, когда снова придут к нему с теми же песнями эти выцветшие, обомшевшие пни — маять старость, неизжитые старческие болячки.

Отупляющею полосою текли дни. В мутную лужу сливались недели. Росла тоска, никчемность в жизни и беспомощность.

— Ах, да когда же нам черти гроб сколотят! — часто не выдерживал зеленый от тоски батя. — Давиться надо!

— Гроб? — гнусаво выл Орел. — А чирей ти на язык с мою шапку, шельма крученая!..

Старик до судорог боялся смерти, ненавидел разговоры о ней и людей, напоминавших могилу.

2.

Наступало тепло. Кудряво зеленели деревья. И посещения Орла становились реже. А с летом они и совсем прекращались. В нагольном тулупе поверх длинной рубахи, шапке-капелюхе, в стопанных валенках, с переметною сумою на боку, Орел целыми днями ходил по улицам Поречья и собирал щепки, мелкие камушки, старые ремни, обрезки жести, — все, что попадалось на дороге. Наполнив сумку, нес домой, где кропотливо разбирал добро по сортам, бросая каждую вещь в свою кучу. Потом шел снова.

Замкнутое со всех концов холмами, село изнемогало от жары. На светлое жнивье, редкий кустарник полупересохшей речки, выжженную бурую коноплю и огороды, где одни подсолнечники поднимали вверх забубенные головы и широко и глупо ухмылялись желтыми губами, потоками расплавленного металла лилось неумолимое июльское солнце. Пепельно-серая земля, блекло-поникшие деревья, избы и поле, и кривой туманный горизонт били напитаны нестерпимым зноем. Белесый, выцветший от солнца, истомный воздух неподвижен. В чахлых ветвях ракит тщетно искали прохлады молодые неуклюжие грачи. Деревня полна новым хлебом и кажется золотою. Непрерывными вереницами, как поезжане на богатой свадьбе, несмотря на тяжкий зной и истому, с поля тянулись воза пшеницы, перламутрового овса и бронзовой ржи. Споро и ладно стучали цепы на гумнах. В лицо брызгало зерно. Плотные ряды посадов похожи на размочаленные куски золотых канатов. Тугим кольцом, как купцы-толстосумы, важно жмурились и млели под солнцем расставленные к молотьбе кудрявые снопы. От малейшего прикосновения к ним, от слабого ветерка, неожиданно и нивесть откуда налетевшего, из них обильным дождем лилось теплое зерно. Вокруг снопов, как тихие старушки-приживалки, сонно ходили разморенные жарой и обильным кормом куры, лениво подбирали отборные зерна, хватали выпрыгивавших из снопов кузнечиков. В мягкой, только что перебитой соломе со счастливым визгом барахтались ребятишки; мешая горластые басы с четким стуком цепов, требовательно кричали грудные дети. Укрытые веретьями и зипунами, бессильно фыркали и бились от мух лошади. Скрипели колеса, голосисто перекликались возчики: в деревне справлялся веселейший в году праздник.

Но на гумнах работали молча: дорожили этим зноем, этой раскаленной июльской печью. В одних рубашках, с расстегнутыми воротами и платками за уши, блестя крепким телом, бабы неотрывно взмахивали цепами, проходя «веревку» за «веревкой», посад за посадом, лишь на минуту останавливаясь, чтобы поправить платок, утереть соленый пот с лица или сунуть запыленную, с потрескавшимся соском, грудь будущему пахарю. Как индюшки, здесь же возилась и кáлечь — старики и старухи кропотливо развязывали перевесла, обивали огузки, поддавали держальниками под говорливые цепы пряди разбитой, прослоенной

хвощом и воробьиным щавелем, старновки. Сладко пахло медовым запахом хлеба, пылью, дегтем, потом на гумне, еще слаще легкой сыростью, полусгнившей прошлогодней соломой, грибами-навозниками и молодыми ростками проросшего зерна в сарае, где-нибудь в самом дальнем и темном углу его, куда не заглядывает солнце, где ласково обнимает разгоряченное тело прохлада, где так приятно растянуться на сыроватой, исшершавленной земляными червями земле и немного вздремнуть под ладную брань цепов, сухой шорох соломы и редкий сдержанный смех работающих. И какая радость и счастье потом опять выйти на солнце, броситься всем телом в посад, чуть не под цепы молотящих, забиться с головою меж снопов, в теплый слой колючего зерна и лежать там, и нежиться, снова напитываясь солнцем, медом хлеба, лаской взрослых, и не слушаться их воркотни и притворных угроз, и бегать, и метаться в беспричинном восторге по гумну, среди этих золотых купцов-толстосумов, желанных гостей деревни, и кричать, что взбредет в голову, и кувыркаться молодыми кутятами, или удариться к речке в уцелевшую мутную лужицу, еще не выпитую солнцем, кишащую тритонами, лягушатами, сердитыми жуками-водолюбами, зеленую от ряски, куги и скользких речных водорослей, и барахтаться в ней, как в посаде, пока вода не станет густой и кофейной, и опять воинственно кричать неведомому, молотить воду, в сообществе таких же молодцов, пока взрослые насильно не вытащат оттуда или не позовут обедать...

Обливаясь потом, бронзовый, пыльный, с могутными космами серо-рыжей бороды пророка Моисея, Орел часто присаживался где-нибудь на бревнах, клал между ног гремящую суму и так часами сидел неподвижно, глядя на горы кладей, запрудивших гумна, полную возов улицу, мелькающие из-за снопов цепы, серо прислушивался к трудовой летней музыке, качал, гнусавя, головою. Проезжавшие возчики насмешливо улыбались, молодежь спрашивала, удачны ли нынче его сборы. Орел молчал.

Другие почтительно кланялись ему.

— Жарко, Гаврилыч?

— Да жарко,— не снимая шапки, тягуче отвечал он: — кому жарко, а кому, может, не жарко.

Нас учили почитать старших и при встречах низко кланяться им. Мы подходили к орлу и кланялись. Подняв вороньи гнезда бровей, он пристально разглядывал нас своими маленькими, живыми глазами.

— Жируете, сволота? Воля вам. При господах не прыгали бы этак. Наука была. Гляньте-ко на медали.

Он вставал с бревен, медленно сбрасывал тулуп и, завернув рубаху, показывал нам изрубцованную, в фиолетово-багровых полосах и рытвинах, широкую, как печь, спину и сростки поломанных ребер.

— Семь гостинцев, четыре справа да три с другого бока, слышите, как хрустят? — говорил он — Сорок ведер крови пролито. Наука была. Ты не Ваньки-каторжного внук? — неожиданно обращался он ко мне. —

Змей-лыцарь у тебя дед, штоб ему ни дна, ни покрышки, шельме коростовой. И ты такой же будешь живорез.

Гибко и необычно для старого, Орел подхватывал тулуп и сумку и шел вдоль деревни под недоумевающими нашими взглядами, загребая левой ногой, пристукивая батогом, заглядывая в ямы, за изгороди, в переулки, время от времени наклоняясь, чтобы поднять что-нибудь и опустить в суму.

Наконец, словно устав злиться или истощив свой опаляющий огонь, обессилев, солнце начинало медленно скатываться с неба. От изб, сараев, скирд, погребиц отодвигались и росли темные тени. В промежутках косых солнечных струн появлялись комары-толкачики. Вылетали капустницы. Матово-золотистый слой мякины на крышах сараев розовел. Добивались последние посады. Грудилось зерно. Поились лошади. Телеги смазывались к ночной возке. Старухи колченожили на задворки рвать коровам траву, рыть и чистить молодой картофель. Дуплистые, с пятнами гнезд, ракитки крепко цеплялись корявыми пальцами в оранжевый, уже остывший край солнца и медленно, упрямо тянули к земле. Шел скот с полей. У ворохов с зерном бабы стлали постели. Оседала поднятая стадом пыль. Вечерние голоса становились упруже и мягче. Смеркалось. Из ярко-красного небо становилось бледносиреневым, потом — пепельным. В темный покров ночи куталась земля. Там и тут в окнах зажигались слабые каганцы, по стеклам шаркали тени: там ужинали.

Усталый, но довольный удачею, — за день было собрано несколько мешков хлама, — Орел медленно плелся домой, в свою избушку, отдельную от семьи, мурлыча:

Параня, Параня, ягодка моя...

Снимал в сенях суму, тулуп. Хлам сваливал в кучу. И тихонько, будто подкарауливая вора или будто боясь разбудить ребенка, отворял в избушку двери. Оттуда пахло нежилым, плесенью, сажей. Согнувшись, так как потолок был низок для его роста, старик ощупью пробирался к божнице, урча:

— Боженька, батюшка, кормилец земной — небесный, сидишь один на полочке, как сирота, да, поди, мекаешь: куда это вихрем угнало мово Офонасия?.. Ну, ничего, гляди-ко: я тут. Вот он, твой Офонасий, прилетел — приехал... Чичас лампадку тебе замаячу, грейся, сколь влезет...

Зажигал фитиль перед тремя позеленевшими медными складнями с полустертыми изображеньями богов. Временил, когда огонек разгорится, и, отступив шаг назад, низко кланялся складням:

— Здорово были, батюшки, прискучились без Офонасия? Думали: с кобелями теперь не найти его? А Офонасий — ишь как лампадку-то вам закатил, что твое паникадило. Офонасий не жалеет масла, хоть пейте... даром, что шесть гривен фунтик...

Разбавленное маргарином деревянное масло трещало, огонек то ярко вспыхивал, то синел и чуть теплился, оттого слабо очерченная тень

Орла кривлялась и прыгала по изъеденным червями бревенчатым стенам избушки.

Старик молча доставал из-под лавки тряпье, завешивал окна и становился среди избы на колени: каждый вечер, в удачах и промахах, при горе и радости, молиться было правилом его. Молился долго, так долго, что, казалось, и конца не будет эгому. В избе, через сени, где жили сын с женой, давно спали. Спала деревня. Лишь Орел, стоя на коленях, тяжело вздыхая, осеняя себя изредка крестом, один среди тысяч уснувших, уставших, измаявшихся, молился. Приди к нему в это время становой и гаркни: «Дай подати, а то расшибу до пяток!» — прокричи над ухом, что вырезана семья, загорелась крыша избушки, в сенцы вбежала бешеная собака, чем хочешь стращай, — он не шевельнется, не встанет, не задрожат его веки под суровыми бровями. Или — ворвись ватага разгульных парней — с песнями, бубнами, непристойностями, — дергай его за бороду, толкай в спину, — ни один мускул не стянется на щеках, не вырвется лишнего вздоха из груди его: широкими двуперстными крестами он будет молиться и класть земные поклоны.

Он не знал молитв и не знал Иисуса, которому молился: «так, бог, видишь вон — стоит на полке, как барин», — сказал бы он спросившему.

— Господи, Суси, помилуй нас, — молился Орел. — Святая Пятница-Прасковея-Варвара, Христова мученица, помилуй нас. Святой преподобный, Христов мученик Андрей Первозванный, помилуй нас. Черный Сатана, помилуй нас. Никола-угодник, батюшка, помилуй нас. Полевой, Луговой, Конопляный, Косматый, Егорий Победоносец, дедушка Водяной, Фрол-Лавер, помилуй нас. Варлам-Лазарь, царь Давыд, кротость твоя, помилуй нас. Кумоха-короста, девять зорь, девять сестер трясучих, помилуй нас. Офонасий, ангел, помилуй нас...

И так нескончаемой путаной вереницей тянулась молитва его, впитывая в себя все, что ловил глаз. Орел молился о таракане, что полз по стене: «чтобы дал ему бог здоровья, но хлеба чтобы не точил»; о чудесной и странной птичке с малиновым подгрудком, — она прыгала сегодня по выгону: «пусть живет, убогая»; о мухах, роем жужжавших над головою; вспоминал странницу от Соловок, которая прошлой ночью ночевала с ним: «пути ей, дороги, квелой»; молился о картошке и квасе, что будет есть перед сном.

— Благополучно напитай меня съедобным: не подавиться бы мне куском, не захлебнуться квасом...

Текли часы. Орел качался от усталости, темные глаза его плохо видели, но до конца молитвы еще было далеко: надо было помянуть за здравие Поречье. Орел делил людей на категории — хороших, так себе и плохих. Он начинал с восточного конца Поречья, от всеми уважаемого мужика Григория Двуротова.

— Вот, господи, Григорий Парфеныч... хороший человек, богомольный, ласковый, водку жрет редко, по-матерну — тоже редко, чаю не любит, посади его в царстве небесном куда повыше, пусть жирует.

А Василий Подшивкин — человек, господи, так себе, ни вода, ни квас... дай ему, господи, ни худа, ни добра... Ну-ко, Федичка Грязной, губошлеп, собачье мясо, туды т-твою мать, кто увез мою пенечку, как на волю выпустили? А кто на сходке прозубоскалил Офонасия? А еще троюродным племянником приходишься!.. Штоб ти добра не было, сукину сыну, и детям твоим с потомством ни корысти, ни радости, и внуки бы твои в лохани потопили, как щенята... Заставь его, господи, в аду уголья лопать... Теперь, Марфа, за тобой черед... — Старик слабо улыбался. — Баловались мы с тобой, шельма. Живи, как знаешь, со света тебя никто не гонит...

И такие просьбы и пожелания сопутствовали все село, домов на двести, до вдовы Ульянихи.

Некоторое время Орел стоял с закрытыми глазами, потом тяжело приникал к земле, с болью шепча:

— Раба Николая, забитого злодеями, пожалей, господи... Посади рядом с собой в самой светлой горнице, по правую руку свою... утиши боли его лютые...

Неудержимым потоком из глаз его лились слезы, он бился головой об землю и стонал.

Словно клубок, развертывалась прожитая жизнь. Облеченное в плоть, всплывало перед ним далекое, забытое, ушедшее, и росла темная тоска в груди. Ах, да как же длинна и тяжка жизнь! И как неприютна и маятна она на склоне дней! Думал ли он, ушкуйник, что из размашистых и светлых полей беспечной молодости, с широких и торных путей мужества, он придет в смрадные пустоши, под безлистные деревья немощей, тоски, никчемности? И страшными, как тюрьма, становились стены убогой избушки, кучи хлама который он собирал по улицам, снисходительно-насмешливые улыбки беспощадной к немощи молодежи... Страшна деревня, небо, ночь, эти уходящие в нутро ночи бескрайние поля, страшен и жесток бог, допустивший душу до такого оскудения.

Забыв усталость, сон, голод, Орел стискивает ладонями виски, напрягается и так еще час, два стоит на коленях с закрытыми глазами и медленно качается.

Через окна, сквозь прорехи лохмотьев, в избу заглядывают звезды. Скрипят воза с хлебом. Дзинькают колокольчики на жеребятах. В хлеве тяжко дышит корова. Тюрюкают во сне куры. Об угол избы чешется боров, — угол чуть-чуть дрожит. Пред иконами трещит маргарин. И вдруг протяжно, жутко на коньке избы стонет сыч, предвестник смерти. Как под кнутом, тело Орла вздрагивает. «Вот оно, пришло»... Трясясь, не находя дверей, он выскакивает на улицу и с бешенством пуляет в конек камни и чурки. Вспугнутая птица делает в воздухе округлую выемку и исчезает за ометами. Орел бессильно опускается на порог. Но отлет птицы не приносит успокоения, тоска не разжимает впившихся в сердце цепких зубов своих.

— Раба Николая, забитого злодеями, пожалей, господи... посад рядом с собой в светлой горнице, по правую руку свою... утиши боли ег лютые...

Сын в поле. Старик медленно идет на семейную половину. Доби рается ощупью до кутника. Шарит руками по человеку под дерюгой

С усилием снимает валенки, откидывает край дерюги и плотно при никает к горячему полунагому телу снохи, к грудям ее.

На лавке ворочается и скрипит зубами во сне десятилетний внук сын его.

Еще крепче, с болью, прижимается к покорному телу.

— Ты, батюшка? — втянув воздух и теплой струей выдохнув ег в лицо Орла, притворно-сонным голосом спрашивает сноха, и руки е обвивают стан Орла, как бы вдавливая в себя тело его.

На момент мутится рассудок и сладко захватывает дыхание в груди, но — на момент, лишь для того, чтобы с большей силой и мукой и яростью впилось в сердце зубатое. Орел со стоном отрывается от вздрагивающего тела женщины и бежит на двор. И бродит, бродит ночь напролет, горбатый, странно маленький при исполинском росте, словно ползает на коленях.

— Раба Николая, забитого злодеями, пожалей, господи... посади с собой в светлой горнице, по правую руку свою... утиши его боли лютые... стонет он.

3.

Помимо хлама была у Орла еще страсть: мена лошадьми. Почти каждый месяц, а то и на месяце два раза, у него появлялись новые лошади: донские, киргизки, вятки, ломовые, и все — дрянь. Если, бывало, на улице драка, крик с матом, — значит, Орел с кем-нибудь меняется.

Я помню два случая этой мены. Как-то по весне Орел жулил с моим отцом. А отец был сам жох в плутнях. У Орла — рваный третьячишко вороной масти, с клоками грязной зимнины на пузе, у отца — буланая матка, дебелая, как молодуха-первогодка, но слепая. А о том, что матка слепая, Орел не знал.

— Вот гляди! — кричал отец, тыкая в меня пальцем: — видишь Бориску?

— Вижу, — гнусаво отвечал Орел.

— Штоб мне не видать его отныне до веку! — запальчиво божился отец. — Штоб его червь живого съел, стервенка!..

Отец в сердцах замахнулся на меня кнутовищем.

— Штоб у его нутро выгорело, как у собаки! — добавил он. — Штоб я розговельным куском подавился.

— Пошто ты божишься? — с презрением спросил Орел.

— Пошто божусь? Вот пошто... — Отец сдернул шапку и стал часто и мелко креститься. — За кобылу... — Отец поднял палец и наметил его в прищуренный глаз Орла: — за кобылу давали сто с четью...

Кольцо зрителей безмолвно слушало.

— А что ж ты не продал? — с ехидным удивлением полюбопытствовал Орел.

— Глаза лопни, жалко стало: дюже матка веселая.

— Вот и брешешь, я бы продал. Ты вот послушай меня: третьячок— дите, а подрастет, из его князь выйдет, в Москву в гости ехать не стыдно. А на твоем дерьме не поедешь: дубошники не пустят.

— Землю буду есть: и на твоей крысе не пустят! — трясся отец.— Отца с матерью в залог отдам: он хуже дохлой лягушки.

— Да ведь мать-то твоя на том свете, — говорил Орел, поглядывая на новые группы мужиков, подходивших на крик. — Как же ты мать в залог отдашь, выроешь, что ли?

— Ну, одного отца, я не виноват, — озадаченно крестился отец.

— Каторжного-то, ничего удумал?.. Вот и норовишь обжулить нашего брата, — как-то даже печально и в то же время с презрением говорил Орел. — Мать — отца продам, а мать — на погосте, а отец — душегубина. Стало быть, ты меня и с кобыленкой обдуешь. Ты вот послушай, как я божусь: штоб у меня в брюхе змей-лыцарь зашипел, — вот это божба! — хвастливо сказал Орел. — Штоб от меня бог-Салавох, как от чумы, бегал!..

Орел строго поглядел на мужиков.

— Это и я так могу дернуть! — задорно воскликнул отец, но в глазах его мотнулся испуг.

— Не, не можешь, ты — дурак, — спокойно возразил Орел. — Иванька-цыган мне намедни: «Дядя Офонасий, береги жеребенка: ему плохая цена — пять таких жеребенков, — понял?

— А зачем меняешь?

— По знакомству. Кабы не по дружбе да не по знакомству, я бы на тебя и плюнуть не захотел.

— А ну — плюнь попробуй, ж-жаба! — с засученными рукавами отец петухом-бойцом налетал на Орла. — У тебя губы целы? Тебе зеленого дыму показать, али не надо? — спрашивал он, стукая лаптем.

Считая азарт естественным, но время драки не приспевшим и причину — плевой, между ними становились зрители.

— Ну, ну, а вы того... вы дело ладьте...

Тогда менялы сердито дергали лошадей за уздцы, с твердым намерением прекратить канитель, и вели их, нахлестывая, к падворкам.

На полдороге Орел останавливался и равнодушно спрашивал, глядя в другую сторону:

— Твоей кляче-то который год?

— Шестой, — бросал отец, не оборачиваясь.

Орел бросал повод и разводил руками.

— Давеча, окаянная сила, говорил восьмой, чичас — шестой.

— Был шестой, пошел восьмой, — огрызался отец. — Бориска, правду я говорю? Крестись, дьяволенок, на восход.

Я торопливо срывал шапку и крестился.

— Теперь веришь? — гордо спрашивал отец. — Теперь тебе младенская душа уколола бесстыжие бельма?

Орел неуклюже поворачивался с третьячком к толпе, на ходу отвечая:

— Из твоей младенской души разбоина выйдет, ишь у его шары-то — желтые, острожные... Ну, говори последнее слово, не мордуйся...

Отец стремительно поднимал правую руку выше головы и застывал так. В глазах его загоралась несокрушимая решимость. Орел подставлял ладонь. Раздавался треск ладони об ладонь. Опять взмах рук. Опять треск.

— Красная на придачу, две овцы, теленок да твой могарыч с опохмелкой, — выпаливал отец.

— Штоб ти не дожить до вечера, не то что до опохмелки, — говорил Орел, спокойно плюя отцу под ноги.

Отец гневно растирал плевок.

— Так на так, с тебя ведро вина, мой хлеб с огурцами, телегу мне справишь, — вот это будет мена, на такую мену я согласен, — говорил Орел. — Мытарь ты, а не барышник!..

Зрители ходили вокруг лошадей, будто они их в первый раз видели, обминали бока им, заглядывали в зубы, с видом заправских знатоков щупали репицы и щетки.

Менялы маяли себя и лошадей до вечера. Потом хриплые от надсады пили могарыч, и он не лез им в горло. А поутру, сидя у нас в кутнике, Орел говорил бате, печально жевавшему на печи картошку:

— Конешно, Сеньтя меня обидел: кобыла телом — барыня, а глазов нету. Ну, зато дело мирно обладили, без толкотни, без брани, посуседски. От мово третьячишки-то тоже мало корысти, у его кишка вылезает, не нынче — завтра сдохнет... Да ведь на то идешь, чтоб обмануть...

Другой раз, тоже при мне, Орел ладил с соседом рыжую матку на меринка. Менялись со скуки. Орел клялся душой: матка — лучше не надо, а вот не взлюбил ее что-то дворной, да и только! И святой водой ее прыскал, и ладану подсыпал в резку, и дворному каждый вечер по ломтищу выносил хлеба, не действует: как полночь, — на дворе гул, свист, кирпичами бацыкнет-бацыкнет в стену, хоть волком вой... Сосед, рохля, верил.

— А у меня этак-то не будет? — спрашивал он.

— Не, что ты, у тебя дворной чалый, и лошадка почти чалая, они под масть. А мой дворной — карий, с метинкой на брюхе.

Ударили по рукам. Передали лошадей из полы в полу. Орел отвел к себе меринка, затворил на замок и, возвратившись, насмешливо прогнусил:

— Дура соленая, где же у тебя глаза были? Кобыла-то с сапом, ты издохнешь с ей.

И превесело залился, водя носом — свинчаткой.

— Меняльщик!.. Орла хотел перехитрить!..

Но смех тут же замер на губах его. Рядами острых, ненавистных игл на него глядел весь околоток, свидетель мены. Сосед — бедный, трудолюбивый мужичонко, забитый неудачами, — стоял с раскрытым ртом.

— Ну-ко, веди кобылу в обратную, — приказал ему кудрявый мужик, родня соседа.

Сосед засеменил к воротам. Орел хотел смыться наутек.

— Нет, обожди, — сказал ему кудрявый, хватая его за рукав.

Старика окружили. Привели матку. Мужики подходили и заглядывали ей в ноздри. Последним поглядел кудрявый.

— Ты зачем этак делаешь? — спросил он Орла.

— Тебя забыл спросить, — ответил старик.

— Нет, ты зачем так делаешь? — воскликнул кудрявый и ударил его.

Орел мотнул головою, закачался, но не упал. Тогда, как стая шавок, на него набросился весь околоток. Подпрыгивали, норовя ударить по лицу. Ошарашенный Орел стоял и качался. Потом неповоротливо размахнулся и, через голову пегонького, в парше, мужика в заячьей шапке, допялился до кудрявого. Тот, как цыпленок, ткнулся лицом в грязь. Так же неповоротливо Орел опустил свой жернов на темя пегого, затем еще на одного, еще, — будто сбивал бабки. Но нападавших было много, Орел чувствовал, что одному не сдюжить.

— Иван Васильевич! — закричал он бате. — Разбой! Пошли ребят на помогу.

В это время пегий мужик бросился Орлу под ноги, и он упал. Шавки впились в его шею, руки и волосы. Из избы выбежали мой отец с безменом и дядя Алексей-беляк со шкворнем, но пегий перехватил их и сказал:

— Не вяжитесь вы, робята, пожалуйста. Только драки больше наделаете.

Отец махнул рукой и подался с дядей за сараи.

А с Орла, завернув ему на голову тулуп и распяв по земле руки, на которых сидело по человеку, уже снимали портки. Пегий приволок со двора метлу. И вот, эмакивая метлу в грязную лужу, Орла с остервенением начали сечь по багрово-фиолетовым шрамам его, по хрустящим сросткам поломанных ребер. Орел ни разу не крикнул, не застонал. Спина его все больше бухла, синела. По жолобкам кривых ребер, кукишами выпиравших из-под старческой кожи, по выемке хребта текла грязь, смешанная с кровью. Орел терпел.

— Будет! — наконец крикнул кто-то.

Пегий бросил метлу. С рук и ног Орла поднялись. Старик молча встал, с усилием надел портки, застегнулся, вытер полою тулупа грязное лицо и молча же пошел к своей избушке.

4.

Говорят, в молодости Орел был очень ленив и хитр и всеми неправдами отлынивал от барщины: притворялся сумасшедшим, дураком, калекой. Придет, бывало, на барский двор. Нарядчик посылает его на пашню.

— Не могу, — печально ответит Орел: — мочи нету.

— Как — мочи нету?

— Так: змей-лыцарь шипит в середке...

И, подняв рубаху, показывает нарядчику обмотанный прядевом грязный живот свой:

— Корму просит — кровь мою желает пить. Вам, поди, не слышно, как он шипит, а мне все уши прожужжал.

Или своротит на бок шею, исказит лицо, напружит ногу, чтобы она не сгибалась, и, так притащившись в имение, косноязычно заявит, что вот лег ночью спать, не молясь, а через него домовой перевалился: ни шея, ни нога теперь не действуют. Да еще набьет пены в углах рта.

— Видите, видите? Думаете, я брешу, а это — что?

Его несчетно драли веревками, драли жестоко. Но Орел не бросал удали.

— Хоть режьте, я — дурак, во мне нутряная жила попорчена, — говорил он. — Ежели желаете душе спасенья, пустите с нищими: буду молить бога за всех. А не то в монастырь отдайте.

Не снимая со скамейки, его принимались опять сечь.

— Нет, напрасно трудитесь, я — дурак, мне на роду написано быть не в себе, так и странники говорят. Я с ума сойду скоро. Вот убью кого-нибудь нечаянно и наживете беды! — слабо лепетал он, обессиленный побоями.

Так валандались с ним долго, у Орла уж пробились усы. Сонный, рыхлый, неповоротливый, он, видимо, равнодушно относился к побоям. Так же сонно и равнодушно, уже двадцатилетним, убегая с барщины, лазил с ребятишками по чужим огородам, стругал ветряные мельницы, разорял птичьи гнезда, курил мох, ссорился с детьми. И неизвестно, докуда тянулось бы это, кабы не судьба, — так говорили потом в деревне.

Каждую осень, на Михайлов день, когда с полей уже все убиралось, а слякоть еще мешала затапливать овины, когда на столах у мужиков появлялись и свежая брага, и убоина, и пироги, помещик устраивал свадьбы. На барский двор сгоняли молодежь. В теплом халате, с трубкою в руках, окруженный штатом дворни, приживальщиками и борзыми, на балкон выходил барин. Сюда же выносили две клетки с заморскими птицами, непристойно ругавшимися. Барин садился в кресло. К креслу подкатывался столик с графинчиком. Барин взмахивал платочком, и бурмистр с нарядчиком проводили перед ним парней и девушек. По нынешнему времени это было похоже на волостную сельскохозяйственную выставку по животноводству: барин являлся как бы оценщиком. Барин

разглядывал парней и девушек, некоторых приказывал подвести поближе. Затем выбирал из них пар двадцать, тридцать, глядя по людскому урожаю года, и молодых выстраивали в две шеренги, лицом к лицу, по-солдатски. Барин спускался с крыльца и назначал, кому с кем век вековать... У барина в этом были свои правила, он называл их «естественным подбором», — повидимому барин был из больших ученых, если додумался до этого: самому высокому и сильному парню давал маленькую, тщедушную девушку из недомерков, дабы дети их имели «нормальное сложение», красивым и статным — уродов. Барину хотелось выравнять крепостные души свои. Потом под бесплодные рев и мольбы, под окрики бурмистра и нарядчика, а иногда и под затрещины их, людское стадо гнали в церковь, и поп справлял общий для всех обряд.

Так и в этом году: собрали молодежь, провели перед барином, барин пил рюмочки, закусывал, заморские птицы галдели, барин улыбался и посылал им кусочки сахара, бурмистр с нарядчиком покрикивали. А поодаль толклись родичи и любопытные.

Барин отделил пары, их построили в шеренги. И когда шеренги были построены, и бурмистр, поклонившись, доложил, что все готово, барин пошел по шеренгам. И уже взял было за рукав верзилу-девку, на голову выше его, чтобы толкнуть ее к тощенькому, пугливо моргавшему недоделыху, как на глаза его метнулся несуразной тушей Орел, стоявший в толпе любопытных. Барин крайне удивился.

— Э-э, как это...

У барина дрогнул седой ус, гусиные лапки по надскульями собрались в гармошку. Он поднял указательный палец и поманил Орла. Тот присел за мужиков. Но бурмистр и нарядчик живо выдернули его из толпы. Барин указал Орлу место в шеренге и, шепнув что-то бурмистру, начал спаривать. У бурмистра дрогнули не только усы, но и широкая борода. Вероятно то, что барин шепнул бурмистру, поняли и заморские птицы в клетках: вдруг обе захохотали, замяукали по-кошачьи, залаяли собаками, а потом начали поливать всех отборными словами. Барин погрозил им пальцем.

Через некоторое время два дворовых гайдука притащили в поместье пронзительно визжавшую дурочку Полю Хмельную.

И сразу все поняли, зачем барин подмигнул бурмистру, и расплылись улыбками. Приживальщики терли ладошки. Даже заплаканные пары улыбнулись чужому, большему их, несчастью, горшей их беде.

Понял, побледнел, заволновался и Орел и хотел убежать, но его не пустили. И он залязгал, как волк, зубами, беспомощно озираясь по сторонам. Бурмистр подтолкнул визжавшую дурочку к барину, и Поля Хмельная стихла, заглядевшись на лиловые отвороты барского халата: они были — как сирень в полном цвету. Барин взял ее за руку, показал, что на голову ее наденут венец, потом на пальцах показал, что будет после венца. Поля застыдилась. Барин взял ее за руку и подвел к Орлу.

— Не надо, — сказал Орел.

— Что? — спросил барин.

— Не надо! — прошептал Орел.

Барин сурово крякнул и вложил руку Поли в ладонь Орла.

И вдруг Орел вытянулся, словно вырос на четверть, оскалил зубы и со всей своей сонной, неуклюжей силы ударил барина по лицу. Барин сразу упал. А Орел ударил его еще раз, лежачего. И не успел никто рта раскрыть,— Орел бросился бежать.

5.

Через неделю, на гумнах, по звонкому холодку, плотники рубили помост, на помосте — «кобылу». Вытребованный из города палач показывал плотникам, как надо строить. Наказание было назначено на следующий день.

С раннего утра с деревень и хуторов вотчины был согнан народ. Барин лежал в постели и присутствовать на порке не мог. Ему доносил обо всем дворовый мальчик — казачок.

День был погожий. Выпал снег. Деревья надели новые шугаи. Глядя на палача в красном кафтане, важно расхаживавшего по помосту с плетью-трехвосткой, народ перебрасывался шутками. Все с нетерпеньем ждали Орла, захваченного облавой.

И вот он появился: с колодкой на шее, в цепях. И никто не узнал его из тех, кто знал его раньше. Не узнали бы и отец с матерью, кабы пришли глядеть на позор сына, — так он изменился за неделю: как вытянулся, вырос перед тем как ударить барина, как побледнел и крепко-накрепко сжал губы, блеснул огнем глаз, так и остался, будто все замерло в нем, окаменело. Вобралось внутрь сонное, дурацкое, с чем жил. Резче выступили конопатины на покойницки-белом лице, хищно заострился несуразный нос, странно затененный теперь новыми, пламенными глазами, прямо глядевшими на всех, ровна была походка.

Орел поднялся на помост, громыхнул цепями. Палач снял с него колодку и подвел к «кобыле». Орел нахмурился. Так, нахмурившись, подал расковать руки. Потом что-то вполголоса сказал палачу и повернулся к народу:

— Простите меня, православные, может...

Но в толпе засмеялись: Орел стоял без штанов. По лицу Орла запрыгала рябь, он скрипнул зубами и, отвернувшись, лег на «кобылу», сам вдевая в ремни руки. И все стали подниматься на цыпочки, грудясь к помосту.

Палач расправил плеть, тряхнул ее, молодцевато прошелся возле «кобылы», и на обнаженное тело Орла со свистом опустился первый, огнем опаливший его, удар. Тело задрожало. Орел со стоном мотнулся, но ремни туго стягивали плечи и ноги его. Он хотел впиться зубами в дерево «кобылы», но оно было ровное, гладко выструганное, и он стал, то сжимаясь, то растягиваясь, как земляной червь, грызть ремень. Так началось наказание.

На второй полсотне Орел потерял сознание, и плеть уже ходила не по упругому, вздрагивающему и извивающемуся телу, а зарывалась и хлюпала в приторно пахнувшем и дымившемся на морозе мясе, лоскутьями отдирая его от костей. И не брызгала уже кровь, а темными, липкими полосками ползла по ножкам «кобылы», образуя на помосте колыхавшийся от шагов палача студень.

Палач устал, ноздри его раздувались, на висках выступил пот, трехвостка не так уж весело играла в руках.

Когда наказание окончилось, Орла завернули в кусок полотна, которым летом покрывалась солнечная сторона барского балкона, и увезли в город.

6.

Несколько лет о нем не было слуха. Одни говорили — умер по дороге, другие — не умер, а сослан в Сибирь, третьи — в солдатах и уже убит на войне. А на самом деле — Орел сидел в губернской тюрьме.

Слухи, перемежаясь, ходили лет семь. Оправившийся от орловой женитьбы, барин опять слег, да так и не встал. Наследники не жили в вотчине, и делами поместья ведал управляющий Евграф Владимирович, — Враг-Радимец, как звали его бабы. Родители Орла умерли. О нем забыло Поречье.

И вдруг в Троицу — престольный пореченский праздник, когда подгулявшая деревня хороводилась по выгону, — из барских конюшен пропала тройка лучших лошадей. Кража была невиданная и дерзкая, вор шел на удачу или смерть, но, видно, был смел и отчаянен: конюха оказались связанными, по коридору денника валялись обожженные серники: вор брал по выбору.

И поголовная порка дворни, и горячие погони во все концы уезда, и розыски полиции остались тщетными. Поречье было поражено удалью. Во всех избах только и разговаривали, что о краже. И все втайне радовались барскому несчастью. Но через две недели из табуна было угнано несколько мужицких лошадей. Это охладило восторги. Погоня и на этот раз была бесплодной.

А в сентябре, как снег на голову, в Поречье заявился Орел. Хорошо одетый, в поддевке тонкого сукна, в шленковом голубом шарфе и новых сапогах, широкобородый, чуть осуглобевший, он был похож на богатого краснорядца. Он презрительно отнесся к родичам, резко отказался от их угощений и в тот же день пошел в имение откупаться на оброк.

— Откуда у тебя деньги? — поинтересовался управляющий.

— Заработал, — ответил Орел, и что-то насмешливое, злое блеснуло в глазах его, так и не потухших с далекого Михайлова дня.

Поправив растащенную родичами отцовскую избу, обзаведясь коечем, Орел попросил позволенья жениться и привел с соседнего хутора тихую и работящую девушку, сироту.

К весне молодые куда-то уехали. В барской конторе Орел сказал — в город, на заработки.

И опять больше года о нем не было слуха. Ах, да и крут же был этот год для поречан! Почти не проходило праздника, чтобы из поля или со двора не пропадало коровы, лошади. По овинам шныряли какие-то дикие люди в лохмотьях. Народ ревел от разора и страха. Но ни облавы, ни ночные дежурства, ни особые ночные сторожа на перекрестках дорог, ни ярость управляющего, ни крайнее средство — молебствия скотским богам Флору и Лавру — не помогали беде, словно вор был здесь, в Поречье, среди своих.

А с летом задрожала и вся волость. Напуганный народ обнесчастел. Пошли легенды, что из Сибири хлынули беглые живорезы, что вглуби уезда уже горят вотчины и села, что табор живорезов стоит у села Скарятина, в сорока только верстах от Поречья. В полях не ночевали. Бабы боялись дергать замашку в коноплях. Стада пригоняли еще засветло, и скотину прятали, как краденую. Всей семьей хозяева ложились вместе с ней. По перекресткам за деревней жглись костры. Управляющий грозил солдатами. Вскоре разнесся слух, что живорезов — выглядателей уже видели в огородах: здоровые, с клеймами на бритых головах, с ножами. Нельзя было допытаться, кто их видел, — все и никто, — но все верили слухам и за самой малостью, средь белого дня, ходили в огороды группами, с дубинами и топорами в руках, звоня в печные заслонки, зычно, заглушая страх в себе, кричали:

— Лови, лови его, мошенника!..

В эту пору опять приехал Орел — с парнями-двоешками на руках. Жена умерла от родов. Забыв его угрюмость и неласковость, как к бывалому человеку, соседи и родичи бросились к нему с горем, страхом, бедой своей, будто с Орлом пришла чудодейственная помощь. Усмехаясь, Орел выслушал их и ничего не ответил.

Но поречане не ошиблись: чудодейственная, невидимая помощь, действительно, пришла к ним, и пришла с Орлом, — кражи вдруг прекратились, будто кто обрезал нитку. Потухли костры на перекрестках. Замолкли заслонки. Перевелись живорезы. Уже находились смельчаки, хваставшиеся, что чуть заря были в поле. Управляющий перестал стращать солдатами. Люди отдохнули. Кто объяснял затишье наступившими дождями, кто — тем, что выбрали коноплю и живорезам негде прятаться, кто — мором, напавшим на них. Большинство же считало спасителем Орла, который знает слово.

А Орел круглыми сутками возился с малышами, был им мамкой и кормилицей, кутал и грел по горнушкам, питал их теплом собственного тела. Никто не видел его на улице, разве только перебежит дорогу, чтобы захватить старновки на постель, клок сена корове. И все привыкли к его нелюдимости, одиночеству, глазам горящим, срывной речи, — не мешали ему, и он никому не мешал. Исправно вносил оброчные деньги в контору, носил причащать детей, днями тюкал в избе топором, посередь детишек,

строя им тележки, колымаги, салазки, стругал, как в былую пору, ветряные мельницы. И лишь иногда поречане недоумевали, откуда же он берет деньги на оброк, но не решались спрашивать, а менявшиеся в вотчине управляющие не допытывались.

Изредка, по сумеркам, к избе Орла подъезжала телега с закутанными седоками. Раскрывались ворота, телега въезжала во двор. Тогда ночь напролет за завешанными окнами разгульно и дико гремели песни, хохот переливался со звоном стаканов, тряслись стены избушки от бешеного пляса под голосистую двухрядку. К рассвету гости уезжали, а Орла, как всегда, видели ранним утром за делом.

Дети росли волчатами, нелюдимыми и своенравными. Они сторонились игр и ласк. И как волк волчат, Орел порою уводил их в лес, днями гостя там. Что они делали? Лежали на траве, возились. Орел рассказывал им сказки, были — о тяжком своем наказании, о тюрьме. И, как у волчонка, горели глаза у первака, любимца Орлова, Коли, затаив дыхание слушавшего отца. А Ваня плакал от жалости.

Иногда Орел подходил с детьми к табуну и просил пастуха покатать ребят на лошади. И опять у Коли горели волчьи глаза, когда он, всосавшись тельцем в спину лошади, носился по лугу, и трудно было оторвать его. А Ваня и тут плакал — от страха, неловкости, и в глазах отца проскальзывало презрение к нему.

К пятнадцати годам, когда из них вытянулись волки-полетки, Орел стал пропадать — на неделю, больше. Подростки оставались одни.

— Батюшка уехал в город, — вяло на распросы поречан отвечал младший.

Пухлый, молочно-белый, с девичьим румянцем на щеках, с телячьими, на выкате, немощными и добрыми глазами, он уходил без отца на реку и, подперев руками голову, сидел часами, о чем-то грустя, как будто что вспоминая — давнее, забытое, а может быть не бывшее.

А первак дергался от вопросов и спрашивал любопытных:

— А тебе на что тятя — в бирюльки играть?

Его звали каторжным. Он так и не привык к деревне, не приручился. Если приходил на игрище, всех сторонился, был угрюм. Его отношения к девушкам были своевольны и дерзки, и они плакали от его ласк.

И каплями воды по трещине стали просачиваться по Поречью слухи с отлучками Орла: в уезде опять начались кражи — там угнана пара, там...

На Вознесенье пропали лошади у бурмистра: две рысистых кобылы серой масти. И не радовали уже вести о близкой «воле», о манифесте, который второй год старательно писал государь-император. Поднималось и росло старое, пятнадцать лет назад бывшее. Заговаривали о кострах на перекрестках. У порогов клались топоры. А большинство опять с тревогой шло к Орлу: он слово знает. Орел слушал и молчал. Но все ждали от него слова и верили в его защиту. И, уверенные, спокойно расходились по домам. А утро приносило новое тревожное известие, и опять сжималось сердце.

Чаще и чаще Орел отлучался, а потом и первак с ним. И кражи в уезде росли. Они поражали своею обдуманностью и дерзостью, в них скользило какое-то подчеркнутое удальство, преднамеренная бесшабашность. По волостям рыскала полиция. Помещики делали облавы, как на хищных зверей. Но воры были неуловимы. О них складывались небылицы.

И вот кто-то пустил по Поречью робкую догадку: не Орлово ли это дело, он сидел в остроге с живорезами. Откуда у него деньги? Зачем и куда сам пропадает?

— Ах, так вот оно что!..

И еще не помнил, не видел Орел такого почета и пресмыкания перед собой, как в эту пору. Что барин, барин — гнида перед Афанасием Гаврилычем! Барин, даже при крепости, не видел таких заискивающих улыбок, глаз собачьих, подобострастно заглядывавших в лицо: «мы, Афанасий Гаврилыч, знаем, но молчим, мы никому не скажем, даже помогать согласны, только нас пожалей»...

С тех пор дали и кличку ему — Орел.

Ах, да и жал же их Орел — как жмыхи под прессом! На задних лапах заставлял ходить перед собой! — за старое, за Михайлов день, за обиду свою жестокую, когда в трепетно раскрывшуюся перед миром грудь его, полную тоски, плюнули шалым смехом...

В свадьбу телятки своего лупоглазого, размазни гороховой — Вани сахарного, споив бородачей, а потом повышвыряв их, как котят, во двор, он это все им высказал.

Он собрал тогда все Поречье. Одного холодца было наварено шесть чугунов. Не бутылками, а корчагами ставилось вино на стол: пей, сколько хочешь. Столы ломились от жирной баранины, сладких киселей и каш, гусей, лапши с потрохами. Все пили, ели, величали хозяина. В толпу девок швыряли пряники и леденцы, — никто не видел такой свадьбы. Рядом с женихом, по левую руку его, сидел смуглый, гибкий, с разметанными черными кудрями Коля и залихватски играл на гармонии. Красная шелковая рубаха его была залита вином. Орел любовно глядел на сына, и все нутро его тряслось от гордой радости. Хлопал его своими увесистыми гирями по крепкой спине, и сын, как кровная лошадь, только вздрагивал под этой лаской, только шире и нервней раздувались его тонкие ноздри, и тем же любовным, переходящим в восторг, взглядом он отвечал отцу. А около него веселились сумеречные гости: одноглазый сухой старик с серебряной серьгой в ухе — Озяба, три ражих детины в бархатных жилетках и мальчик с застенчивой улыбкой. Ведрами таскали брагу из погреба, хмелем и пригоршнями серебра осыпали новобрачных.

И вот когда все напились и наелись досыта, и бабы кончили застольные песни, встал, пошатываясь, Орел.

— Ну, гости дорогие... сыты?

— Много довольны, Офонасий Гаврилыч, по горло сыты! — хором закричали поречане.

— А может, еще чего хотите — пряников, сладкого вина, орехов?

— Нет, больше некуда, много довольны, Офонасий Гаврилыч.

— Ничего не желаете?.. — Орел обвел глазами застолицу и с мутной силой ударил кулаком по столу. Корчага опрокинулась, и вино полилось на колени гостей. — А помните, дорогие гостечки... лет тридцать пять назад... когда я на помосте стоял, а рядом со мной был палач...

— Пошто старину ворушить? — пьяно закричал почетный гость.

Орел опустил взгляд на него, и гость закачался хмельней, чем от вина.

— Я обернулся к вам, — шопотом продолжал Орел, — хотел напоследок ласки у вас взять, под плетями редкий выживает... А вы — зареготали... помните?..

В отрезвевшей тишине заголосил ребенок на руках пьяной бабы.

— Поди, забыли? — еще тише спросил Орел. — А я — помню! Тяжко мне, гостечки милые...

Лицо его было белым. Ударом кулака он сбил ближайшего к себе, за ним второго, допялился через стол и рванул за бороду старосту. Стол опрокинулся. Гости барахтались по полу, а Орел, хватая их за волосы, выбрасывал в сугроб.

— Я помню... не забуду!.. Я в гроб унесу вашу ласку, псы смердячие!..

7.

Незабываемое, переломившее жизнь надвое, сердце исполосовавшее новыми, горшими, ранами, пришло после «воли», весной. Был канун князя Константина. Все зеленело, цвело. Орел с сыном шли полем. Росистая, ночью темная, рожь уже доходила до колен. Звонко били перепела. Дергали коростели. Веселыми хороводами над головами их кружились звезды. Изредка Орел останавливался и оглядывал местность: они были верстах в двадцати от Поречья.

— Тятя, а не обманет этот? — осторожно спросил сын, поправляя обвитую вокруг стана уздечку.

— Озяба? Что ты, глупый! — засмеялся Орел.

— Я не про Озябу... работник?

С легким писком из-под ног их вылетела пара жаворонков. Оба отскочили с межи и потом улыбнулись друг другу.

— На гнездо, кажись, наступили, — тревожно проговорил Орел. Он наклонился и пошарил рукою по земле.

— Как росно!..

И когда отошли шагов двадцать, добавил:

— Озяба не обманет. Верь Озябе больше, чем мне, сынок!

— Я ему верю, — сказал сын.

— Озяба уходился. Что мы — кутята против него. Было время, Озяба косяками угонял лошадей, не гляди, что кривой да хилый, и он был не таким. К Озябе губернатор послов посылал: дам денег, только перейди в другую губернию. А он сам жил лучше губернатора.

За холмами, далеко-далеко, заржал жеребенок.

— В ночное выехали, — прислушавшись, сказал Орел.

— Ты в тюрьме его знал? — спросил сын.

— В тюрьме.

Как тень, по рубежу мелькнула лисица. Орел бросил в нее крухом земли. Лисица отбежала и протяжно, визгливо залаяла.

— Озябу секли, с каторги ушел. Я ударил палача. И меня секли А потом Озяба снова убежал из острога. Эх, сынок, разве перед ним устоит что! Он переел горло конвойному, это не всякий зверь может...

Сын вздрогнул и крепко впился пальцами в уздечку. И одновременно что-то дикое заныло в груди: восторг, зависть к человеку, ставшему страшней и беспощадней зверя.

Межа незаметно опускалась. Рожь стала гуще. Потянуло сыростью Вскоре темным забором перед ними встал кустарник. Орел долго глядел на звезды и неровную линию едва различимого горизонта. Потом слабо свистнул. Свист заглох, будто запутался, в кустарнике. Орел свистнул чуть громче, прислушался. На дне оврага журчал ручей. Слабо шелыхалась трава под ногами. Отклика не было.

— Уснул, что ли, косоногий?..

Орел сложил трубкою ладони и крикнул выпью — раз и два раза Но ответа не было.

— Тятя, не продаст нас работник? больно ненадежное дело! — снова спросил сын.

— Не продаст, побоится, — уверенно ответил отец. — С Озябой шутки плохи. Ты что нынче какой — все спрашиваешь?

— Не знаю, тятя. Сердце что-то болит...

Они направились вверх по гребню оврага. Осторожно разводили обливающий росою мелкий орешник. Осторожно перешагивали через редких светлячков.

— Куда он пропал? — пробормотал Орел.

И вдруг издали раздался слабый конский топот. Они присели в кусты. Вскоре топот пропал. Отец и сын молча переглянулись. Сверху, изо ржей, на фоне звездного неба выступила темная колыхающаяся фигура. Кто-то горячил и гнал коня. Они сидели, не шевелясь. Верховой ехал почти на них. Вот уж послышалось и прерывистое дыхание лошади, и шум как бы ссекаемых ржей, и взмахи плети. В нескольких шагах от них всадник проворно и молодо спешился, перекинул поводья через голову коня и скрылся в овраге.

— Тятя, может быть, мы нынче не пойдем в Ревны, останемся? — с непонятною тоскою прошептал сын. — Ведь это — о н?

Но тотчас же он устыдился своей слабости и добавил, вбирая в себя тревогу:

— Гляди, тятя, как лучше, не слушай меня.

Орел пристально посмотрел в лицо сына, серое и пятнистое в темноте, и ничего не ответил. Заглушая говор ручья, шорох травы, березняка,

ольшаника, на дне оврага раздался сухой старческий кашель. Орел слабо свистнул. Такой же слабый, но протяжнее, свист раздался с низины. Отец и сын поднялись, отец закрыл тряпкою голову от росы, и они спустились к ручью, скользя, хватаясь за мокрые ветки, брызгая росою. Неразнузданная лошадь обрывала с кустарника листья. Она была мокрая, и с удил ее падала пена.

Заслышав шорох, маленький человек, стоявший рядом с ней, опять свистнул, — тише, переливистее. Орел ответил.

— Ты опоздал, — гневно сказал Орел, здороваясь с Озябой.

— В Поселках был, полста верст! — тоненьким, почти детским голоском ответил старик. — Позавчера Сандрик опять гостевал в Ловчем: две матки. Цыган — шельма, цыган крутит хвостом, я ему кишки выпущу. Сладкой охотится съездить в Ордынское, я не пускаю.

Они сели на траву. Озяба достал кисет, кресало и закурил трубку.

«Вот этими черными, источенными зубами он грыз человеку горло,— с дрожью подумал Николай, глядя на освещаемые трубкой кустики седых усов и гнилые, мелкие щучьи зубы его. — Где ему глаз вырвали? Мужики, наверное?..»

— Ну, а тут как? — спросил Орел. — Ладно налажено? Работничишко верен? Ты стар, Озяба бестолков стал. От тебя одно прозвище осталось.

— А вот пойдем, я докажу! — задохнувшись, прошептал старик.

— Троим зачем же? Да и лошадь должна зря пропасть, а она деньги стоит, — спокойно проговорил Орел, кивая на хрустевшую удилами лошадь. — Ты не щетинься, Озяба, тому не миновать, я на твоем месте стану.

Старик мелко дрожал, вяло и нехотя рассказал план кражи, сейчас же простился и вскочил в седло. И Николаю стало жалко его.

— Озяба, — сказал он, — а со мной что ж ты не простишся?

Старик протянул ему руку, но Николай привлек его к себе — сухонького, легкого, как монастырский прозорливец, — и крепко поцеловал в губы. Но тотчас же страх и отвращение пересилили сердце, он хотел оторваться, но старик словно прилип.

«Он сейчас переест мне горло!» — с ужасом подумал Николай, у него зашевелились волосы, он с силой рванулся. Потерявший равновесие старик выпал из седла, — он плакал.

8.

Украсть надо было двух жеребцов у богатого кулака. Жеребцы славились на уезд. Не раз Озяба с Орлом добирались до них, но каждый раз неудачно: хозяин спал в конюшне, малейший шум поднял бы на ноги село, в котором и так уж было много грехов, и конокрадов не пощадили бы. Но теперь выдался исключительный случай: через верного человека Озяба сговорился с хозяйским работником, он должен был дать знать, когда хозяин отлучится, и помочь краже. За четыре дня до князя Кон-

стантина батрак предупредил: хозяин собирается к престольному празднику. А накануне донес: хозяин уехал.

Вдали темнели избы села. Кулак жил посредине его. По недавно засеянному коноплянику итти было трудно, ноги по щиколку вязли в рыхлой земле. Было за полночь. Оба вспотели и задохлись. Но надо было спешить, чтоб к рассвету управиться.

В овине, на условленном месте, Орел нашел железный крюк, которым отодвигалась внутренняя запирка в сгайке. Волосяный аркан для ловли собак Орел имел с собой, хотя работник обещал с вечера отравить собак, — своих и соседских.

— Ну, пойдем, сынок. Господи, благослови, — перекрестясь, прошептал Орел и положил руку на скобу.

Дверцы овина скрипнули.

— Тятя...

Сын беспомощно поглядел на отца.

— Тятя, давай, на всякий случай, простимся...

Орел резко повернулся и сказал:

— Идем назад, в овраг, с такими думами в дело не ходят.

Сын с минуту молчал.

— Думать обо всем надо, — так же резко ответил он. — Ступай в овраг, я один сделаю...

И он быстро зашагал к сараям кулака, находившимся в полверсте от овина, за которыми стоял двор и стайка с жеребцами.

До самых сараев сын не оглянулся. Орел шагал шагах в двух. Около сараев стояли ометы, и под ногами их стала шуршать солома. Держась ближе к стене, они заботливо выбирали темные места — там, где соломы не было или она была мокра. Село мертво спало: ни звука, ни шороха, даже петухи не перекликались.

Вереи в воротах были жирно смазаны салом. Сын перерезал путо, заменявшее вертушок, осторожно просунул руку в прорезанную работником дыру и снял засов изнутри. Ворота бесшумно открылись. В это время в поле запели жаворонки.

Как тени, держа наготове узкие железные полосы, заменявшие кистени, мимо спавших коров, попятившегося в угол стада овец, мимо рабочих лошадей, сонно жевавших резку, они подошли к каменной стайке. Ловко и быстро выдернули пробои. Сквозь небольшую дырку повыше их Орел просунул крюк и с легким скрипом отодвинул запирку.

Сын вошел первым. Лошади храпнули и застучали копытами по дощатому настилу. В темноте зеленовато блеснули их глаза. Как хозяин, сын смело подошел к крайней и положил руку на холку ее. Лошадь затряслась и хотела укусить его. Сын впился ей в корневище уха и больно надавил большим пальцем заушную ямку. И лошадь мгновенно затихла, только тряслась. Жеребец был прикован цепью к стене, и сын пытался взломать дужку замка, но замок оказался прочным, и он с помощью железной полосы выдрал цепь с деревом.

На дворе было тихо. Так же мирно спали коровы, в углу толклись овцы, только теленок да несколько рабочих кляч лениво поплелись в раскрытые ворота.

— Готово? — вполголоса спросил сын.

— Есть.

Уже не соблюдая прежней осторожности, облитые потом, они быстро вывели жеребцов за ворота. Почувствовав свежий воздух, близость кобыл, жеребцы звонко и радостно заржали. Это было ошибкой конокрадов, Орел только теперь понял это, но понадеялся на крепость ног их. Он больно ударил уступком под живот коня и перекинул поводья. И вдруг, как гром над ухом, из проулка разнесся крик:

— Воры!.. Караул, воры!..

Из-за угла, с дубинами в руках, выскочили мужики, будто они ждали их. Жеребец Орла взвился на дыбы, рванул его, отбросил и, гремя цепью, помчался в поле. Ошеломленный Орел побежал к сыну, которого мотал по задворкам другой жеребец.

— Садись! — повелительно крикнул отцу Николай, вися на морде жеребца.

Не соображая, лишь повинуясь властному окрику сына и страху, смявшему его, Орел вскочил верхом и, как ветер, помчался на полдень — к лесу. А сын, увертываясь от мужицких дубин, обороняясь железом, то наступая, то прячась, стал пробиваться к рабочим лошадям. Ему долго пришлось бегать меж сараев, по ометам. Наконец ему подвернулась тощая кобыленка. Он прыгнул на нее и помчался за отцом, на бегу набрасывая уздечку.

Светало. Пели жаворонки. По далекому серослоистому небу протянулись нежнорозовые кружева. Качалась рожь. Била слеза от ветра. Орел придержал жеребца и оглянулся. В полуверсте виднелся сын. Он бесперечь бил клячу железом. А за ним, чуть мрея в утреннем тумане, от околицы споро катились черные горошины.

— Погоня!..

Он порывисто обернул жеребца и поскакал навстречу сыну.

— Гони! — с бешенством закричал сын и замахнулся на него железной полосой в крови. Глаза его были мутны. Красивый рот перекошен. Он потерял шапку. Лошадь его была в мыле и ранах. Перегнувшись, он со стоном ударил ребром железа Орлова жеребца. И у Орла захватило дыхание от напора воздуха, словно он попал в нутро яростного урагана. Под ним со свистом помчалась назад дорога, закружились озими. И он закрыл глаза.

Сколько времени так нес его жеребец, Орел не помнил. Он только по шуму и сырости догадался, что достиг леса. Было светло. Он натянул поводья. Села не было видно. Серая дорога позади была пустынна. Лишь в самом конце ее, еле различимо, на розово-туманном горизонте, что-то чернелось. Орел впился глазами и ждал. Пятно сперва было похоже на кустарник и казалось неподвижным. Потом стало уменьшаться, таять

и вскоре скрылось за горизонтом. И Орел понял все. Он выплюнул рвоту, подступившую к глотке, и помчался назад. Он доскакал до села, увидел толпу, запрудившую улицу, и с ревом направил жеребца в гущу ее. Размахивая железом, неистовый, с блуждающими глазами, с рыжими космами бороды, развевавшейся по ветру, он был воистину страшен. Он бил железом людей по головам, топтал конем их. Он добрался до черного от побоев сына, вырвал его из рук и обернул коня в поле. И скакал, и несся, как вихрь, держа на руках сына, все так же неистово ревя, захлебываясь ветром. А по пятам выла погоня. И уж близок был лес, туманным пятном казавшийся Орлу. В груди его заклекотало радостное. Но неожиданно жеребец споткнулся. Затылок Орла обожгло дыхание настигнувшей лошади. Он ударил свободной рукой жеребца меж ушей. Тот прыгнул, Орел покачнулся и выронил сына.

Его не преследовали. Он метался по лесу, рвал на себе волосы, бил жеребца железом и кричал, как верблюд.

Он снова повернул жеребца, шатавшегося, от усталости, свистевшего легкими, к селу. И снова, с гиком и проклятьями, направил его в толпу. Взнузданный веревкою, беспомощно раскинув руки, сын сидел на земле с широко раскрытым, оскаленным ртом. Щуплый мужичонко, продев под веревку бороний зуб, крутил ее, веревка стягивалась и раздирала сыну рот. С криком боли Орел соскочил с жеребца, схватил щуплого за горло, и в тот же момент что-то толкнуло его в голову, блеснул нестерпимый свет в глазах, и все, и сам он, ухнули в бездну.

9.

Опять об Орле никто не вспоминал в Поречье, никто не спрашивал, будто он и не жил никогда, не был грозой и богом его.

Знали, что в Ревнах не могли добить его, что ни делали, жалели об этом, а что дальше сталось, никому не было известно. Сын, мечтатель, стыдился отца. И так время тянулось много лет.

Однажды старосте пришла бумага. Власти спрашивали, не желает ли пореченское общество принять к себе бывшего члена своего, ссыльно-каторжного Афанасия Гаврилова Расщепкина. Новость ошеломила всех. Был созван сельский сход. Одни кричали, что Орел не нужен, и так много с ним маялись, другие — что принять необходимо, иначе он обездолит. Трусы взяли верх, и общество составило приговор.

Через год Орел прибыл. Но это уж был не Орел. Он не был стар или слишком изможден. Почти еще не коснулся иней головы его. Но потухли, выцвели глаза: это был Орел досвадебный — сонный, вялый, мешок с говядиной.

В первый же день он показал всем изрубцованную спину свою.

— Семь гостинцев... Сорок ведер крови пролил...

Да, это был не тот Орел, это была старая ощипанная ворона. И поречане это поняли, и многие пожалели, что дали приют ему. И почти все

стали поддевать его, глумиться, а через каких-нибудь полгода уже дело доходило и до кулаков. И все чаще стали раздаваться с улицы Орловы крики сыну:

— Вань-тя, помоги!.. Вань-тя, меня бьют!..

И изо всей деревни один только батя наш жалел и добро относился к нему.

Так и потекла его жизнь. Так и он, вместе со всеми, запрегся в тяжелое дышло деревни, ненавистный и беспомощный пасынок ее.

Он стал мнительным, придирой, что-то шелапутное появилось в характере: дрянненькая хитрость, ребячье озорство, пустая ложь. Стал собирать хлам и камушки по улицам. Стал горьким посмешищем детям. И только временами, будто для того, чтобы напомнить селу, кем он был, что-то дикое загоралось в глазах его, тогда его боялись, но загоралось не надолго, чтобы еще черней потухнуть, чтоб большей яростью на изуродовавшую жизнь напоить сердце.

Я помню смерть Орла.

Стояла глубокая осень. Несколько дней подряд лил с ветром дождь. Наши только что возвратились с реки, где мочили пеньку. Мужики мыли руки. Мы, дети, уже сидели за столом.

— Тебе, батя, на печку подать похлебку или к нам ссадить? — спросила мама, подходя к голобцу.

— Не издохну и без еды, — ответил батя.

Наши с недоумением переглянулись: чего батю ломает?

Вошла соседка-старуха, попросила взаймы соли.

— Слыхали, Офоньтя Орел приказал долго жить, — сказала она.

Мы выскочили из-за стола и побежали глядеть. Избушка Орла была полна старухами. Часть их толклась в сенях. Было тихо-претихо. Пахло ладаном, воском, богородскою травой. Сквозь вздохи доносился певучий голос чернички, читавшей псалтырь. Под ногами взрослых мы протискались к переднему углу. Длинный, жуткий, с плотно склеившимися губами, Орел лежал уже в гробу. Из-под миткаля высовывались прутики сена, колечки свежих стружек. На широкой груди горбом вздымались накрест сложенные руки, так много зла сделавшие людям. Маленькие глаза, пережившие столько горя, столько нечеловеческих страданий, были прикрыты медяками.

Отец с дядей Алексеем — беляком поднесли к покойнику убогого батю. Он припал к груди его и долго, горько плакал немощными слезами. О чем он плакал, калека? Встало ли перед ним прошлое, полустершееся в памяти? Жаловался ли на беспощадную жизнь, истрепавшую его, как Орла, на конце дней своих? Просил ли поторопить ходатая смерти? Хотел ли вылить со слезами жалость и любовь к человеку, тезке царственной птицы?..

Слышал ли его Орел?..

Сорренто 1929.

Фарфоровый город.

(Роман.)

Александр Перегудов.

Часть первая.

1.

Утром Аким Никитич Карпухин послал в Москву телеграмм

«Весь груз отправлен. Последний ящик высылаю сегод ночью».

В Москве жена и дочь прочитают:

«Будьте готовы к выезду. Сегодня ночью выезжаю сам».

Днем обошел завод.

Трехэтажные кирпичные корпуса гудели обыденным деловым гудо хором пели в них машины, станки, вентиляторы. В точильном отде. по-обычному встретили фабриканта заведующий и смотрители, вытягив руки по швам, робко и преданно заглядывали в глаза. В длинных м стерских на высоких «хорах» подсыхал сырой фарфоровый товар. Х зяйским взглядом окинул Аким Никитич серые, еще не обожженн и не политые глазурью тарелки, чайники, чашки, спросил у завед ющего, скоро ли будет исполнен заказ на столовые сервизы в сти «рококо», протянул ему, почтительно согнувшемуся, пухлую руку сказал:

— Ты иди к себе, дальше я один пройду.

Мимо длинного ряда точильных машинок, на которых, как и всегд при появлении хозяина нарочито прилежно работали точильщик фабрикант грузно прошел к выходу. Все было обычно, но вместе с те в согнутых фигурах рабочих, в робких смотрителях и как будто да в стенах корпуса фабрикант чувствовал что-то новое, непонятное и жу кое. В почтительных ответах заведующих Аким Никитич заметил плох скрываемую растерянность. Заведующие и смотрители были похож на людей в лодках, у которых сломались весла: стараясь не выдавать свое беспокойства, они прилежно гребли обломками, направляя лодки п их обыденному пути. Он увидал, что у машинок, где наждачными ли

тами зачищался товар, серые лица рабочих были похожи на плотнс замкнутые двери. По нескольким взглядам, брошенным в его сторону, фабрикант заметил в глазах точильщиков, как в замочных скважинах, вспыхнувший незнакомый горячий свет. Стараясь казаться спокойным и важным, Аким Никитич остановился у крайней машинки и спросил:

— Что это пылища какая?

Точильщик, продолжая работать, ответил:

— Вентиляция плохая, оттого и пыль. Скоро все от чахотки передохнем.

Если бы раньше фабрикант услышал такой ответ, он затопал бы ногами и, багровея, крикнул: «Вон!» Подбежали бы испуганные смотрители и вывели рабочего за фабричные ворота. Но сейчас Аким Никитич только густо покраснел и, ничего не сказав, поспешил к выходу.

Над крышами горнового отдела из больших серых труб рвались в небо огненные факелы, и черный дым длинными дорогами тянулся над заводом.

Аким Никитич долго смотрел на эти факелы.

Сто лет назад на месте завода дремучая лежала глухомань. Над топкими торфяными болотами курились гнилые туманы, в туманах багровели зори, белесые рождались ночи. В тихих лесных чащах зелеными птицами плыли дни. Веснами ломались снега, болота набухали сизыми льдами, в темных сосновых гривах токовали глухари. В трущобах кричали филины, поднимались из берлог отощавшие медведи, бродили по лесу. Лето буйно цвело в глухомани, пело голосами птиц, дышало смолистым ладаном хвои, гнилью болот, гарью далеких пожаров. Осенями багряным золотом осыпались березняки и осинники, стыли ночи, бледнели дни; на болотах трубили лоси, дрались за самок.

В лесах и болотах прятались старообрядческие скиты, ревниво оберегая «древлее благочестие» от греховной мирской жизни. Трудно было добраться к этим скитам, — трясины и топи надежно охраняли их. Лишь зимами от далеких деревень пролегали к ним немногие дороги.

Сто лет назад проснулась глухомань от тысячелетней дремы: пришли люди, застучали топорами, незнакомыми голосами вспугнули обитателей лесных чащ. Прадед Акима Никитича построил в лесу небольшой заводик; пламя горна горячим языком впервые лизнуло и закоптило нетронутое небо. Через несколько лет задымил еще горн, а там — еще и еще... От гнилых туманов умирали люди, человечьими костями мостили болота, на человечьих костях вырастали корпуса и казармы...

Аким Никитич перекинул взгляд на огромное здание машинного отдела. «Кто все это воздвиг, — подумал он, — забыли». И незаметно для себя сказал громко:

— Забыли... Ну, что ж: посмотрим, что из этого выйдет.

Под стеной лежали новые шестерни, сложенные грудой и не прикрытые брезентом. От дождей металл поржавел, и, чувствуя раздра-

жение на такое отношение к хозяйскому добру, Карпухин вынул записную книжку и написал: «разгонять механика за шес...» Но, усмехнувшись, махнул рукой и, не дописав, прошел в машинный отдел.

В машинном отделе с грохотом вертелись барабаны, стучали сит у мешалок, бегали в облаках пыли бегуны, дробя шпат и кварц. И здес обычно почтительно встретил его заведующий отделом химик Беренс доложил о неисправности одного из прессов, пожаловался на механик за до сих пор незаконченный ремонт и замолчал, ожидая вопросо хозяина.

Хозяин внимательно оглядел пресса, мешалки, хотел подойти к барабанам, но вернулся с полдороги и тихо сказал, отвечая нето на доклад заведующего, нето на свои мысли:

— Ну что же... Да... да... Так...

— Слушаю, — ответил Беренс.

Карпухин вздрогнул.

— Что?... Вы что-то сказали? И, не давая ответить, положил тяжелую руку на плечо химика. — Да, вот что: передайте смотрителю Шумову, чтобы он сегодня вечером, часов в десять, зашел ко мне в кабинет

— Он здесь. Позвать?

— Я сказал: вечером... в кабинет.

Наклонив голову, Аким Никитич вышел из отдела. Он старался не смотреть на встречающихся рабочих, чувствуя, что они не опустят перед ним своего взгляда и не схватятся, как раньше, за фуражки.

2.

Вечером в кабинете фабриканта на письменном столе горела свеча. В углах комнаты, в широких складках портьер прятались тихо шелестящие тени. Маслянисто поблескивали отблески света на полированной мебели и голубовато-лиловыми искрами вспыхивали в хрустальной бахроме низко спущенной с потолка люстры.

Аким Никитич торопливо просматривал разбросанные на зеленом сукне бумаги; одни жег на пламени свечи, — отчего кабинет внезапно освещался, тени из углов скользили по стенам за портьеры и в широких шкафах показывались ряды книг и поблескивали золотые тиснения корешков, — другие бережно прятал в кожаный саквояж, стоящий рядом на кресле.

В дверь осторожно постучали.

— Кто? — спросил фабрикант, прикрыв ладонями бумаги.

— Это я — Поля. К вам смотритель из машинного отдела пришел.

— Пусть подождет в гостиной. Когда я позвоню, проведи его ко мне. Потом передай на конный двор, чтобы пол-одиннадцатого мне подали лошадь. Пусть запрягут Наяду.

Аким Никитич торопливо перебрал оставшиеся бумаги и, скомкав, бросил в корзину; затем, захлопнув ящик стола, подошел к окну и от-

кинул портьеру. В туманной черноте ночи бледноголубыми бусами висели огни фонарей. В открытую фортку доносились далекие песни рабочего поселка и шершавый шорох ветра в голых ветвях тополей. Аким Никитич недолго стоял у окна, — ему показалось, что кто-то прячется внизу под деревьями и терпеливо наблюдает за ним. Задернув портьеру, он вынул из кармана пачку денег, отделил от нее несколько бумажек, подумал, прибавил к ним еще две и ткнул пальцем в розетку электрического звонка. Тихий звон добежал из далеких комнат к дверям кабинета; спустя минуту послышались шаги, кашель и робкий стук.

— Можно, можно, входи.

Осторожно отворив дверь, вошел старик, держа в руках измятую фуражку.

— Шагай, шагай, Иван Семеныч. Здравствуй. Садись вот здесь, потолкуем.

Иван Семеныч неловко и бережно пожал протянутую руку фабриканта и сел на краешек кресла.

— Ну, как живешь, Иван Семеныч? Как сын? Не забывает отца-то? Ведь он теперь большая штука — инженер.

— Живем, Аким Никитич, вашей милостью... Спаси Христос на ласковом слове.

— Так, так...

Фабрикант внимательно оглядел тщедушную фигуру старика, праздничный пиджачок, надетый для визита хозяину, большие стоптанные, но ярко начищенные сапоги. Смотритель молчал, дожидаясь вопросов хозяина. Он крепко сжал губы, отчего под усами легли морщины, и чуть заметно шевелилась серая редкая бороденка. Когда дальнейшее молчание показалось старику непочтительным, он, тихо кашлянув в ладонь, спросил:

— Что приказать хотите, Аким Никитич?

Фабрикант вместе с креслом придвинулся ближе к столу.

— Не приказать, а поговорить с тобой хочу по душам, по-хорошему. Ты у меня самый верный человек, тебе одному могу довериться, больше некому.

— Спаси Христос, батюшка Аким Никитич, не забываешь старого.

— Да, да, Семеныч — некому больше, не те люди стали. Видишь, что вокруг делается?

Смотритель сокрушенно покачал головой.

— Что молчишь, Семеныч?.. Конец всему приходит, именно — конец. Народ бога позабыл, выше его стать хочет. И чего ищут, чего хотят? С подонков муть поднялась, дикость... Вот эти... большевики, захватили власть, разграбили банки, над религией надругаются.

Лицо фабриканта покрылось красными пятнами, пухлые руки заметались по столу, по бортам сюртука и беспомощно упали на колени.

— Что делается?.. И как не поймут, как не поймут, что ведь все это — раззор, что нарочно кромсают, калечут, губят Россию. Крестья-

нам говорят: ваша земля, бей помещиков. И что же: погромы поместий, пожары, бунты!.. Рабочим говорят: ваши фабрики и заводы. И что же: фабрики умирают, промышленность рушится... Голод... голод надвигается. Слыхал я в Москве: у фабриканта Смирнова, мануфактурщика, рабочие уже захватили Ликинскую фабрику... Бунтом!.. А их поощряют: «Молодцы, вы первые наци... национализировали завод». Ну что ж из того? не хитро взбунтоваться — как жить-то будут? Как жить-то будут, Иван Семеныч?

Старик молчал, опустив голову. Фабрикант жадно хватил грудью воздух и продолжал, стараясь быть спокойным:

— И вот решил я... уйти... Совсем уйти от вас, бросить завод. Валяйте: правьте, работайте...

— Что вы, Аким Никитич?.. Что вы?.. — заерзал в кресле смотритель. — Как же это так? Все прахом пойдет.

— Знаю... Знаю, что все прахом пойдет, и вот тебе крест, — Карпухин перекрестился широким староверским крестом, — плачу об этом. Десятками лет создавалось... по кирпичику. Думал об этом, много думал... и знаешь... — Аким Никитич заговорил шопотом: — ... и знаешь: только два выхода нашел. Могу я тебе довериться, Иван Семеныч?

— Господи!.. Я сызмальства работаю у вас, из рабочих в смотрители вышел вниманием вашим. Отец и дед мои у Карпухиных работали, как у родных... Для вас... ах, господи!

Смотритель замолчал, комкая в руках фуражку; его лицо выражало такую преданность, что фабрикант облегченно вздохнул и зашептал:

— Два выхода... Один — это бросить дело... Пусть все к чорту летит, пусть все пропадает!.. Подожди, не перебивай, — сам знаю: это не то... не то говорю. Слушай дальше и понять постарайся... Понять постарайся! Если веришь мне, помочь если хочешь, — помоги. И я тебя не забуду. Ни у кого Карпухины помощи не просили, а я вот у тебя прошу... Да, да, прошу... Второй выход — и единственный, чтобы сохранить дело, — это... это — уничтожить завод.

— Как?.. Что вы говорите, Аким Никитич?

— Сиди, сиди... Ты подумай: останется завод без руководителя, — а ведь за ним, как за ребенком, ходить нужно, — что тогда? По-миру пойдут все, с голоду вопить начнут... А вот если бы ненароком сгорел завод... Не весь, а какой-нибудь из отделов. Ну, хотя бы, машинный... Сиди... сиди, выслушай все... Встанет завод, — нет массы, нечем работать. Рабочие волноваться начнут. Понимаешь? Делать-то больше нечего: завод — единственный кормилец. А?.. И вот тогда-то я и вернусь! Машинный отдел заново отгрохаю, новые пресса, барабаны поставлю, расширю... Снова всем кусок хлеба: и старикам и детям... А? Что ты скажешь? Рабочие тогда доверие ко мне возымеют: спасителем ведь для них я буду.

Смотритель, наклонив голову, молча рассматривал коричневые свои руки.

— Пойми: так оставить — все прахом пойдет, и уж тогда ничем не восстановишь, все само собой погибнет... И вот решил я тебя просить, тебя одного, никто об этом знать не будет...

Фабрикант схватил руку старика.

— Помоги мне, Иван Семеныч, окажи услугу неоцененную...

Старик вздрогнул, хотел встать, но фабрикант, поднявшись с кресла, положил свои ладони на его плечи и строго посмотрел в глаза:

— Сиди... сиди... Пойми: ты этим доброе дело сделаешь... И я тебя не оставлю, до гробовой доски другом моим будешь... Вот возьми эти деньги... Не думай, что это взятка. Нет, нет!.. Время теперь трудное, ненадежное, хлеб дорожает. Что ты на старости лет делать будешь? Возьми, возьми...

У Ивана Семеныча тряслись руки, расплывчато колыхалось перед ним широкое лицо хозяина и как будто издалека плыл глухой голос:

— Приди ночью в отдел... положи вот это в укромное местечко... чиркни спичку — и кончено... Вот ключ от отдела.

— Нет, не могу я, Аким Никитич, прости Христа ради!

Фабрикант выпрямился.

— Эх, Иван Семеныч!.. Вспомни, что я для тебя сделал: сына в Москву учиться отдал, инженером сын стал у простого рабочего; тебя в смотрители вывел... Эх, Иван Семеныч!

Слезы блеснули на ресницах Карпухина.

— Ведь вернусь я, и все по-старому пойдет.

— А если узнают... что я?..

— Кто узнает? Никто не узнает. На тебя и не подумают. Так как же, согласен?

Старик молчал.

— Вот возьми этот сверток... Осторожнее... Вот возьми и деньги... Нет, нет, не отказывайся, пригодятся они, ох, как пригодятся... Так, значит, сделаешь?

Смотритель наклонил голову, потом внезапно окрепшим голосом сказал, смотря тусклыми глазами в лицо хозяина:

— А если обманываешь ты меня, бог накажет, Аким Никитич!

— Ну вот, спасибо!.. Я знал, что тебе одному довериться можно. Не бойся: не обману. Скоро вернусь. Поцелуемся на прощанье... Спасибо... Не забуду услуги твоей.

Иван Семеныч взял сверток и тихо пошел к двери.

— Деньги-то, ключ!..

И фабрикант сунул в карман старика бумажки и ключ.

— Ну, с богом!.. Прощай!

У двери смотритель остановился, как будто хотел вернуться, потом ниже наклонил голову и вышел.

Через десять минут горничная доложила:

— Лошадь подана.

Аким Никитич надел широкое непромокаемое пальто, взял саквояж и вышел из дома.

Сеял мелкий дождь. Ветер шипел в голых прутьях деревьев.

3.

Серые тучи низко спустились над землей, — вот-вот рухнут они на завод и поселок, да высокая труба мешает — уперлась в небо, не дает падать. Ветер воет в узких проходах между корпусами, сыплет водяной пылью в лицо сторожа Максима:

«Чего сторожить-то? Завод, што ль, украдут? Не украдешь — вон он какой».

Но задремать боится: каждые полчаса у главных ворот бьет часы чугунная доска, и все сторожевые посты ей отвечают звоном. Бьют по очереди: сначала у главных ворот, басовито; затем у живописного отдела — надтреснутым звоном; потом у конторы, на посту Максима, словно в колокол, в обломок рельсы — и долго звенит завод сторожевыми звонами. Одни спросонья выбивают сердито: бам-бам-бам, — здесь, мол, не сплю — и опять дремать в будку; другие спокойно одну и ту же мелодию вызванивают, а иные такие дроби пускают, как будто у чугунной доски выросли ноги и пошла она в буйном плясе по звонкому полу, стальными каблуками выбивая жаркий танец. Хорошо слушать такие перезвоны в ненастную ночь над заводом.

В шуме ветра Максим слышит глубокие вздохи паровой машины, и в этих вздохах чудится ему чрезмерная ее усталость, вот вздохнет она в последний раз и бессильно опустит стальные руки, — встанут динамо, погаснут электрические лампочки и тьма беспросветная ляжет на завод. Ветер, сорвавшись с привязей, разметает по кирпичикам многоэтажные корпуса.

Кутаясь в овчинный тулуп, вылез Максим в сырую тьму.

У машинного отдела тускло светит лампочка, мотаясь под ветром, как буйная голова в хмельный час. Кирпичная стена то появляется из тьмы, то пропадает, как будто тьма хочет проглотить корпус и не может: давится и выплевывает.

У главных ворот забили часы: два. В четыре сменяться, недолго осталось дежурить. Дождавшись своей очереди, Максим поколотил в кусок рельсы железным болтом и снова залез в будку, закрывшись от водяной пыли широким воротником тулупа. И задремал.

Свистит ветер в щелях, воет где-то под застрехой, неугомонный. А из тьмы вылезает черный и влажный, наклоняется над сторожем.

Лениво полощутся думы в сонной голове:

«Кто?.. Ветер... Кому еще шататься в такую ночь».

Не поднимаются под седыми бровями усталые веки.

Ниже и ниже оседает над заводом небо, вот-вот сломится труба, не выдержит тяжелого груза — что тогда? Пьяной монахиней тащится ненастная ночь, не дойти ей до серого утра.

Сторожу снится родная каморка, воскресное утро, горячие пышки на столе. Дочь Катя будит его:

— Вставай, вставай, самовар скипел, пышки поспели».

Открыл глаза, воротник тулупа отбросил.

«Задремал! Ох, ты грех какой! А часы, может, били... Скажут: спит Максим».

Выбрался из будки, и вдруг испуганно заколотилось сердце: в машинном отделе два окна освещены красным светом.

— Свят!.. свят!..

Протер глаза, — светятся окна.

Сбросил тулуп, спотыкаясь побежал к корпусу.

— Спаси, господи... Что такое?.. Свят!.. свят!..

Ветер срывает одежду, мокрой тряпкой бьет в лицо. Мотается над входом корпуса лампочка, брызжет по лужам бледным светом. Задыхаясь, подбежал старик к окнам, заглянул, и непослушными сделались ноги, не держут дряхлого тела, — пляшут огненные языки на полу, на деревянных подмостках.

— Пожар!.. По-жа-ар!..

Шатаясь, идет Максим к своей будке, а ему кажется: бежит он быстрее ветра, как некогда мальчишкой бегал. В ненастной ночи бьется слабый его крик, заглушаемый ветром:

— Пожар!.. Горим!.. За... вод го... рит!..

В будке в обычном месте нащупал болт, и тревожные звоны, непохожие на часовые переклички, забились в сырой темноте.

«Ох, что же никто не слышит?!. Ох, что же никто не отзывается?!»

А окна машинного отдела ярче и ярче светятся.

— По-жа-ар!..

Услыхали. У главных ворот надрывно заплакал набатный колокол, и со всех сторон откликнулись ему тревожными, необычными криками чугунные доски.

4.

Павла Нечаева разбудила мать. Она была одета наспех в темную юбку и старую ватную кацавейку. Седые волосы выбились из-под ситцевого платка, и мать не подбирала их привычными движениями рук.

— Ты что? — спросил Павел.

— Што-то стряслось. Должно, на заводе. Слышь — шумят?

И только сейчас Павел услыхал с каждым мгновением крепнущий гул казармы: хлопали двери, кричали женщины, плакали разбуженные дети. Кто-то, громко стуча сапогами о цементный пол, пробежал по коридору, крича:

— По... ожар!.. Вста... вай... те!

И бились в окно глухие набатные звоны.

Павел торопливо оделся и, на-ходу застегивая куртку, без шапки, выбежал из каморки. По обеим сторонам длинного коридора распахи-

вались двери, выбрасывая полуодетых женщин, рабочих в расстегнутых пиджаках. На крыльце казармы, кутаясь в большой вязаный платок, стояла Катя Зорина.

— Где горит? — схватил ее за руку Нечаев.

— Не знаю. Никто ничего не знает... Говорят — завод.

— Побежим!

— Нет, я подожду отца, скоро придет со смены.

Мимо казармы мелькали темные фигуры людей, гулко топая, ругаясь и плача. Они походили на вороха гнилых листьев, сброшенных осенью на землю; ветер крутил их по улице, сгоняя в кучу и разбрасывая поодиночке.

— Ну, я побегу.

Ветер подхватил Павла, унес во тьму.

Заревел тревожный заводский гудок. Крикнет и перестанет — и снова, и снова крикнет. Так без конца кричал он, нагоняя тоску и страх. Промчали паровую машину лошади, взбешенные криком и светом факелов. Над темными корпусами зарделось багровое зарево, и дым тяжелым облаком навис над заводом.

У машинного отдела Павел увидал, как из разбитых окон корпуса тянулись огненные руки, шарили по кирпичной стене, горячими пальцами комкали деревянные переплеты оконных рам и, обуглив, бросали на мокрую землю. За провалами окон бились огненные птицы, то низко приседая на полу, то взлетая под самый потолок, крутясь золотыми спиралями.

С каждой минутой росла толпа, освещаемая багровым светом, ненужно суетливая и беспомощная. Прибежали управляющий заводом Хворостов и председатель Совета рабочих депутатов Березкин. Они махали руками, кричали, то подбегая к толпе, то кидаясь к горящему зданию.

— Братцы, помогайте!.. Рукава!.. Сюда рукава! На стояк навинчивай!.. Товарищи, что стоите?.. Помогай!..

От их крика и суматошных движений не было толку. Пожарные сами знали, что нужно делать. Сзади за толпой запыхтела паровая машина, взбухли длинные змеи рукавов, и с хлопаньем вылетели из брандсбоев струи воды.

На крыше двое в медных касках стучали топорами по кровельному железу. В пробитые ими дыры повалил густой черный дым.

— Рукав! — крикнул один, свесившись с краю крыши.

Сзади корпуса, куда еще не дошел огонь, подали рукав.

— Пускай!

Струя воды метнулась на чердак. В слуховое окно пробилось пламя, железная кровля начала коробиться, как подожженная бумага. Пожарные бросили рукав и побежали, нагибаясь и скользя сапогами по жести.

— Слезай, черти... Сгорите!.. — кричали снизу.

Одному удалось добежать до лестницы, и он торопливо начал спускаться, кидая взгляды на отставшего товарища. Желтые клубы дыма скрывали крышу от глаз толпы; когда под порывом ветра дым рассеивался, видно было, как, согнувшись, стоял пожарный, закрывая лицо руками.

— Беги! — кричали ему снизу.

— Сгоришь!

— Ай!.. Ай, батюшки! — взвизгивали женщины.

Вдруг крыша под его ногами сильно покоробилась. Пожарный побежал в желто-черном облаке дыма.

— Кто это там? — спросил Нечаев у стоящих рядом рабочих.

— Алешка, токарь.

— Вот дурной, сгорит ведь...

Рядом с Павлом стояла молодая девушка. Она стягивала на груди большой серый платок и широко раскрытыми глазами, не моргая, смотрела вверх. Ее маленькие красивые губы все время передергивались и что-то неслышно шептали. Пристально посмотрев на девушку, Павел едва узнал Маню Петрову — Алешкину невесту, — так необычно строго было ее лицо. Он хотел тряхнуть ее за плечо и сказать несколько бодрых слов, как вдруг толпа ахнула. Пожарный на крыше поскользнулся и упал; докатившись до жолоба, он вцепился в него руками. Пушистыми лисьими хвостами завивался вокруг жолоба огонь. Черная фигура в медной каске корчилась в огне, пытаясь встать.

В толпе в припадке забилась женщина. Павел снова взглянул на Маню. Ее лицо было бело, как бумага, губы плотно сжаты, а глаза, широко раскрытые, смотрели на черную фигуру в огне.

Алешка в последний раз судорожно передернулся, разжал руки и, тяжелым мешком перевалившись через жолоб, упал вниз.

— А-а-а-а-а! — дико закричала Маня и смолкла; закрыв глаза, медленно повалилась на землю.

Толпа всколыхнулась, зашумела. Рабочие окружили черное тело у стены, женщины нагнулись над Маней.

— Воды!

Мальчишка принес в картузе воду и вылил на голову девушки. Она открыла глаза, забилась мелкой дрожью, и пена выступила на посиневших ее губах.

— Лошадь!

— Дьяволы! — закричал жуткий голос. — Лошадь! Человек помирает!

Подкатил полок. На нем темным комом лежал Алешка. На медной его каске вспыхивали красные отблески огня. Девушку положили рядом, и лошадь пошла между двумя расступившимися стенами людей...

Огонь бушевал яростней. Часть стены на третьем этаже вдруг качнулась и с глухим гулом рухнула вниз, открыв огромную зияющую дыру.

— Двери!.. Двери!.. — закричал управляющий, бегая у паровой машины. — Точильный отдел займется!.. Двери!

Машинный и точильный отделы находились в одном корпусе, разделяемые железной дверью. Этой дверью огонь мог перекинуться в точильные мастерские.

К управляющему подбежал Березкин.

— А, может быть, она закрыта?

— Нет же, я знаю... Я проходил после работ по отделам.

— Ну вот, не смотрите за делом...

— Братцы! — метался в толпе Хворостов. — Братцы!.. Как же так?.. Может, кто закроет?.. Награды сто рублей выхлопочу у Акима Никитича... Братцы!..

Толпа молчала. Кто-то тихо сказал:

— Ишь, ловкий какой... Жисть дороже ста рублей. Сам попробовал бы.

— Ведь встанет завод, — куда пойдете?.. Эх, вы-ы!..

Нечаев пробился из толпы к машине. Он не сознавал, что делает: шум пожара, гул толпы, жуткий крик Мани Петровой, Алешка, черным комом падающий с крыши, — переплелись клубком горячих образов, туманящих сознание, гнавших буйными толчками кровь.

— Я пойду!.. Ну-ка, обдайте водой!

Чьи-то торопливые руки вылили на него несколько ведер воды, и Павел, вздрогнув от внезапного холода, побежал вдоль корпуса к точильному отделу. У окна, запудренного изнутри белой пылью, он остановился и, ударив несколько раз топором, вышиб переплеты рамы. Как очутился в руках топор, Павел не помнил: сунул ли пожарный, вырвал ли у кого сам.

Из окна валил удушливый серый дым. Нечаев влез на подоконник и спрыгнул вниз.

Двери, соединяющие точильный отдел с машинным, были на втором этаже. По гулкому в пустом корпусе полу Павел вышел на лестничную площадку и по каменным ступеням вбежал на второй этаж. Здесь дым лежал толстыми пластами от потолка до пола. Сделав несколько шагов, Павел задохнулся. Легкие жадно потянули воздух, но грудь и горло наполнились горьким, противным дымом. Быстрыми молоточками застучала в висках кровь, железный обруч крепко стянул голову, и в ушах послышались колокольные звоны.

«Неужели в церкви набат?» — подумал он.

Быстро пробежал несколько шагов, и легкие, выдохнув дым, снова судорожным движением груди захватили его. Павел зашатался, ухватился рукой за чугунную колонну, но колонна рванулась в сторону — и он упал. По полу текла струя свежего воздуха. Нечаев медленно пополз вперед, касаясь лицом досок, жадно вдыхая воздух вместе с белой фарфоровой пылью. Иногда клубы дыма падали на него тяжелым облаком. Тогда он лежал неподвижно, тихо дышал, закрывая рот и но-

подолом мокрой рубахи. Ему казалось, что он ползет уже несколько часов. Внезапно в его сознании вспыхнула мысль: «Я сбился с дороги, я ползаю взад и вперед по корпусу». Павел вскочил на ноги и, тут же задохнувшись, упал. Впереди стена бросила в лицо тучи дыма. За дымом где-то далеко мелькнули тусклые ленты огня.

«Дверь!»

Лежа на полу, он помахал перед лицом руками, разгоняя дым, но от этого дым повалил гуще. Павел с трудом протащил вперед свое тело, и правая рука его наткнулась на теплое железо. Слабеющими пальцами он вцепился в край двери и потянул ее. Дверь легко можно было закрыть одной рукой, но сейчас она была неимоверно тяжелой. Напрягая все силы, он оттянул дверь от стены и, переменив положение рук, стал толкать ее вперед; она не поддавалась. Тогда Павел лег на спину, ударяя по железу ногами, толкал дверь. Гарь и дым уменьшились. Подняв голову, Павел не увидал впереди желтого огня.

«Закрыл!»

Скользя пальцами по железу, он нащупал щеколду и повернул ее. Сил больше не было. В голове гудели далекие звоны, и невидимый обруч сильнее стискивал виски.

К утру пожар затих. Павла Нечаева нашли у разбитого окна в нижнем этаже точильного отдела. Он лежал, широко раскинув руки, и хрипло дышал.

5.

Под вечер Нечаев вышел из больницы. Идя в казарму мимо школьного сада, потом улицей поселка, он с любопытством оглядывался по сторонам, будто возвращался в родные места после долгого отсутствия. В саду распускались тополи, молодая клейкая зелень брызгала из лопнувших почек. От тополей тянуло свежим запахом листвы, и Павел, проходя мимо желтого палисадника, глубоко и медленно дышал.

У казармы на ступенях крыльца и на скамейках сидели рабочие. Женщины лущили подсолнухи и по-сорочьи, торопливо и громко, разговаривали. Мужчины играли в карты — «в козла». Играющих окружали зрители с папиросами и цыгарками в зубах. Они заглядывали в карты, перемигивались, толкали друг друга локтями. Трудовой день заканчивался обычным вечерним отдыхом и развлечениями: картами, подсолнухами, разговорами.

Заметив подходившего Павла, ожигальщик Ефим Дудкин крикнул громко:

— Ребята, гляди — Нечаев идет!

Все головы повернулись и посмотрели на Павла. Играющие бросили карты. Женщины прекратили сорочью трескотню. Лица у всех подобрели, осветились улыбками. Окружив Нечаева, рабочие совали ему руки и, перебивая друг друга, говорили:

— Ну, как — вышел из больницы?

— Вот он, глядите на него!

— А мы так и думали: сгорел Нечаев.

— Ну и чорт ты, Пашка!

— Молодец!

— Мы так и думали: сгорел Нечаев.

Павел пожимал руки, улыбался и через головы рабочих смотре на женщин, ища среди них Катю. Не увидав девушки, сказал:

— Ну, я пойду в казарму. Нонче пораньше лягу, слабость все еще чувствую, а завтра на работу думаю выйти.

По лестницам и коридору, обгоняя Павла, побежали мальчишки

— Нечаев идет!.. Нечаев идет!..

Очевидно, слух о его подвиге облетел все каморки и вскружил головы казарменным ребятам.

В коридоре второго этажа встретилась мать. Она шла в кухню в правой руке держа коробочку с малиновым напитком, а в левой — жестяной чайник.

— Ну, ты, ерой... Бить-то тебя некому. Иди в каморку, сейчас чаю принесу.

Павел знал: мать любит его, но всегда прикидывается сердитой и недовольной. Он улыбнулся и сказал, будто не был дома целый год:

— А ты все такая же, мать.

У каморки Зориных стояла Катя, она улыбнулась Павлу, шепнула:

— Приходи сейчас ко мне, я одна, отец дежурит.

Нечаев хотел обнять девушку, но она вырвалась, сердито бросив:

— Ты что, с ума сошел, увидят, — и быстро юркнула за дверь.

Мать принесла кипятку, мелко наколола щипчиками сахар и, налив в чашки чаю, сказала:

— Садись... Ох, господи-батюшка!.. Што жа теперь будет-то, Паша? У нас в казарме толкуют: месяц проработает завод и встанет. Откуда массу брать? Чем работать?.. Хозяина ждут, што он скажет... Ходят все как в темноте, тыкаются из угла в угол, а за что приняться — не знают.

— А Иван Семеныч что говорит?

— Иван Семеныч чудной какой-то стал, из каморки не вылазит... И то сказать: сколько лет в машине работал, до кажнова доведись — нелегко.

— Что-нибудь придумают, не дадут заводу погибнуть. Теперь не старое время.

— То-то и беда, што не старое время. В старое-то время мы нешто так жили?

Павел почувствовал, что сейчас мать начнет расхваливать старое житье, бранить новое, и, зная, что ее не убедишь никакими доводами, что она начнет сердиться и кричать, как будто лично ей нанесена какая-то очень большая обида, встал из-за стола.

— Пойду к Кате загляну.

Старуха громыхнула чашкой.

— Скушно с матерью-то? Ступай к своей балоболке.

Катя встретила Нечаева словами:

— Нашелся один такой, показал храбрость: в огонь полез!

Зорина говорила насмешливо, но по зардевшемуся ее лицу Павел видел, что она гордится его поступком. Усмехнувшись, спросил

— Значит я по-твоему плохо сделал?

— Плохо — не плохо, а обо мне не подумал. Каково мне без тебя было бы, леший?

Павел сел на стул у окна; девушка, нагнувшись сзади, прижалась грудью к его спине.

— Что о тебе не подумал — зря... Тут другое... Ты знаешь, какой я горячий, не удержишь. И в этот раз подхватило и понесло... Будто не я, а другой кто-то дверь закрыл... Не помню, как в больницу меня привезли... А ты вот тоже не подумала обо мне: не навестила в больнице.

— Была, была... Утром чуть свет прибегала. Ты спал.

Она гладила его щеки, порывисто и часто дыша.

— Эх, Катька!

— Что?

— За тебя ведь в огонь полез... Подумал: как жить она будет, если завод сгорит, — и кинулся.

— Поди, все врешь?

— Связалась со мной, — не выпущу, никому не отдам.

— Ой ли?

— Верное слово.

— Смотри: запугаешь!

— Осенью поженимся. Сейчас неудобно, будут говорить: «Завод погибает, жрать скоро нечего будет, а они свадьбы играют». Подождать придется.

— А пусть говорят!

— Нет, неудобно.

— Молвы боишься?

— Ты знаешь меня: боюсь иль не боюсь молвы. Сам чувствую: подождать надо. Ну, будя об этом. Скажи лучше, как Маня? При мне она на пожаре упала.

— Из больницы еще не приходила... Не знаю.

Нечаев почувствовал в голосе Кати холодок и, подойдя к двери, повернул в замке ключ.

— Ты что?

— Поцеловать тебя хочу, не вошел бы кто, не увидал.

— Подожди до осени.

Девушка прошла по комнате, хмуря брови, потом села на кровать, завешанную розовым пологом, сказала:

— Ну, иди уж...

Обнаженные по-локоть руки обняли шею Павла, запахи скипидара и пудры взвихрили мысли. Нечаев целовал лицо Кати, до боли стискивая ее плечи.

— Катя!

— Довольно, уходи!

— Катя, все равно, ведь мы поженимся!

— Пусти... не хочу я... Оставь!

Она оттолкнула парня и встала. Густо покраснев, поправляла растрепавшиеся волосы.

— Значит ты не веришь мне?

— Верю всякому зверю, а ежу — погожу... Ну ступай, скоро отец придет с дежурства.

Павел оправил рубашку и молча отпер дверь.

— Паша, — позвала девушка, — Паша, ты не сердись... Лучше подождать... Милый ты мой...

Широко раскрытые глаза ее были наполнены слезами.

— Не сердись, милый... Ты знаешь, тебя одного люблю.

— Эх Катька!.. сказал Павел и, нахмурившись, вышел из каморки.

6.

Маня Петрова родилась и выросла в суматохе и шуме большого завода. Девчонкой, бегая у заводских корпусов, она собирала черепки, раскрашенные золотом, разрисованные невиданными цветами; эти черепки были единственными ее игрушками. На задворках, в зарослях бузины, она строила из них домики с голубыми стенами и красными крышами; белыми осколками устилала дорожки от сказочных домиков к волшебным садам и озерам, выложенным по дну и берегам розовым и зеленым фарфором. Когда Мане исполнилось двенадцать лет, — как раз в день ее рожденья, — умер отец, и через неделю после его смерти мать повела дочь в живописную мастерскую, дала кисть и начала учить писать по фарфору. Девочке понравились веселые работницы, огромная мастерская, длинные столы, заваленные чашками, блюдцами, чайниками; она полюбила запах скипидара, на котором растирали краски; шпахтель и кисти казались ей интереснее детских игр. Четыре года проработала она вместе с матерью, потом у Аниськи заболели глаза — и она не могла больше работать. На завод ходила одна дочь, а мать вела домашнее хозяйство. У матери появилась новая забота: выдать дочь замуж. Она видела, что вот уже несколько лет дочь живет своей особой жизнью, куда не доходят материнские советы и наставления. Ей не нравилось, что Маня поздно приходит с гулянья, читает книжки; она чувствовала: книжки и ночные гулянки до добра не доведут. А когда заметила, что дочь гуляет с озорным токарем Алешкой, не удержалась, сказала:

— Смотри, Манька, как бы тебе не заплакать, — бойка очень!

— Ладно, знаю, что делаю. Пожалуйста, не учи.

Мать замолчала. О том, что дочь беременна, она узнала только на третий день после пожара.

Случилось это ночью. Маня спала, укутанная ватным одеялом; она не вставала с постели с тех пор, как пришла из больницы, не говорила с матерью, отказывалась от еды и только жадно пила холодную воду. За окном ярко полыхали над заводскими крышами огни горнов. Каморка освещалась красным светом, белые занавески казались алыми; небо в окнах над занавесками было багряно, как зарево пожара. Анисья поставила на табуретку возле постели кружку воды, разделась и, подойдя к иконам, начала молиться. Положив обычное число поясных поклонов, прошептав нужные молитвы, она опустилась на колени. Внезапно за ее спиной раздался крик. Анисья не успела встать с пола, — дочь бросилась к ней, цепко охватила обнаженными руками ее плечи. Обернувшись, мать увидала широко раскрытые глаза девушки, оскал розовых зубов и черные косы, рваными лентами ползущие по груди и рубашке.

— Господи, господи... Что ты?.. Тише, тише...

Сухой рукой она зажимала ее рот, боясь, что крики услышат в соседних каморках.

Маня билась на полу, протягивая руки к ярко освещенным окнам.

— Тише, тише... — шептала старуха, прижимая к груди голову дочери. — Господь с тобой, успокойся...

Схватив с табуретки кружку, поднесла к губам девушки.

— Испей водицы.

Громко ляскали о фарфор зубы, и вода плескалась в дрожащих руках.

— Что с тобой, касатка? Что тебе попритчилось?

— Опять... опять пожар!.. Опять пожар!.. — Маня кивала головой на розовые занавески. — Опять Алешка упадет!

— Что ты, господь с тобой!.. Какой пожар? Это горны жгутся, горны... Что ты, глупая? Ну, посмотри...

Она подтащила дочь к окну и отдернула занавеску.

— Ну, смотри... Ну, сама смотри... Видишь — горны.

Маня, вцепившись в подоконник, долго смотрела на два огненных столба, потом тихо заплакала, опустив голову на колени матери. Так сидели они на полу, освещаемые багровым светом. Мать гладила голову дочери, шептала ласковые слова, как некогда шептала их у ее колыбели.

— Ну, что он, — вышел? — спросила девушка.

— Кто? — не поняла мать.

— Кто, кто?.. Алешка. Не понимаешь, что ли?

Лицо матери жалко скривилось, — она не знала, что ответить.

— Ну, что же ты молчишь? Значит все еще в больнице?

И тут заметила: опустила голову и прячет глаза свои мать. Крепко схватила ее руки, вскрикнув:

— Маменька, скажи правду!.. Скажи правду!.. Не бойся, — я ничего. Скажи, скажи, а то хуже измучусь...

— Ох, касатка... Умер Алешка-то... Мертвенького привезли его в больницу.

Маня улыбнулась.

— Врешь ты, мать... Как же он умер, когда мы скоро повенчаться должны? Выдумываешь, нас разбиваешь... Куда же я с ребеночком денусь?

— С каким ребеночком? — вздрогнула Анисья.

— С каким, с каким... Не знаешь, что ли?..

Мать хотела завопить, с бранью накинуться на дочь, но, взглянув в лицо девушки — такое незнакомое и жуткое, — пригладила растрепавшиеся ее волосы и тихо сказала

— Ты легла бы, дочка... Пойдем, я тебя укрою. Завтра потолкуем.

— Значит обманываешь?

— Что хорошего нашла ты в Алешке? Не думай о нем. Не такого тебе жениха надо.

— Опять свое... За что ты его не любишь?

Уложив дочь в постель, Анисья до утра просидела на табуретке, концами головного платка утирая с дряблых щек горькие слезы.

7.

Жизнь рабочего поселка вне заводских дел была заполнена постами, молебнами, лампадами, старыми раскольничьими книгами. Властным руководителем и наставником этой жизни был Аким Никитич Карпухин. Он любил показать себя верующим и всегда, приезжая на завод, посещал церковь. Стоял он у свечного ящика и во время службы сам торговал свечами. Истово крестясь размашистым, староверским крестом, Аким Никитич внимательно оглядывал молящихся. Он умилялся, замечая, что в его присутствии поп старается служить возможно торжественнее, а певчие протяжнее и рыдающе тянут беливские напевы; он чувствовал себя окруженным верными людьми, видя в церкви всю заводскую администрацию. На высокие заводские должности Карпухин назначал старообрядцев. Каждую субботу и воскресенье управляющий, бухгалтер и заведующие отделами, надев длинные кафтаны, — или «сорокомученицы», как называли эти кафтаны за сорок складок, собранных сзади, — шли в церковь. Подражая администрации, заискивая перед ней, ходили в церковь и рабочие. С малых лет, в школе и церкви, их воспитывали в духе верноподданичества государю, в страхе божием и почтении к начальству. Взрослым праздниками читали в школе патриотические сказки о подвиге Ивана Сусанина, о крещении Руси и о том, как солдат спас Петра Великого от смерти у разбойников, сопровождая чтения туманными картинами. Летом в церковной ограде происходили «беседы»: на высоком помосте сидели православные и старо-

обрядческие попы, приезжий миссионер, толковники начетники, спорили: чья вера правильнее, двумя или тремя перстами нужно креститься, дважды или трижды петь аллилуия, посолонь или встречь солнцу ходить крестным ходом вокруг церкви. Рабочие густой толпой стояли у помоста, смотрели на толстенные книги толковников, на брызжущие текстами рты миссионера и начетников и по окончании «беседы», — когда спорившие расходились, ни до чего не договорившись, — сами в казармах продолжали споры.

Очень умело рабочим прививали интересы, совпадающие с интересами фабриканта, очень искусно скрывали от рабочих то, что нужно было скрыть, и показывали то, что необходимо было показать. Если же на заводе появлялись люди, которые не ходили в церковь, на воскресные чтения, «беседы» и по-своему смотрели на жизнь, то — за умение видеть, что не нужно, и за непотребные речи — таких людей немедленно удаляли с завода, в чем ревностно помогали урядник и становой пристав.

С особой же доброжелательностью фабрикант относился к людям, перешедшим в старообрядчество из православия. Таких людей он приближал к себе, всячески им благодетельствовал. Одним из таких людей был Иван Семеныч Шумов. Когда — много лет назад — он пожелал принять старую веру, хозяин постарался узнать, какие причины заставляют Шумова уйти из православия, нет ли в этом поступке корыстных целей. Убедившись, что корыстных целей у Шумова нет, Аким Никитич сам облагодетельствовал его: сделал смотрителем, а сына на свои средства отправил в Москву учиться. И всю жизнь Иван Семеныч чувствовал себя в неоплатном долгу у Карпухина. Жил смотритель в той же казарме и в том же коридоре на втором этаже, где и Маня Петрова. Жил одиноко, незаметно, вместе с пятнадцатилетней Зойкой, дальней своей родственницей, которую воспитывал. Вернее, не он, а она заботилась о нем: готовила обед, мыла пол, праздниками пекла пироги и во время обеден и вечерен зажигала в переднем углу зеленые и розовые лампадки, свисающие с потолка на фарфоровых подставках в виде распластавших крылья голубей. Иван Семеныч строго соблюдал посты, каждый праздник и накануне праздника ходил в церковь, где на левом клиросе подтягивал певчим надтреснутым, старческим голосом. Он любил принять в своей каморке попов, после молебна угостить их чаем и побеседовать о божественном. Однообразие тихой его жизни изредка нарушали письма сына. Иван Семеныч внимательно по нескольку раз прочитывал каждое письмо и долго после надоедал соседям:

— Инженером Борис-то заделался... Дай бог здоровья Акиму Никитичу, он его в люди вывел...

Революция, вздыбив корпуса и казармы, наполнила сердце Ивана Семеныча смятением и страхом, — ему казалось: завод охвачен горячечным бредом, люди кричат, суетятся, что-то ищут, а что — не знают сами. Бегут к пропасти, не видя ее.

После пожара одной надеждой жил Иван Семеныч: вот явится Аким Никитич, покричит в корпусах и мастерских, тряхнет миллионами — и вырастет новый корпус, загудят новые машины, и рабочие поймут, что хозяин — единственная защита и благодетель их. И опять под зорким хозяйским взглядом полным ходом пойдет завод. Но в то же время чувствовал Иван Семеныч, как его сердце наполняется страхом и горечью. А что если обманул хозяин? А что если кто догадается?.. Встречаясь с рабочими, он подозрительно оглядывал их и торопился уйти. В бессонные ночные часы красные отсевы горнов напоминали ему пожар, смерть Алешки, беспомощную толпу, причитанья и вопли женщин.

Зойка, спавшая на полу у печки, слышала, как шептал молитвы и тяжко вздыхал старик; видела, как сползал он с койки и на коленях подолгу молился.

Иногда смотрителю казалось, что его преступление открыто, что кто-то видел, как он пробирался узкими проходами между корпусов. Старик вскакивал с постели и слушал. По каменным плитам коридора четко стучали тяжелые шаги. Он замирал, боясь пошевельнуться, удерживая шумное дыхание. Шли минуты, шаги становились менее слышны, но так же равномерно и отчетливо стучали они. Наконец старик убеждался, что в коридоре никого нет, а ровно и сухо стучат в тишине часы. Их тиканье продолжало волновать. Смотритель подходил к стене и останавливал маятник. Но и после этого долго слышался в комнате жуткий стук.

Иван Семеныч опускался перед лампадками на колени и в жаркой молитве изживал свой страх. Горячо просил старинную икону, тускло блестевшую позолоченной ризой:

— Господи, помоги... Наставь безумцев на путь истинный. Подай, господи, Акиму Никитичу поскорее построить корпус. Подай, господи, поскорее...

8.

Совет рабочих депутатов помещался в бывшей мастерской живописного отдела, на втором этаже дряхлого — с кирпичным низом и деревянным верхом — здания. Маленькие оконца второго этажа перекосились от времени, днями тускло поблескивали зеленоватыми стеклами, а вечерами скупо освещались желтым светом.

С неприязнью и горечью в душе посмотрел управляющий на освещенные окна и начал медленно подниматься по скрипевшим ступеням. Лестница была неосвещена, пахла сыростью, кошками, застарелым запахом скипидара. И в темноте вдруг почудилось Хворостову, что будет он подниматься по этой, может быть бесконечной лестнице многие дни, месяцы, годы... Через определенное количество ступеней появятся в густых и черных его волосах седые нити, лицо исхлещут морщины, взгляд потускнеет и кровавые прожилки изузорят белки глаз; еще определенное количество ступеней — и сердце заработает неуверенно, с пе-

ребоями, как паровая машина, отжившая положенный ей срок; еще тысяча, сотня, десяток, — и вот, наконец, дряхлое тело вступит на ту роковую ступень, которой предназначено принять холодеющий труп. Лука Лукич глубоко вздохнул, и нога его, занесенная над ступенью, неприятно оступилась, качнув вперед туловище. «Чтоб ему провалиться, этому Совету рабочих депутатов! — подумал управляющий. — Голову свернешь из-за этих крикливых и ненужных собраний». Он прислонился к двери, обитой войлоком, утихомирил беспокойное биение сердца и нащупал скобку.

В заброшенной, неуютной мастерской клубами плавал махорочный дым; за столом, покрытым дешевым кумачом, стоял Березкин, а на скамьях, наставленных как попало, сидело человек двадцать рабочих. Среди них Хворостов заметил химика Беренса и смотрителя Ивана Семеныча Шумова. Беренс улыбнулся управляющему, Иван Семеныч низко поклонился, привстав со скамьи; остальные сидели молчаливые и неподвижные. Березкин, перебросив взгляд от кумача в лицо управляющего, сказал сурово:

— Гражданин Хворостов, вы опоздали на сорок минут. Делаю вам замечание... А если и в дальнейшем с вашей стороны будет появляться такая халатность, мы примем меры.

Лука Лукич густо покраснел, пальцы правой его руки сложились в кулак, губы дрогнули, и было похоже, что сейчас по-старому грозно разразится гневом вершитель заводских судеб, но, выдавив на своем лице улыбку, он сказал: «Очень извиняюсь, дела задержали» — и, подойдя к Беренсу, сел рядом с ним на скамью.

Березкин откашлялся, погладил ладонью лежавший перед ним лист бумаги и, не поднимая взгляда от этого листа, заговорил, продолжая прерванное приходом управляющего:

— И вот я еще раз повторяю сегодня на этом собрании: нам нужно решить, за что мы должны приняться. Химик нам доложил, что фарфоровой массы в подвалах завода хватит на две недели, не больше... А потом что? Встанет точильный отдел, за ним — горновой, потом — сортировочный, потом — живописный... развалится завод, три тысячи рабочих останутся без заработка, без куска хлеба. Мы должны... нам нужно сейчас заслушать предложения... мнения управляющего и химика. Они больше нашего смекают в этом деле. Пусть они скажут, что нужно сделать для восстановления завода. Как скоро к этому делу можно приступить? Как скоро можно закончить? Когда заработает новый машинный отдел? На эти вопросы мы должны потребовать ответа у нашего хозяина, а за его отсутствием у нашей... сидящей... присутствующей здесь администрации. Тут некоторые говорили, что, может быть, хозяин не захочет восстанавливать завод, что на это нужно затратить крупные суммы...

Березкин окинул присутствующих взгядом, выдержал паузу и заговорил громче, стуча пальцем по столу:

— Это, товарищи, другой вопрос. Здесь мы должны решить, ч т о нужно сделать для восстановления завода, а к а к мы будем это делать —

мы поговорим с Карпухиным. И я ду-ма-ю — он не посмеет отказаться... Власть наша, мы заставим!

Улыбка чуть тронула губы Беренса, но он быстро смахнул ее, сдвинув брови и солидно откашлявшись.

Лука Лукич, как школьник, приподнял руку, держа ее на уровне груди, и попросил слова.

— Я уже сделал, — сказал он, — соответствующие распоряжения заведующему сороительным отделом. Он при помощи Фрица Карловича,— управляющий кивнул в сторону химика, — в настоящее время составляют проект и сметы на постройку нового машинного отдела. Мною сделано все, что можно было сделать. Уже производится расчистка сгоревшего здания. Однако я должен предупредить настоящее собрание: мною получено из Москвы от правления фабрик Карпухина уведомление в том, что на-днях приезжает комиссия, которой поручено решить: нужно или не нужно восстанавливать завод. И поэтому преждевременно...

Хворостову не дали договорить, со скамей послышались выкрики:

— Комиссия?! Какая комиссия?!

— Головы крутить!

— Пусть приезжает, мы ей пока-жем!

— Да што жа это такое?! Кто нам смеет указывать?!

Березкин, помахав рукой, затушил горячие выкрики.

— Объясните, гражданин Хворостов, про какую такую комиссию вы упомянули?.. Скажите... доложите об этом собранию.

Лука Лукич опешил от внезапно вспыхнувших криков, от возбуждения рабочих; он внимательно оглядел лица членов Совета и в каждом нашел что-то новое, чего никогда не замечал раньше. Вон, недалеко от окна, сидит горбатый точильщик Терентий Силин. Всегда тусклые глаза точильщика сейчас горели каким-то внутренним огнем; густые черные брови сдвинулись, положив на переносье суровую морщину; резко очерченные губы плотно сомкнулись, и заметно было, как Терентий стискивает челюсти, будто что-то жует, — отчего на его скулах играли желваки. Позади Силина на подоконнике сидел Нечаев. И его лицо показалось незнакомым. Может быть, насмешка, кривившая губы, а может быть чистая рубаха и низко надвинутая на глаза кепка так меняли это лицо. И на кого бы ни бросил свой взгляд Лука Лукич, каждый казался ему странно-новым и немного жутким. Жутким от мысли, что вот он, Хворостов, пятнадцать лет управлял заводом, сотни раз видел каждого из этих рабочих и только сейчас, в этой заброшенной мастерской разглядел их по-настоящему. В прошлом тысячи людей приходили к нему с просьбами и жалобами, и у всех у них были одинаковые серые лица и серое, запудренное фарфоровой пылью, платье; одинаково почтительны были голоса и робки преданные взгляды. Будто не люди проходили перед ним в прошлом, — в очень недалеком прошлом, — а неотъемлемые, живые части мастерских, — машины, призводящие товар. И сейчас, изумляясь, наблюдал Хворостов, что каждый из присутствующих здесь

резко отличается от своего соседа и каждый разное таит в своей душе и думает какие-то свои думы.

— Доложите собранию о комиссии, — повторил Березкин.

Лука Лукич отер платком вспотевшее лицо.

— Я думаю, что правление руководствуется следующими соображениями... Вы знаете, какое время мы переживаем: население голодает, промышленность катастрофически падает. Машины изнашиваются, заменить их нечем... Есть заводы и фабрики, которые нужно поддержать в первую очередь: это заводы металлургические, фабрики текстильные. В настоящий момент важнее наработать миллионы аршин сукна, ситцу, чем миллионы фарфоровых чашек и чайников... Это одно соображение. Второе: недостаток сырья — шпату, кварцу, каолину, керамических красок. Ну что же, восстановим завод, бросим на него огромные средства — и все-таки он не сможет работать... Это не моя точка зрения, — я предполагаю, что так думает правление.

— А что вы лично думаете? — спросил Терентий Силин, тяжело шевельнув горбом, будто поправляя висевшую на спине суму.

— Лично я думаю, что завод нужно восстановить. Мы не только посуду вырабатываем, мы даем высоковольтные и низковольтные изоляторы. В этом направлении работа нашего завода считается ударной, и прекратить эту ударную работу было бы нелепо...

— Дай мне сказать, — тряхнул головой Терентий и по-ребячьи, бочком, слез с высокой скамьи. Он заговорил медленно и тихо, но очень скоро огонь, полыхающий в его душе, бурно вырвался наружу и опалил слушателей огромнейшей любовью точильщика к заводу и ненавистью ко всему, что пытается причинить зло родным корпусам и казармам.

— Вот управляющий упомянул о какой-то там комиссии. Из Москвы, дескать, приедет комиссия и решит: закрыть завод или не закрыть. Я спрашиваю: кто может распоряжаться нашим заводом? Нашим!.. Мы, наши отцы и деды работали на нем. Я сам с двенадцати лет пошел работать, чахотку, ча-хот-ку получил, а кто-то приедет и распорядится: «Закрывайте завод!.. Выкатывайтесь из казарм!» Да я горло перегрызу тому, кто это скажет! Кишки выпущу!.. Я подыхать буду, а сам, своим горбом, начну таскать кирпичи на стройку. Я сдохну... сдохну, а с завода не уйду!.. И сегодня нужно решить: завод восстановить! Комиссия скажет: «Не восстанавливать», а мы скажем: «Восстановить!». И восста... восста... но...

Силин закашлялся, горб заходил на его спине, грудь с хрипом хватала воздух. Передохнув, он махнул рукой и, тяжело подойдя к подоконнику, навалился на него грудью и долго глухо кашлял.

Лука Лукич, исподлобья посматривая на Березкина, с трудом сдерживал негодование. Эх, если бы можно было топнуть на председателя и крикнуть: «Вон!» Но трусливый Березкин не убежит, он чувствует, что его поддерживает какая-то огромная и страшная для управляющего сила. Теперь бывший табельщик, встречаясь с Хворостовым, смотрит на него, прищурив глаза, и ждет, когда управляющий первый снимет фуражку.

Вот если бы Аким Никитич поскорее приехал на завод, — он сумел бы одернуть председателя Совета и, крепко забрав в волосатые свои руки вожжи управления, осадил бы заартачившиеся мастерские. Но где-то в тайниках сознания беспокойно копошилась мысль: «А, пожалуй, теперь и сам Аким Никитич ничего не поделал бы». Слишком много воли забрали, сбившись спанталыку, корпуса; не такими вожжами нужно управлять ими, какими управляли десятки лет; как-то по-новому нужно переделать всю заводскую упряжь, новые выдумать уздечки, подковки, хлыстики... И была еще упорная и нудная до тошноты мысль: «А хозяин-то где?» Лука Лукич вспомнил полученное утром секретное письмо, в котором московское правление заводов Карпухина сообщало о приезде комиссии и о том, что фабрикант неизвестно куда скрылся. С необычайной ясностью припомнил управляющий тот день, когда он впервые после пожара вошел в кабинет хозяина, увидел на столе оплывший огарок свечи, пепел сожженной бумаги, под столом в корзине мелко разорванные документы и письма. Было похоже, что Аким Никитич хотел что-то скрыть, уничтожить.

Звонкий голос Нечаева привлек внимание управляющего.

— Чудно мне слышать насчет комиссии, — говорил Павел, и губы его кривились нехорошей усмешкой. — Мы знаем, товарищи, что власть перешла в руки рабочих и крестьян... так сказать, власть в наших руках, а кто-то будет приезжать и распоряжаться нами. Я на пожаре в огонь кинулся дверь закрывать. Ведь не за сто рублей я побежал на смерть, — я завод побежал спасать. И нешто теперь я допущу закрыть его? Я согласен с Терентием Петровичем Силиным: бороться нужно; так сказать, отстаивать... Вот!

Еще двое говорили о необходимости восстановления машинного отдела, и председатель решил уже проголосовать этот вопрос, как вдруг молодой живописец Петька Рушнов вздыбил собрание вопросом:

— А пусть управляющий скажет: почему хозяин до сих пор не едет на завод?

9

Неизвестно откуда появившиеся слухи о том, что хозяин не хочет восстанвливать завод, будто бы работающий в убыток, смущали Ивана Семеныча Шумова. Днями он пытался убедить себя, что все эти слухи — вздор. «Ну откуда же могут знать, — рассуждал старый смотритель, — что думает Аким Никитыч? Задержался он на какой-либо из своих фабрик, замедлил приездом, а тут не дай бог что раздувают. Не бросит хозяин своих рабочих. Его уважают, плохого ему не хотят, а на молодежь, что кричит: «Долой!» и «Да здравствует!» — нечего обращать внимания». Днями смотритель бодрился, убеждал себя в правоте своих рассуждений, а ночами лезли в голову сумасшедшие мысли: «А что если и впрямь обманул хозяин? А что если он завод на погибель бросил, тысячи рабочих по миру пустил? Кто тогда в ответе перед богом и людьми? Я... Моими руками совершено это дело».

Ко всему, что говорилось на заводе и в казарме, смотритель чутко прислушивался, будто искал сокровенную какую-то правду в потоках людских речей. Он ходил в главную контору, в Совет спрашивал:

— Ну, что нового?

Но все, к кому он обращался, или пожимали плечами, или говорили:

— А мы думали: ты сам что-нибудь скажешь. У тебя сын в Москве, может сообщил что.

По нескольку раз в день старик приходил на пожарище и подолгу смотрел на черные груды углей, искривленные валы, прогнувшиеся железные балки, закопченные кирпичные стены. Он не разговаривал с рабочими, разбиравшими горелый лом, а, отойдя в сторонку от людей, старался возможно ярче представить себе сгоревший отдел. В закопченных этих стенах, вон у того угла, стояли пресса, а вот здесь, ближе к выходу, — барабаны; недалеко от барабанов помещались кабинет химика и его, смотрителя, комнатка, а где сейчас лежат растрескавшиеся жернова, громыхали бегуны, перемалывая шпат и кварц. Иван Семеныч старался представить себе и новый машинный отдел, который в скором времени должен будет построить хозяин. В новом этом отделе барабаны, пресса, трансмиссии расположатся так же, как и в старом, но будет в нем значительно просторнее и светлее. Может быть, придется выломать одну стену и сделать пристройку, чтобы расширить отдел. Иван Семеныч начинал думать о том, что в этой пристройке поместить. То ему казалось, что хорошо бы в новом помещении установить бегуны и барабаны, то казалось удобнее разместить пресса.

Однажды на пожарище он встретил управляющего. Лука Лукич подошел к смотрителю, протянул ему руку, ласково спросил:

— Ну что, Иван Семеныч, — жалко родное-то?

Иван Семеныч, наклонив голову, ответил тихо:

— Жалко, Лука Лукич, так жалко, что...

Голос старика дрогнул, и он, махнув рукою, отвернулся, скрывая заблестевшие на ресницах слезы.

— Ничего, не кручинься: все рушится — и все созидается. Вот, поверь моему слову, — лучше прежнего отдел построим.

— Я и не знаю, чего это Аким Никитич медлит, — оживился смотритель. — Ждут его, а он не едет. Пора бы за дело приниматься. А то смущение одно: болтают по казармам нивесть что, будто бы не хочет хозяин машинный отдел строить.

И, насторожившись, спросил:

— Вы, Лука Лукич, на этот счет ничего не слыхали?

— Нет, ничего не слыхал, зря болтают.

Но по торопливости, с которой отошел управляющий, старик понял, что и Хворостов смущен долгим отсутствием хозяина, что и он колеблется, не зная — верить или не верить казарменным сплетням.

Повестка, приглашающая на собрание Совета рабочих депутатов, испугала старика: не догадались ли они? Но, поразмыслив, успокоил себя;

«Нет, тут что-нибудь другое... Будет разбираться вопрос о восстановлении машинного отдела, и, наверное, у меня, проработавшего в этом отделе шестнадцать лет, хотят спросить каких-нибудь советов. Не понапрасну, значит, ходил я на пожарище и думал, где что установить, какую стену для расширения помещения выломать».

Весь день Шумов нетерпеливо дожидался вечера и на собрание пришел задолго до назначенного времени. Он взял табуретку, отнес ее подальше от стола и сел, прислонившись к деревянной, подпирающей потолок, колонне. К предстоящему собранию Иван Семеныч относился недоверчиво; ему казалось странным, как это Березкин и другие рабочие — точильщики и живописцы — будут указывать таким умным людям, как хозяин, управляющий, химик, что нужно делать; будут контролировать производство и, опьяненные властью, мнить, что без них ничто не может совершиться. Ведь стоит только управляющему, химику, механику плюнуть и уйти, — и сразу весь Совет останется на мели и в конце концов придет с повинной и скажет: «Идите и правьте заводом и нами».

Иван Семеныч с удивлением посмотрел на Березкина, когда тот грубо сделал замечание запоздавшему управляющему. Откуда у него такая смелость? И еще больше удивился Шумов, заметив, как покраснел, растерялся управляющий и начал извиняться. К удивлению примешивалось негодование на тупость и нахальство председателя.

«Неужели и он не понимает, чтó нужно сделать? — думал старик. — Не понимает самого простого: попросить милости у хозяина и с его помощью, под его руководством выбраться из беды».

И старый смотритель даже чуть-чуть тронул улыбкой губы, на мгновение вообразив, что хозяин вернулся, тряхнул капиталом, — и закипела работа; не успели оглянуться, а уж новый корпус машинного отдела грохочет барабанами, стучит ситами у мешалов и глухо, словно отдаленный гром, ворчит огромными бегунами. Иван Семеныч успокоился, заслушав сообщение управляющего о том, что им уже отдано распоряжение составить проект и смету на новый корпус, — значит, в сущности, дело уже началось. Сообщение о приезде комиссии не произвело на старика никакого впечатления, — ведь после каждого несчастного случая — пожара, смерти на производстве — приезжает комиссия. Он даже подумал, что управляющий запугивает Совет, говоря, что этой комиссии дано право закрыть завод, если она найдет это нужным. Конечно, на самом деле этого нет, но надо же чем-нибудь одернуть зарвавшихся, потерявших рассудок людей.

Когда же встал со скамьи Петька Рушнов и спросил: «Почему хозяин до до сих пор не едет на завод?» — опять вспыхнуло возбуждение рабочих.

— Какое нам дело до хозяина! — тяжело дыша, крикнул Терентий Силин. — Какое нам дело до хозяина! Может быть, ему лететь с завода придется. Не в хозяине тут дело!

Иван Семеныч не вытерпел, встал с табуретки и, грозя пальцем, сказал:

— Не говори зря, Терентий. Хозяина мы благодетелем должны считать: скольких он кормит, приют и кровлю дает! И мой сгад такой: обратиться с просьбой, с письмом к Акиму Никитичу, во всем обещать ему поддержку нашу, пусть возьмется за постройку машинного отдела. Он может, денег у него не занимать стать... А мы слушаться должны да делать, что велят, да...

— Молчи! — прервал Шумова точильщик, — Карпухин, может быть, тебе благодетель, а не мне и не им вот. — Он махнул рукой на скамьи. — Я думаю: почуяла кошка, чье мясо съела, почуял старый жулик, что его царствование кончилось, и улетел за тридевять земель.

«Что ты плетешь, — хотел сказать Иван Семеныч, но внезапно холод сковал его губы; на мгновение перестало биться сердце, потом заколотилось пойманным голубем. — А что если правдой обмолвился Терентий — уехал хозяин, бросил завод, обманул?.. Нет, не может этого быть, не такой человек Аким Никитич».

— По-моему тоже чудно, — поддержал Силина Нечаев, — завод сгорел, а хозяин носа своего не кажет сюда... Значит махнул он на него рукой... Да кто еще знает: может быть, он и завод-то поджог.

И опять замерло сердце смотрителя, и опять еще бешенее затрепыхалось оно, тело покрылось холодным потом, ноги задрожали, и ледяные струйки забегали по спине.

Пожилой рабочий Лукичев ответил Павлу:

— Пустое ты мелешь: где это было, чтобы хозяин свое добро жег. Огород городишь... Я всегда стоял и буду стоять за хозяина. Установило правительство рабочий контроль, — и хорошо, и ладно. Пусть этот контроль и делает, что ему полагается, а наше дело маленькое, наше дело — работать.

Искалеченным, избитым в боях петухом двинулся от окна к Лукичеву Терентий Силин, и Березкин, почувствовав, что сейчас вспыхнет долгий горячий спор, застучал ладонью о стол.

— Тише!.. Соблюдайте... сохраняйте спокойствие... Управляющий ответит, что знает о хозяине, а потом я проголосую вопрос о восстановлении завода. Не задерживайте собрания. Нам еще нужно практически подойти к вопросу, спросить у администрации, какие принять для этого меры.

В письме, сообщавшем об исчезновении хозяина, была приписка: «Пока об этом не говорите рабочим. Когда все точно узнается, напишем». И сейчас Лука Лукич колебался: сказать или не говорить собранию о письме. Помедлив, он заговорил:

— Я уже сообщал вам, товарищи, о комиссии... Приедет комиссия, и все узнается.

Березкин усмехнулся:

— Насчет комиссии мы слышали. Сейчас потрудитесь ответить на вопрос товарища Рушнова.

Терентий Силин ближе пододвинулся к управляющему. Нечаев подошел к столу и сказал, в упор смотря на черную бороду Хворостова:

— Мы имеем право требовать от вас объяснений. Рано или поздно все узнается, но чем дольше вы скрывать будете, — значит тем дольше вы нас обманываете. Вам сейчас верят, а откроется обман — верить не будут. Потерять доверие рабочих вам невыгодно. Сбежал или не сбежал хозяин, это не важно. Скоро ни одного хозяина не останется, — все фабрики тем, кто на них работает... Это уж так! Нам важно узнать ваше отношение к нам, рабочим... Смотрите сами, что для вас выгоднее.

Хворостов улыбнулся неверной улыбкой.

— Подождите, товарищи, зачем так... зачем грозить?.. Извольте, я скажу... Если вы ставите вопрос о хозяине с целью узнать, на чьей я стороне, желая узнать, обманываю я вас или не обманываю, — извольте, я скажу все, что знаю.

В наступившей тишине слышно было только сиплое дыхание больного Силина. Иван Семеныч отошел вглубь мастерской, засунув в карман пиджака дрожащие руки. В горле у него щекотало, хотелось откашляться, но он не откашлялся, боясь пропустить хоть одно слово.

— Скажу вам все, что знаю, — повторил Хворостов. — Я не могу ручаться за достоверность полученных мною сведений, но считаю своим долгом сказать: хозяина нет. Он со своей семьей уехал неизвестно куда. Сначала думали, что Аким Никитич где-нибудь на другом заводе, потом выяснилось: ни в Москве, ни на других заводах его нет... Я сегодня получил об этом сведение.

Долго никто не начинал говорить, только Нечаев, криво усмехнувшись, буркнул:

— Видно, моя правда выходит.

Иван Семеныч втиснул голову в плечи, осторожно по стенке прошел к двери и вышел на лестницу.

10.

В больших мастерских живописного отдела работало более четырехсот девушек и женщин. Они сидели за длинными столами, положив правую руку на «прилавок», — дощечку, пришитую перпендикулярно к столу, — а в левой — держа фарфор; в проворных их пальцах быстро двигались кисти, набрасывая на чашки, блюдца, чайники несложные рисунки: «агашку», «прозолоть», «манер». Некоторые пожилые живописки работали дорогую «французскую разделку», осторожно и медленно нанося на фарфор скупой и строгий рисунок. В рабочий день они выпускали от двух до восьми «парочек», в то время как работающие на «агашке» успевали раскрасить до двадцати пяти дюжин чашек и блюдец.

Кое-где между белыми и цветными кофточками девушек темнели пиджаки и рубахи мужчин.

В мастерских жарко, удушливо пахнет спипидаром; не умолкая, звенит фарфор, — будто невидимые хрустальные бубенцы рассыпаются над столами. На полу в больших корзинах снежными сугробами поблескивает «белье» и в невысоких ящиках охапками ярких цветов лежит раскрашенный товар.

Длинные вереницы девушек носили ящики в нижний этаж, где пышащие жаром «муфля» раскаляли фарфор, отчего матовые керамические краски глянцевели и закреплялись на изделиях.

Проходя мастерскими, Катя Зорина замечала в отделе необычайное оживление: женщины таинственно перешептывались, мужчины чаще ходили между столами, собирались в коридорчике около уборной, бестолково и горячо спорили. В этот день корпуса и казармы были возбуждены слухами о бегстве хозяина и извещением об общем собрании, которое совместно с приехавшей комиссией должно решить судьбу завода. Старые рабочие мрачно предсказывали, что теперь — без сурового окрика и зоркого глаза Акима Никитича — завод погибнет. Молодежь говорила: бегство фабриканта означает их, рабочих, огромную и яркую победу. Спорщики доходили до исступления, решая: лучше или хуже будет без хозяина? Кто будет управлять заводом? Куда пойдет прибыль? Но в одном все соглашались: во что бы то ни стало завод нужно восстановить, иначе — смерть. И после гудка рабочие, торопливо убрав в ящики кисти и образцы рисунков, спешили на собрание. По блестевшим их глазам, крепко сжатым челюстям, по их телам, настороженным и до болезненности чутким, было заметно, что они или добьются своего или дикой ордой хлынут в корпуса и мастерские, начнут бить окна, ломать аппараты и машины.

Катя Зорина задержалась в мастерской, убирая сработанный товар. Она очень торопилась, и две чашки, выскользнув из рук, брызнули осколками по цементному полу. Катя нахмурилась и осторожнее стала брать со стола фарфор.

— Что, разбила? Теперь в счет поставят.

Оглянувшись, увидела Петрову и только сейчас заметила, как изменилась Маня: кожа плотно обтягивала ее скулы, под глазами темнели широкие лиловые круги, губы бледны и дряблы, как выжатые ломтики апельсина.

— Ты зачем сюда пришла?

Маня села на табуретку, взяла шпахтель и погладила им осколок толстого стекла, на котором растирают краски, сказала:

— Давно я не брала в руки шпахтель... С тех пор, как...

И вдруг закрыла лицо руками, приникла головой к столу.

— Что ты? Что с тобой? — всполошилась Катя. — Вот глупая!.. И надо было тебе выходить из дому? Поди-ка сейчас в каморку, укладывайся в постель, — лучше дело-то будет. Может, тебя до казармы проводить?

Маня отрицательно покачала головой.

— Ну, одна ступай. После собрания я зайду к тебе, расскажу, что решили насчет завода.

Петрова встала и, пошатываясь, пошла к выходу; сзади она была похожа на старушку, смешно одетую в белую кофточку и короткую синюю юбку. У дверей мастерской Маня остановилась.

— Какая беспамятная стала!.. Ведь я нарочно в живописную шла тебя увидать. Дядя Максим встретил меня в казарме и попросил тебе передать.

— Что передать?

— Вот это письмо.

Она протянула подруге синий конверт и вышла из мастерской.

«От кого бы это могло быть?» — Зорина, недоумевая, вскинула брови и, подойдя к окну, разорвала конверт.

Катя!

Вот, наверное, удивишься ты, получив это письмо! Да и сам я два дня назад не ожидал, что прошлое так взволнует меня и заставит писать тебе. Не знаю, какой ты стала теперь, пишу же я прошлой Кате. Стоит мне закрыть глаза — и я вижу очень молоденькую девушку с черными косами и голубыми глазами, очень пугливую, похожую на звереныша. Такая ли ты теперь? Я не видал тебя четыре года. Может быть, ты уже замужем? Может быть, у тебя есть дети? Может быть, семейная жизнь и будничные заботы так изменили тебя, что, встретившись с тобой, я, не узнавая, пройду мимо? Но, как бы то ни было, мне захотелось написать тебе, — самому близкому человеку на заводе. Помнишь, как мы бегали по коридорам казармы: ты, я и Паша Нечаев? (Кстати: как живет он, верный друг детства?) А потом меня отдали в реальное училище; приезжая на каникулы, я важничал своей зеленой с блестящими пуговицами шинелью, сторонился и тебя, и заводских мальчишек. В последних классах реального я познакомился с политикой, студентом работал в одном подпольном кружке и, приезжая на завод, по-новому смотрел на жизнь рабочих. Я видел, что живут они мрачно, слепо, и поразило меня то, что слепую и мрачную свою жизнь они считают нормальной, правильной. Еще не было на заводе людей (а если были, то единицы и я не заметил их), которые могли бы большинству рабочих открыть глаза на иную жизнь, могли научить их, какими путями подойти к этой иной жизни. И мне хотелось быть одним из тех, кто поможет рабочим произвести коренную ломку старого... И вот желания мои сбываются! Ты уже, наверное, знаешь от моего отца, что два года назад я окончил высшее техническое училище и поступил на службу в правление товарищества Карпухина. По правде сказать, мне не особенно хотелось работать у этой фирмы, но я считаю необходимым добросовестной своей работой отплатить Акиму Никитичу за то, что он вытащил меня

из грязной каморки в реальное училище. С правлением я не очень сработался, — там, очевидно, знали о моих знакомствах с революционерами. На меня косо посматривали, и все мои действия сугубо контролировались. После же революции все пошло наоборот. Я быстро выдвинулся, несмотря на мою молодость, и — последняя новость — мне предложили работать членом управления вашего завода. Я согласился. Вот это-то и заставило меня сегодня вечером сесть за стол и писать тебе. Я буду очень рад встретиться с тобой и по-старому побродить в лесу... Помнишь, как мы гуляли у гремучего ручья? Ну, довольно! Привет Павлу, отцу. (Ему я тоже послал письмо.) Крепко жму твою руку. До скорого свиданья!

Борис Шумов.

За пыльными стеклами окон угасал погожий весенний день. Легкие облачка золотисто-розовой ватой разбрасывались на западе над лиловой лентой туманящихся лесов. Золотые кресты старообрядческой церкви, как свечи, горели в мутноголубом небе; над крестами летала стая галок, и в открытую фортку доносился их неугомонный задорный крик.

Катя бережно сложила письмо, спрятала за лиф, крепко прижала к груди ладони, и, как бы почувствовав холодок конверта, тороплпвее застучало сердце.

— Борька, — шепнула девушка, — Борька мне написал!

Она вспомнила, как была влюблена в чистенького реалиста первой своей полудетской, полудевичьей любовью. Как радостно ей было встречать Шумова на крыльце казармы, сказать: «Здравствуй, Боря» и смотреть, смотреть на розовое его лицо, на аккуратную шинель и фуражку с золотыми буквами! Он казался ей таким необыкновенным и таким недосягаемо далеким. Часто в своей каморке она молилась, прося бога и ее сделать гимназисткой, одеть в коричневое платьице и черный фартучек. Тогда она могла бы гулять с Борей как равная. Она ненавидела свою короткую, замазанную юбку и босые загорелые ноги. Счастливые дочери механика: они ходят в длинных чулках и ярко начищенных ботинках, носят коричневую форму гимназии, и с ними гуляет Боря в лесу за рабочим поселком!

Прошлое с такой силой и яркостью хлынуло на девушку, что ей показалось, будто оно широким потоком полилось с темнеющего неба из-за золотых крестов старообрядческой церкви.

«Гремучий родник!.. Он вспомнил гремучий родник!..»

Память услужливо развернула перед Катей лесной овраг, хмурые ели вверху и внизу молодые березки. На дне оврага, закутанный мохом, бьет ключик и маленьким ручейком бежит по земле. Какая-то веселая птичка порхает над ручейком, взлетает и падает, — будто играет в непонятную, запутанную игру.

« — Вот смешная птичка», говорит Боря, и Катя смеется:

« — Верно, вот смешная: взлетает и падает, взлетает и падает».

«— А смотри, какие вверху ели, те-емные»...

И лес кажется Кате необычайно жутким, дремучим. Ели такие страшные, протянули над оврагом темные свои рукава. В овраге темнеет, и кажется, что это ели из лохматых своих рукавов вытряхивают тьму.

Борис обнимает плечи девушки, шевелит губами, и Катя, не слыша шопота, понимает, что он говорит:

« — Боишься?»

« — Боюсь».

Ближе его лицо, медленнее движение губ:

« — Какая ты красивая!»

Смущенно опускает глаза, ее губы обдает горячее дыхание студента.

« — Мне хочется тебя поцеловать».

Катя вздрагивает: вот оно, счастье! И вдруг закидыват руки за шею студента и тянется губами к его губам.

«— Боря, милый, ведь я давно тебя люблю!.. Давно люблю!.. Пусти!.. Больше не надо... Не надо!..»

Вырвалась и бежит по оврагу.

« — Ведь страшно!» — кричит ей вслед.

Совсем не страшно Кате: лес такой ласковый, тихий, небо такое чистое, и первая желтая звезда так ярко улыбается... Вот и поселок, и улица... Шестнадцатилетняя девушка, полная необыкновенного счастья, бежит по этой улице...

... Катя отошла от окна.

«Как странно, — мелькали мысли, — я не ожидала, что письмо Бориса так взволнует меня. Может быть, я все еще люблю его? А Павел? Ведь я и Павла люблю!.. Лучше бы не получать письма».

В мастерской совсем потемнело. Серыми высокими тенями стоят колонны. В тишине раздаются глухие шаги, из темноты кто-то спрашивает:

— Кто там у окна?

По голосу Катя узнает сторожа.

— Это я, убиралась тут. Запри за мной.

У главных ворот торопливо шли на собрание запоздавшие рабочие. Зорина, не заходя в казарму, прошла в горновой отдел, где было назначено собрание. Она недолго пробыла там, она не помнила, что говорили, волнуясь и крича, рабочие, — перед ее глазами было письмо с мелко написанными строчками. Письмо было исходной точкой полета ее мыслей. От письма мысли улетали к ребятишкам, играющим у казармы; среди них — Паша, Боря. А она, озорная девчонка, стоит в сторонке, хочется ей поиграть с ними и боится, — отколотят. В темный овраг улетали мысли и подолгу задерживались там, каждый кустик, каждую веточку внимательно оглядывали...

Когда был решен вопрос о восстановлении завода и один из членов приехавшей комиссии начал говорить о коллегиальном управлении, — Катя выбралась из толпы и пошла в казарму. Она не зашла, как

обещала, к Мане Петровой, хотелось быть одной со своими мыслями. В каморке она быстро разделась и легла в постель.

11.

Общее собрание рабочих закончилось далеко за полночь. Шумные, еще не остывшие от возбуждения толпы рабочих валили из дверей горнового отдела. В сырой ночи толпы разбивались на мелкие кучки, расходились по переулкам и улицам, и говор людей, расплываясь, угасал над влажной, по-весеннему рыхлой землей.

Нечаев стоял недалеко от двери и взглядом искал в разноголосом, разноречивом потоке Катю. Над крышей трехэтажного корпуса гудел факел горна, и красные отблески света текли по железной кровле, обливали кирпичную стену казармы, горели в стеклах казарменных окон. В сыром воздухе дым не поднимался вверх, а клубами скатывался с крыши и стлался по земле, оседая копотью на деревья и здания. Павел дрожал мелкой нутряной дрожью, радостно взволнованный тем, что произошло на собрании.

В огромном помещении горнового отдела, — у круглых стен горнов, между колоннами капселей и бандур, на лестницах, подоконниках, — плотно набились люди. Было очень душно, стены горнов полыхали сухим жаром, лица людей побагровели, взмокли от обильного пота и, казалось, разбухли. Под высоким цементным потолком бились возгласы гнева, ярости, полубезумные вопли женщин и злобные выкрики по адресу сидящих за столом управляющего, Березкина и трех членов прибывшей на завод особоуполномоченной комиссии. Нечаеву казалось: если бы сейчас особоуполномоченная эта комиссия заявила о прекращении работ на заводе, о невозможности восстановления машинного отдела, — от безумного рева развалились бы стены, люди, насыщенные яростью и гневом, затопили бы стол и уничтожили сидящих за ним. Но этого не случилось, и двухтысячная возбужденная масса удовлетворенно заворчала, когда один из приезжих заявил, что комиссия также считает необходимым немедленно начать работы по восстановлению завода.

— Но весь вопрос в том, — член особоуполномоченной комиссии сделал паузу и тревожно оглядел людскую гущу, затопившую пол, лестницы и темными пятнами обрызгавшую окна, — весь вопрос в том, что недостаток хлеба и материалов будет тормозить или даже совсем заглушит эту работу. Рабочим придется заботиться о самоснабжении. Время тяжелое, трудное... В этих тяжелых условиях восстановление сгоревшего отдела является задачей огромной трудности, почти невозможной...

Заметив, как всколыхнулась людская гуща и повысилось ее ворчание, поспешил добавить:

— Я сказал: «почти невозможной», — помощи вам ждать неоткуда, все дело в вас самих. Если каждый утроит свои силы, будет честно и стойко работать, — завод возродится.

Член комиссии, кончив говорить, сел к столу, но тут же быстро вскочил.

— Я забыл сообщить: теперь вашим заводом будет управлять не один человек, а коллегиальное управление, куда войдут: управляющий Хворостов, один представитель от рабочих и еще один член будет назначен правлением фабрик Карпухина. Из своей среды вы должны выделить честного, работоспособного товарища... И советую, прежде чем выбирать, подумайте: справится ли выбираемый с возлагаемой на него работой?

— А когда выбирать нужно? — спросил глухой голос с одного подоконника.

— Это ваше дело; чем скорее, тем лучше.

— А сейчас можно?

Члены комиссии пошептались с председателем Совета и с управляющим.

— Если выборы не затянутся, то можно и сейчас. Намечайте кандидатов и помните о той ответственной работе, на которую вы выдвигаете товарища.

— Семена Лукичева! — крикнула темнота внизу под лестницей.

— Терентия Силина! — наперебой крикнули вверху несколько человек.

— Топорова!

— Павла Нечаева!

Из разных мест тяжело колеблющейся людской гущи громче и чаще начали вырываться крики:

— Павла Нечаева!

— Пашку Нечаева!

— Нечаева!

И уже некоторые громко кричали, горячась и потрясая кулаками:

— Он завод отстоял!.. Он в огонь полез!.. Жизнью своей рисковал!.. Нечаева!

То, что происходило в скупо освещенном помещении горного отдела, было похоже на массовое помешательство. Сначала десятки, потом сотни и, наконец, две тысячи рабочих закричали одно слово:

— Не-ча-е-ва-а-а!..

Это было так неожиданно для Павла, что он, стоя на подоконнике, растерянно оглядывался по сторонам и жалко улыбался. Ревели лестницы, ревели стены, и казалось, рев клубами пара бьет в потолок, с каждой секундой нагнетаемый больше и больше. Уже трудно было Павлу дышать, голова его тошнотворно закружилась, как вдруг рев утих и только от стола таким слабым показавшийся голос что-то говорил. Потом стаей птиц взлетели над головами руки, постояли над черной гущей тел и с глухим шорохом исчезли. Кто-то толкнул Нечаева в бок и сказал:

— Вот ты, Пашка, и начальством заделался.

Очень скоро после этого собрание закончилось, рабочие расходились, довольные постановлением: «Во что бы ни стало восстановить машин-

ный отдел» и избранием в коллегиальное управление Нечаева. Уже последние кучки людей вышли из дверей горнового отдела, а Павел все ждал Катю. Он видел ее на собрании, она стояла недалеко от стола, потом всколыхнушиеся толпы отплеснули ее к горну и спрятали где-то за высокими колоннами бандур. Ему так хотелось увидеть ее, поговорить о своем избрании в управление, о многом посоветоваться; так хотелось весенней этой ночью пойти с ней в лес, за поселок, — что он дожидался до тех пор, пока из дверей уже никто не выходил.

«Должно быть, я просмотрел ее в толпе, — подумал Павел, и нетерпение видеть Катю было так велико, что он быстро пошел к казарме. — Загляну к ней, наверное она еще не спит».

Сонным коридором Павел подошел к двери с жестяным ярлычком № 24. Он осторожно потянул дверь и, убедившись, что она заперта изнутри, приложил ухо к дверной щели. В соседней каморке надоедливо плакал ребенок, скрипела пружина люльки и заспанный женский голос устало баюкал. Все это мешало слушать, но Павлу почудилось, что он уловил тихое дыхание девушки, и сердце его наполнилось огромной нежностью.

— Катя! — позвал Нечаев и тихо постучал пальцем в жестяной ярлычок.

Плач ребенка и баюкающий голос затихли, но все еще надоедливо скрипела люлька.

— Катя! — еще тише позвал Нечаев и, постояв немного у двери, пошел в конец коридора к окну.

В маленькие квадратики стекол видны были куски темносинего с крупными звездами неба. В темноте густели прямоугольники и ромбы корпусов и крыш.

Прозрачным синеватым пятном светило на одной из крыш угасающее пламя горна. Серыми, запутанными клубками лежали внизу под окном подстриженные шапки двух тополей. Весенняя ночь, наполненная влажным дыханием земли, плыла над казармой, над заводом.

Павел долго смотрел в окно, чувствуя, как радостное его возбуждение сменяется безотчетной грустью.

12.

Инженера Шумова ждала на станции лошадь. Кучер Фрол в темно-синем кафтане и круглой бархатной шапочке важно сидел на козлах щеголеватого тарантаса. Шумов с трудом выбился из людского спертого в станционных дверях месива и, подойдя к тарантасу, спросил:

— За мной?

Фрол снял шапочку, улыбнулся в широкую, тронутую сединой, бороду.

— За вами, Борис Иваныч. Пожалуйте, давно поджидаем.

Принял от инженера саквояж, отстегнул кожаную полость и, почтительно перегнувшись с козел, ждал, когда Шумов усядется на мягкое бархатное сиденье и скажет: «Трогай!»

Влезая в тарантас, Борис вспомнил, как пятнадцать лет назад озорным заводским мальчишкой бегал по улицам поселка и с завистью смотрел на карпухинских рысаков. Однажды, вертясь у заводских ворот, он чуть было не попал под лошадь, и вот этот самый Фрол, выругавшись, больно хлестнул его кнутом. Разве мог тогда заводский мальчишка мечтать о том, что придет время — и важный кучер почтительнейше будет помогать ему садиться в экипаж, в котором ездили только хозяин, управляющий и высшая администрация завода?

Фрол шевельнул вожжами и, полуобернувшись, спросил:

— Можно ехать?

— Да, да... Больше ведь никого не ждешь?

— Никак нет-с. Только за вами выезжал.

От железнодорожной станции до завода нужно было ехать четыре версты: тощими полями, березовыми перелесками, хмурым еловым лесом. Весенний вечер был темен и влажен. Полотнища полей, перелески, кусты лениво плыли по обеим сторонам дороги. Сизые туманы сочились из болотистых низин. Изредка попадались одинокие фигуры пешеходов; свернув с поселка, они ждали, когда пройдет лошадь. Всю дорогу Фрол молчал, не решаясь заговорить с новым начальством; только подъезжая к хвойному лесу, он показал рукой на багровое над еловыми пиками небо, сказав:

— Последние горны жгутся.

— Что? — нагнулся к козлам инженер.

— Говорю: последние горны жгутся. Скоро шабаш, — встанет завод.

— А, вот ты о чем!.. Да, неважное дело. В такое время несчастье случилось! Ну, как-нибудь выкрутимся.

— Хозяин-то, толкуют, сбежал.

Не дождавшись ответа, ударил вожжой жеребца, и тарантас мягко закачался по лесной, перепоясанной корнями дороге. За лесом высоким силуэтом проплыла церковь, за поворотом дороги вспыхнули беспорядочно разбросанные бусы электрических фонарей.

От нахлынувших воспоминаний Борису сделалось и грустно и радостно; его взгляд внимательнее заскользил по низеньким домикам, подстриженным тополям, попадающимся навстречу рабочим.

— В главную контору везти? — спросил Фрол. — Управляющий сказал, чтобы в главную контору доставить, — там нонче собрание назначено.

— Нет, я заеду в казарму к отцу. А ты скажи там в конторе, что привез. Пусть пришлют за мной, когда начнется собрание.

— Слушаю, — тряхнул головой кучер и лихо подкатил к казарме.

На крыльце казармы стояли две женщины; проходя мимо них, Борис услыхал:

— Кто это такой?

— Должно, сын приехал к Ивану Семенычу. К нам на завод назначили...

Знакомый спертый воздух, пахнувший затхлостью и клозетом, ударил в лицо. В скупо освещенном коридоре распахивались двери, выглядывали растрепанные головы женщин, бороды мужчин, молодые девичьи лица. Как во сне, шел Борис по коридору, каждую секунду ожидая: распахнется одна из дверей — и он увидит девушку, о которой так много думал в последнее время. Вот и знакомая, с облупившейся краской, дверь и много лет назад вырезанные на ней буквы «Б. Ш.». Борис постучался и, не дождавшись ответа, вошел в каморку.

От серых стен, увешанных фотографиями, от неуклюжего комода, уставленного фарфоровыми фигурками, от старинных икон и лампадок повеяло на Бориса прошлым. Ничто не изменилось в этой каморке. Перед иконами все те же висят фарфоровые голуби, распластав крылья, с воткнутыми в спины лампадками. И фотографии приколоты на той же самой стене, что и десять лет назад. На одной из них: отец, мать и перед ними мальчик в сапожках, вышитой рубашке, подпоясанный высоко подмышками — озорной Борька, будущий инженер.

На кровати, покрытой до подбородка одеялом, лежал отец. Сухое его лицо показалось Борису очень постаревшим и больным. Скосив глаза, отец внимательно смотрел на дверь, как будто за спиной сына видел еще кого-то. Борис оглянулся, — сзади никого не было. Притворив дверь, подошел к кровати.

— Здравствуй, папаша. Ты что, заболел?

— Здравствуй, Бо-о-ря! При-и-иехал? — заикаясь, заговорил отец. — Ну, раздевайся. Сейчас Зойка придет, самовар поставит.

Чем больше говорил старик, тем тверже становилась его речь, оживало сухое лицо, и рука, недвижимо лежавшая поверх одеяла, тихо зашевелила пальцами.

— С постели-то встаешь?

— Встаю... Да, да... А ты, говорят, начальством над нами будешь?... А?.. Дай бог здоровья Акиму Никитичу, — вывел тебя в люди... Пошли ему, господи, всяких благ и радостей, помоги ему в черные дни...

Иван Семеныч скосил глаза на иконы, перекрестился, и вдруг его лицо передернулось, губы запрыгали, из глаз выкатились две крупные слезы и быстро скользнули по морщинистым щекам.

Инженер внезапно почувствовал огромнейшую нежность к больному отцу. Ведь отец всю свою жизнь стремился к одному: вытащить сына в люди. Сколько унижений должен был он перенести, сколько труда положить, заслуживая благоволение хозяина! А он, инженер, перед которым открыта широкая дорога в жизнь, — четыре года не мог навестить отца, даже писать письма на завод казалось ему скучным и, пожалуй, ненужным. Борис опустился перед кроватью на колени и, обнимая острые плечи старика, поцеловал его в мокрую от слез щеку.

— Ну, что ты? Ну, что ты, как маленький? Ну, что ты плачешь? Ведь я люблю тебя попрежнему. Теперь я никуда не уеду с вашего... с нашего завода. Будем вместе жить. Папаша, слышишь: будем вместе жить! Тебе на отдых пора, довольно поработал...

Старик обнял сухой горячей рукой шею сына и, прижимая его голову к своей груди, шепнул:

— Эх, Боренька, если бы ты...

Застонав, он замотал головой, как бы отгоняя осу, зажужжавшую в ухо.

— Что с тобой? Тебе плохо?..

Отец молчал, тяжело дыша. Под ватным одеялом порывисто поднималась и опускалась его грудь. Потом Иван Семеныч ослабевшей рукой толкнул в плечо сына.

— Ну, вставай, вставай... Раздевайся.... Так я... Видишь, какой стал: ни на что не годен... Да, да... А все думал добро людям сделать. Оши... ошибся... Про... промах дал...

И, не давая сыну ответить, настойчиво повторил:

— Вставай! Раздевайся! После потолкуем.

Инженер отошел к окну, посмотрел в густоту ночи, где рвали тьму полыхающие факелы горнов. Он не успел расстегнуть пальто, — в каморку вбежала Зойка.

— Борис Иваныч, там за вами пришли. На собрание в контору зовут.

— Ого, как ты выросла, — взглянул на девочку инженер, — а я думал, ты все еще маленькая. На собрание? Иду, иду!.. Ну, папаша, я постараюсь поскорее освободиться. Вся ночь с нами: чай пить будем, разговаривать... У вас тут за это время новостей-то накопилось, — только слушай. Верно, Зоя?

Девочка смущенно опустила голову, посторонилась, пропуская в дверь инженера.

13.

На втором этаже главной конторы в бывшем кабинете фабриканта сидели: управляющий, Нечаев, Фриц Карлович Беренс, заведующий строительным отделом Иванов и механик Лаптев. Управляющий поднялся навстречу Шумову, ласково улыбнулся, протягивая пухлую руку.

— Приехали, Борис Иваныч? Не дали вам отдохнуть, а уж берем в работу.

В улыбке Хворостова, в нерешительно протянутой его руке и настороженном взгляде Шумов заметил какую-то растерянность и как будто даже робость.

— Знакомьтесь, с кем незнакомы. Александра Гаврилыча и Владимира Николаевича вы, наверное, помните? — Управляющий кивнул головой в сторону заведующего строительным отделом и механика. — Фриц Карлович для вас новый человек. А это член нашего коллегиального управления, — Павел Александрович Нечаев.

Инженер быстро обернулся. У большой диаграммы, показывающей выпуск продукции завода, стоял товарищ детства.

— Паша! — радостно вскрикнул Борис. — Вот это новость! Значит вместе работать будем.

Они долго жали друг другу руки, внимательно рассматривая один другого.

— А ты не изменился, все такой же.

— Старые друзья встретились, — угодливо захихикал управляющий. — Давненько не видались.

Шумов видел: Павел смущенно улыбается, одергивая чистую, вышитую елочками рубашку, надетую, очевидно, для этого совещания. Ободряя его взглядом и улыбкой, шепнул:

— Ну, мы с тобой одни поговорим. Приходи после совещания к отцу в каморку.

— Приступим, — сел в кресло Хворостов. — Мы тут, Борис Иваныч, собрались обсудить некоторые вопросы. Вам, вероятно, известно, что общее собрание рабочих, бывшее на прошлой неделе, совместно с приезжавшей комиссией решило завод восстановить. Фриц Карлович и Александр Гаврилович разработали проект и смету на постройку нового машинного отдела. Может быть, будут какие-либо изменения, дополнения, поправки.. Но самое важное: нужно обсудить вопрос о заготовке материалов. В настоящее время на рынке кризис, за деньги достать почти ничего нельзя, — товарообмен. Я обращался в правление с ходатайством, чтобы мне разрешили продукцию завода менять на необходимые для постройки материалы. Это разрешено. Нам нужно кого-нибудь из членов управления командировать за приобретением материалов. Вот те вопросы, которые мы должны будем сегодня решить. Итак, не задерживаясь, начнем. Фриц Карлович, пожалуйста!

Химик развернул на столе большой лист ватмановской бумаги и аккуратно приколол его по углам кнопками. Все пододвинулись к столу и нагнулись над раскрашенным чертежом. Беренс поправил блестящие манжеты, взмахнул над столом карандашом и заговорил медленно, странно обрывая фразы:

— Вот. Пожалуйста. Это, — карандаш быстро облетел чертеж, — оставшиеся стены... от сгоревшего отдела. Здесь будут расположены: бегуны, барабаны, мешалки. И — только. Мне кажется... мы должны... не только восстановить отдел... в прежнем размере.... но и думать... о расширении нашего производства. Революция, несомненно... даст толчок... развитию промышленности. Тяжелая индустрия... электричество... вот рычаги... двигающие промышленность. В будущем.... изоляторы, может быть... наша главная продукция... будущего. — Карандаш резко взлетел вверх. — Наш завод превратится... в целый фарфоровый город. Нельзя сейчас кое-как... пустить в работу отдел... Через десять лет... он будет мал. Опять придется строить... и строить... лучше сейчас. Напряжем все силы... и сделаем, что нужно... для сегодняшнего дня... и для завтра.

— Верно, — кивнул головой Нечаев.

— Сумеем ли? Хватит ли средств? — спросил Хворостов.

— Мы должны. — Карандаш застучал о стол. — И мы сделаем.... общими силами... общей энергией. Нужно верить, что мы сделаем. Это — главное. Вот здесь, — карандаш остановился на одном месте... — новая пристройка к отделу. В ней будут расположены... пресса, форовские мялки, насосы. На мысль о новой пристройке... натолкнул меня смотритель Иван Семеныч. Я обдумал это. Решил, что он прав. Обсудите вы.

Химик отодвинулся от стола, закурил и, пуская дым в хрустальные подвески люстры, ждал, что скажут остальные.

— Меня только вот что беспокоит, — оглядел присутствующих механик, — с этой пристройкой не затянутся ли работы? Ведь наша задача восстановить отдел возможно скорее. Не забывайте, что на-днях завод встанет. Сегодня жгутся последние горны. Мне хочется задать вопрос Александру Гаврилычу: на сколько времени оттянет пуск машинного отдела эта пристройка?

Иванов ответил:

— Все зависит от материалов. Будут материалы в достаточном количестве, — оттяжка не будет значительной.

— А все-таки?

— Ну, на месяц, полтора.

— Как-то отнесутся к этому рабочие? — значительно сказал Лука Лукич, и все посмотрели на Нечаева.

— Что вы скажете, Павел Александрович? — повернулся к нему управляющий.

— Что сказать? За всех рабочих я не могу ответить, но думаю, что рабочие поймут; ведь это же делается для их пользы. Как-нибудь перетерпим это время. Полтора месяца — не такой большой срок. Лично я думаю: пристройку к корпусу нужно делать.

Беренс одобрительно кивнул головой.

— Я ничего не имею против, — поддакнул Хворостов. — Строить, так строить. Как вы думаете, Борис Иваныч?

— Право, мне трудно сейчас сказать свое мнение, — я еще так мало знаю и завод и теперешнее его состояние.

— Как будто противоречий нет, — снова нагнулся над чертежом Фриц Карлович. — Теперь рассмотрим детали. Я увеличиваю... число барабанов. В пристройке поместится... на два пресса больше. Это значительно увеличит... выпуск продукции. Главное: закончить пристройку... Барабаны и пресса... мы будем ставить постепенно... Детали.... — Карандаш запорхал над столом. — Мешалки перенесем... в эту часть здания. Вот здесь встанут бегуны. Вместо одной — две пары. Под машинным отделом — бетонные подвалы... для жидкой массы. Вот здесь — насосы.

— Какова, вы предполагаете, будет производительность нового машинного отдела? — спросил Шумов.

— Принимая во внимание пристройку?

— Да.

— До тысячи тонн. Ежемесячно. Вот и все, что я хотел сказать совещанию. О смете скажет Александр Гаврилович.

Заведующий строительным отделом начал перечислять количество потребных для постройки материалов: цемента, кирпича, железа, бревен, досок, тесу...

Смету утвердили. Управляющий откинулся на спинку кресла.

— Вот как легко решать сообща: и скоро, и ответственности меньше. Если так же согласованно будет работать наше коллегиальное управление, то лучшего нечего и желать.

— Будущее покажет, Лука Лукич, — улыбнулся Шумов.

— Нет, знаете, и сейчас уже видно. Но не будем задерживать Бориса Иваныча, ему с дороги отдохнуть нужно. Последний вопрос: о командировке одного из членов управления за приобретением материалов. Денег нет, то есть деньги имеются только на командировку, а не на покупку материалов. Да и что в настоящее время деньги? — Товарообмен! Два вагона фарфора упакованы. Они немедленно будут отправлены по адресу, сообщенному командированным лицом. Командировка продлится около месяца... Побывать в Москве... За цементом, возможно, придется поехать на Волгу. Нужно объездить многие заводы. Адреса их у меня есть. Вопрос в том: кто поедет? Может быть, кто хочет по этому поводу высказаться?

— Позвольте мне, — сказал Шумов. — Вам, Лука Лукич, мне кажется, не стоит ехать. Вы больше других знакомы с заводом, и бросить его в такое время невозможно.

Управляющий, соглашаясь, кивнул головой.

— Я мог бы поехать, но мне хочется поближе познакомиться с заводом, чтобы поскорее войти в курс дела. Остается Павел Александрович. Если он ничего не имеет против, то вопрос решится быстро. Как ты думаешь?

Павел смущенно потер руки.

— Справлюсь ли? Дела-то очень много.

— Ну, не боги горшки обжигают.

— Правильно, — засмеялся Лука Лукич, — мы сами фарфор обжигаем. Ну, Павел Александрович, решайте. Оказалось: вы самый подходящий человек.

— Хорошо, я поеду.

Беренс свернул чертежи, аккуратно завернул их в газетный лист.

— Я пойду. Всего доброго.

За химиком ушли Иванов и механик.

— Вы где ночуете? — спросил у Шумова Лука Лукич.

— В казарме у отца.

— Я вам приготовил комнатку, бывшую гостиную Акима Никитича, перебирайтесь в нее.

— Спасибо.

Пожав руку управляющему, Борис и Павел вышли из конторы. На крыльце налетел на них влажный ветер. Нечаев зябко поежился, сказал:

— Лениво как-то идет весна, все еще холодно.

— Пойдем скорее... Ну, Паша, будем работать! Опять вместе. Я и не думал, что ты таким авторитетом пользуешься среди рабочих, в управление заводом тебя выбрали.

Павел хотел сказать, что выбрали его за то, что, очертя голову, бросился он в горящий корпус, но постеснялся, подумав: не счел бы Борис этот поступок за мальчишеский необдуманный порыв. Ответил:

— Вот, выбрали... Я и сам не ожидал. Как-то работать буду? Окажусь ли подходящим на этом месте? Вот что меня беспокоит.

— Ничего. Главное — желание. Есть у тебя желание — все хорошо будет. А опыт в работе придет постепенно. Кстати: кто такой Беренс? Я что-то не помню его.

— Заведующий машинным отделом. Очень хороший работник. На заводе он года три.

— Говорит он как-то странно: после каждого слова точку ставит.

Пройдя главные ворота, Шумов решил спросить Павла то, о чем думал весь сегодняшний день:

— А как поживает Катя Зорина? Здесь ли она еще? Помнишь: мы все время проводили вместе. Как она?

— Живет... Я, знаешь ли, очень близко сошелся с ней.

— Очень близко? — остановился инженер, почувствовав, как что-то неприятное и тягостное легло на сердце.

— Да так, вроде жениха и невесты. Этой весной венчаться собирались, да вот пожар помешал. Решили подождать, пока с заводом дело наладится.

— Вот ка-ак, — протянул Шумов. — Ну что же, желаю счастья. Она очень хороший человек. Давно я ее не видел, изменилась наверное, не узнаешь.

— Да, с тех пор, как ты на заводе был, много воды утекло, многое изменилось.

До казармы шли молча. Инженер внезапно почувствовал свежесть весеннего вечера, тоскливость сырого неба, холодные порывы ветра.

«Какое мне дело, — думал он, — что Катя выходит замуж за Павла? Разве это так уж трогает меня? Да и что я ждал от этой заводской девушки? Павел — честный, хороший человек. Что лучшего может быть для Кати?»

Но в глубине сознания назойливо копошился надоедливый червячок, портил хорошее настроение, с которым Борис подъезжал к заводу. Заглушая неприятные мысли, Шумов пригласил Павла к себе:

— Ты заходи сейчас. Зоя, наверное, самовар приготовила. Посидим вечерок по-семейному, старину вспомним. Придешь?

— Приду. Я и Катю позову. Хорошо?

— Обязательно позови. Мне очень хочется с ней встретиться. Буду ждать.

14.

В каморке Шумовых бурно кипел самовар, бросая к потолку клубы пара. Окно, до половины занавешенное розовой занавеской, запотело, по стеклам волнистыми линиями стекали капли. Зойка сидела у стола, читала. Иван Семеныч лежал на кровати. Когда Борис вошел, девочка закрыла книжку, заложив читаемую страницу тряпочкой. Иван Семеныч приподнял с подушки голову, позвал Зойку:

— По... мо... помоги встать... Я встану. Что? Да, да... встану... Тут Терентий Силин заходил, тебя хотел посмотреть. Что ты так долго? Зойка второй раз самовар подогревает.

— Разве долго? — инженер взглянул на часы. Маятник ходиков висел неподвижно, стрелки показывали три. — Часы-то не ходят?

— А?.. Да, да.. Не ходят. Я их остановил. Ночью стучат-стучат, спать не дают... Ну, давайте чай пить.

Старик надел пиджачок и без брюк, в одних подштанниках, сел к столу. Когда он шел от кровати, Борис заметил: левая рука отца была непослушна и тяжело висела вдоль туловища, левая нога неуклюже волочилась за правой. Подумалось: как постарел отец, каким беспомощным и жалким он стал!

Зойка разлила по чашкам чай, мелко наколола в блюдечко сахар, сказала:

— Пейте.

Трясущейся рукой Иван Семеныч налил в блюдечко чаю и внимательно посмотрел в лицо сына.

— Ну, говори, как жил... Слыхал я: достукался до больших чинов, сюда вот наравне с управляющим тебя ставят. Что ж, это хорошо, за это хвалю... Да, да... На старости лет утешение мне, не подвел, хоть и забывал отца с этими... как их... социалистами.

— Что, папаша, об этом вспоминать! Ведь не плохое я делал. Они-то меня и в люди вывели.

— Ну, ну... Я ничего, так только к слову пришлось. Теперь не бросишь отца-то?

— Ты, папаша, не знаешь, что говоришь. С тобой-то что?

— Доктор говорит: удар. Левая рука не маячит, левая нога плохо слушается. Да, да... Ничего, поправлюсь, старинный народ крепкий, поправлюсь.

Инженер пил жидкий невкусный чай и думал о том, что вот, после четырех лет разлуки сошлись они — он и отец, — и нечего им сказать друг другу, нечем поделиться.

Иван Семеныч, посматривая на сына из-под серых взъерошенных бровей, говорил медленно:

— Вот, живи на заводе, не бросай родного. Женись.

Борис улыбнулся.

— О женитьбе я не думаю.

— Подумай. Жениться рано или поздно, а нужно. Да, да... А, может, у тебя уж есть какая-нибудь? А?

— Нет, никакой нету.

— То-то... А была бы — все написал бы отцу-то.

И, помолчав, спросил:

— Строить будете? На собрании-то как решили?

— Будем строить.

— А как думаешь: построите? Ты не скрывай от отца, прямо скажи, не обманывай.

— Определенно сказать трудно. Время тяжелое, кто знает, как завтра жизнь обернется. Что можем — сделаем.

— Вы с Акимом Никитичем договорились бы, сообща бы работали. У него капитал. А одним — где же!..

Ждал ответа, робко смотря в лицо сына. На растопыренных пальцах Ивана Семеныча дрожало блюдечко.

— А у нас тут слухи ходят: сбежал хозяин, завод на погибель бросил... А?.. На погибель... Управляющий сказал в Совете. А я не верю: обманывают народ, запутать хотят. А чего путать-то, — и так итти некуда, и так по рукам, по ногам связаны. — Сильнее дрожало блюдечко, и плескался чай на подштанники отца. — Как в Москве-то? Что там насчет хозяина слышал? Может, заперли его, не пускают?.. А? Ты скажи, где он?

— В Москве тоже многое неизвестно. Знают только: Карпухин исчез, почувствовал, что не удержаться ему, и скрылся.

Блюдечко выскользнуло из пальцев Ивана Семеныча и звякнуло, разбившись о края стола.

— Не вставал бы ты с постели, — сказала Зойка, — хворый, а не лежишь.

— Да, да... — невнятно шептал смотритель, дрожащей рукой поглаживая мокрые колени. — Значит кончено... Эх, Аким Никитич, обманул. А? Ты что говоришь?

— Говорю, ложись в постель. Пойдем, уложу.

Дверь каморки распахнулась, вошли Павел и Терентий.

— Вот он какой, — громко заговорил горбун, пожимая руку Бориса цепкими горячими пальцами. — Вот он какой! Барином сделался. Ну, здравствуй, начальство, здравствуй! Новая власть! Вот и Пашка в управители затесался. Смотрите: работайте по-хорошему. Треснула Россия, как негодная чашка, а вам — склеивать.

— А ты все такой же, дядя Терентий, все кричишь.

— Я помирать буду, а кричать не перестану... ежели што неправильно.

Инженер, усаживая за стол Силина, посматривал на дверь: вот-от распахнется — и войдет Катя. Какая? Прежняя ли бойкая девчонка ли иная — непонятно близкая и чуждая?

— За хозяином жили — ничего не нажили. Как-то за вами по-живем?

Точильщик погрозился пальцем, потом показал им на кровать, де Зойка укладывала Ивана Семеныча.

— Вот пожар-то до чего довел. Смотри, на что отец-то похож.

— Ии-ээх! — взвизгнул точильщик, — сожгли завод-то!.. Может, арочно сожгли, дьяволы! Вот построй-ка теперь. Посадили на мель: и взад, ни вперед. Я бы.... Я бы... их...

Зойка качнула за ушко самовар.

— Весь выкипел, на кухню за кипятком нужно бежать. Сейчас бегаю.

— Подожди, Зоя, дай-ка мне чайник, я сам схожу. Посмотрю, как вас тут в казарме. — И, видя, что девочка недоверчиво смотрит на него, орис взял из ее рук чайник. — Давай, давай...

Казарма засыпала, коридор был глух и пуст.

За углом инженер столкнулся с кем-то, быстро идущим навстречу.

— Виноват, — и шагнул в сторону. Перед ним стояла высокая вушка в белой кофте и темной юбке. Ее смуглое лицо, вспыхнувшее йчас румянцем, знакомо улыбалось. Под черными дужками бровей сково теплились голубые глаза. Нерешительно, все еще боясь ошибиться, женер протянул руку.

— Катя!

Девушка взмахнула длинными ресницами, в ее глазах вспыхнули кавые огоньки. Она сделала движение, как будто хотела броситься Борису, и вдруг, потушив огоньки глаз, холодно пожала протянутую ку.

— Здравствуй... Здравствуйте... Куда это? За кипятком? я к вам.

— Вот ты.... какая стала!

— Выросла?

— Нет, не то... Да и выросла, конечно... В последний раз я видел бя четыре года назад... У Гремучего ключа, помнишь?

Румянец покрыл лицо девушки. Она стояла, наклонив голову, спокойными пальцами теребя пуговицы кофты.

— Ты получила мое письмо?

— Получила. Спасибо за память. Ну, я пойду. Павел у вас?

Инженер смотрел вслед гибкой девичьей фигуре, слушал отчетливый ук ее каблучков. Нет, это не та Катя, что была с ним в овраге у Гре-чего ключа! Как изменились люди за четыре года! Завод, казарма, селок — такие же, как и раньше, а вот люди иные: отец, Зоя, Павел она, Катя...

В конце коридора девушка оглянулась, кивнула головой

С приходом Кати как будто посветлело в каморке, ласковее запел угасающий самовар, не спорил, не кричал Терентий, сидел, навалившись грудью на стол, хрустя под скатертью пальцами. Борис внимательно смотрел на девушку, в ее улыбке, движениях искал прошлое. Иногда ему казалось, что в резком повороте головы, которым она откидывала спускающиеся на лоб волосы, в движениях рук, подносящих ко рту чашку, в очертаниях губ он улавливает это полузабытое волнующее прошлое. Часто взгляды их встречались, и, смотря друга на друга, они улыбались молча.

Павел был задумчив, и когда Борис спросил, о чем он думает, — Нечаев сознался:

— О командировке. Не хочется на долгое время уезжать с завода.

И он мельком взглянул на Катю.

Терентий, похрустев пальцами, неуклюже вылез из-за стола, простился, протянув каждому руку.

— Поздно уж, покойной ночи.

— Сомневается, — сказал Павел, когда точильщик ушел, — а старое ненавидит, озлоблен. С такими можно работать. А много и таких, что за старое крепко держатся, — вот с ними труднее будет... Ну, Катя, пойдем и мы. Устал Борис с дороги-то. — И, положив руку на плечо девушки, добавил: — Погуляем пойдем на свежем воздухе.

— Что ты? Спят уже все, — ответила Катя и движением плеча мягко сбросила руку Нечаева.

— Уезжаю завтра... А ты вот не спросишь: куда, зачем?

— Слышала я, говорили вы тут: в командировку едешь. Надолго?

— Недели на три, а может быть и месяц проканителюсь... Ну, что ж, пойдем?

В его голосе были настойчивость и даже, как показалось инженеру, грубость.

Катя встала, поправила волосы и, не смотря на Бориса, ответила:

— Пойдем, только ненадолго.

У двери они остановились. Павел, обнимая плечи девушки, обернулся:

— Я тебе писать буду, как у меня дела пойдут. Завтра в управлении увидимся.

Катя смотрела в коридор. Толстая коса ее, перехваченная вверху алой лентой, лежала на белой кофточке. И когда рука Павла любовно погладила эту косу, Борис почувствовал, что надоедливый червячок настойчивее и больнее заточил сердце.

(Продолжение следует.)

Моя жизнь.

С. Подьячев.

(Продолжение.)

Когда-то, задолго еще до революции, была и славилась на всю «святую Русь» в Козельском уезде Калужской губернии некая Оптина пустынь, в которой, между прочим, сделал первую остановку сбежавший из своего имения Лев Толстой.

Пустынь эта славилась какими-то особенными «старцами-прозорливцами», между которыми особой популярностью пользовался некий отец Амвросий, с которого будто бы, как говорят, Достоевский списал своего Зосиму в «Братьях Карамазовых». К этому-то вот прославленному старцу-прозорливцу, или же, как теперь бы сказали, к его «заместителю», я и задумал сделать пешее путешествие из Москвы.

Помню, в те времена, когда решил спутешествовать к «старцу», шлялся я по Москве без дела, оборванный и голодный. После того как меня «за неспособность» и за «непостижимую леность» выгнали из училища и я явился домой, жизнь моя стала похожа на какую-то скачку с препятствиями по отвратительной, изрытой ухабами-ямами, глухой заброшенной дороге. Года два я прожил дома, спасаясь от попреков и насмешек, летом — на чердаке или в сенном сарае, а зимой — в углу за печкой, так что отец иногда в шутку называл меня «Ваня запечный». Скажет, бывало, покачав головой:

— Эх ты, Ваня запечный, Ваня запечный! В кого ты только уродился! Трубы тобой затыкать только, больше ты никуда не годен!

Что же я делал, спасаясь по чердакам и сараям, как проводил время? Я читал. Читал все, что попадало так или иначе в мои руки, и помню, после того как прочел «Бедные люди» Достоевского, поразившие меня до глубины души, стал сам «сочинять», подражая этому произведению, какую-то чепуху в письмах от брата к сестре.

Потом, помню, напала на меня какая-то религиозная одурь. Стал ходить в церковь и стал тайно на чердаке, как заправский какой-нибудь отшельник, в чулане молиться богу. Случалось, что целые ночи напролет молился я, стоя на коленках, кланяясь в землю и с плачем простирая руки к темной выцветшей иконке с изображением Христа.

Молитвы читал я по какому-то «часослову» — книжке, принадлежавшей отцу и выдержавшей, как значилось на обложке, «сто шестое тиснение».

Помню, бывало, по крыше чердака шуршат ветками березы, доносится откуда-то издалека петушиный крик, ухает — тоже где-то далеко — выпь, скоро рассвет, — а я стою на коленках, передо мной на толстом еловом обрубке-«стуле» горит огарок свечки, лежит «часослов», и по нем читаю «на сон грядущий» молитвы.

— Господи, — с умилением и со слезами, подступающими к горлу, шепчу я слова молитвы; — в покаянии прими мя! Господи, не остави мене! Господи, не введи мене в напасть! Господи, даждь ми мысль благу! Господи, даждь ми слезы и память смертную и умиление!..

А великим постом, перед тем как итти причащаться, я молился, взывая: «Виждь, господи, смирение мое и остави вся грехи моя». Дальше шло перечисление грехов: «блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех непотребный, пьянство, гортанобесие, объядение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, словоблудие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие: всякое мое чувство и всякий уд осквернних, растлих, непотребен сотворих, делателище быв всячески диавола», и т. д. и т. д. — до тех пор, пока закружится голова и замелькают перед глазами огоньки.

Весной, когда еще не перестали петь соловьи и куковать кукушки, любимым моим занятием была рыбная ловля. Уйдешь, бывало, потихоньку вечером из дому, захватив хлеба, верст за шесть на мельницу, где в двух глубоких прудах («спруде») водились лини, окуни и главным образом щуки.

Мельница была маленькая, так называемая «колотовка» в один постав, и хорошо работала только весной, когда было много воды. «Заведывал» этой мельницей старый, бывший крепостной, сутуловатый с длинной бородой мельник, живший в маленькой, ткнувшейся вперед избенке, стоявшей около самой спруды. С ним жила жена его — злая ехидная старушонка.

Мельница эта со своими прудами, наполненными чистой, свежей водой из многих ключей, бивших из крутых берегов оврага в верховьях спруды, и ручья, вытекавшего из болота версты за три-четыре от мельницы, расположена была в глухом месте — в стороне от дорог, и когда-то во времена крепостного права, как говорили, сюда нередко наезжал с гостями ловить рыбу и любоваться действительно прекрасной местностью богатый помещик-князь, к числу прочих богатств которого принадлежала и эта мельница с ее наполненными ключевой студеной водой прудами, в которых водилось много рыбы.

Здесь-то вот, на берегах этих прудов, я и проводил время. Приходил сюда всегда вечером, когда уже село или садилось солнце, и сейчас же, забравшись в известное и давно облюбованное мной место за густо

разросшимся ольшняком и кустом черемухи, ветки которого касались местами воды, располагался здесь на всю ночь.

У меня были три жерлицы и две удочки. «Живцов» — мелких карасиков — я приносил с собою в ведерочке, наловив их в пруде, а чтобы они «не заснули» дорогой, клал в ведерко крапивы. Насадив на крючки «живцов» и расставив жерлицы, я разматывал удочки, закидывал лески за осоку — так, чтобы были видны поплавки, — и ждал клева.

Позади меня, по склону глубокого оврага, сплошь заросшего кустарником, во многих местах, там и сям раздавалось соловьиное щелканье и, постепенно стихая, умолкали другие птичьи голоса. Вода в пруде стояла как зеркало, и в зеркало это опрокинулись и смотрелись берега, и лес, и далекое, таинственно прекрасное, с потухающей зарей небо.

Сидишь, бывало, смотришь, слушаешь и, весь охваченный и как бы слившись в одно вместе с природой, мечтаешь и воображаешь себя то каким-то Робинзоном на необитаемом острове, то спасающимся отшельником в пустыне. Когда же все затихнет и станет так темно, что уже не видать поплавков, здесь же под кустом свернешься калачиком и ляжешь спать... А весенние ночи какие? «Заря с зарей сходятся». Проснешься,— а уже светло, и опять щелкают соловьи. А немного погодя налево из-за бугра всплывает огненным шаром солнце, и откуда-то издалека слышны звуки колокола, и пригибая сучки черемухи, с листьев которых падают капли росы, лезет ко мне мельник и, ухмыльнувшись, спрашивает:

— Ну, как, парень, дела? Что господь дал? Пымал ли кого? Иззяб, небось, а? А ты бы, дурачина, в избу шел, ничем здесь-то, на сырости-то. Вот уж точно: охота пуще неволи! Чайку-то ты принес ли с собой, а то пойдем, старуха самовар скипятила...

До самой глубокой осени, до тех пор, пока наступали морозы и выпадал снег, я «спасался», проживая на чердаке в чулане. Холод прогонял меня оттуда, и в силу необходимости приходилось быть дома, постоянно на глазах. Тяжелое это было время! Тоска вспоминать его.

Как мне жилось тогда, можно судить по тому, что я однажды, доведенный до отчаяния, малодушно решил покончить с собой.

Почему, в силу чего, благодаря каким обстоятельствам я решился на это, говорить не буду, не буду тревожить тени давно отошедших людей. Расскажу только самый факт этого, так сказать, нежелания жить на белом свете.

Был март. Дни стояли ясные, солнечные. Днем таяло, а вечером и ночью морозило, и по утрам наст делался настолько твердым, что по нему, как по полу, можно было, не проваливаясь, ходить где угодно. Особенно хорошо было ходить по лесу, когда уже вышло, но невысоко еще стояло на чистой голубой лазури, солнце, под лучами которого снег искрился и блестел, а от деревьев ложились длинные тени и кругом стояла таинственная ничем не нарушимая тишина.

Однажды, таким-то вот утром, я убежал в лес и здесь, как сейчас гляжу, на полянке, неподалеку от корявого куста можжевельника, пробил сапогами наст, сделал в снегу углубление, так чтобы свободно можно было лечь, разделся, поднял рубашку и голым правым боком лег на снег. Делая так, я думал, что простужусь, заболею и умру.

Пролежал минут десять-пятнадцать, думая, как буду помирать, как будут обо мне плакать, как понесут зарывать, как начнут в холодное мое тело всасываться черви, — и мне сделалось вдруг до того страшно и жалко самого себя, что я вскочил, торопливо оделся и опрометью бежать от этого места!

Никаких последствий в смысле заболеваний от этого моего лежания в снегу не последовало, а наоборот оно принесло мне пользу, дав понять, что делать подобные вещи стыдно, что смерть, когда ей нужно, возьмет меня сама и что мне надо не умирать, а жить и бороться, надеясь на самого себя!

Вскоре это мне и пришлось, так сказать, применить на деле. Жизнь дома делалась все неприятнее и тяжелее. Отцу уже не один раз делались выговоры: «Долго ли будешь держать у себя на шее дармоеда?» Мать плакала, а когда оставалась со мной наедине, принималась жалобным голосом причитывать:

— Сынок-батюшка, ты бы царицу небесную просил, молился бы ей, помогла бы она тебе на праведный путь встать. Куда вот теперь тебя деть-то? Господ ты окончательно прогневал своим поведением. Хлопотали они за тебя, а ты чего наделал? Нас тоже с отцом до болезни довел. Упрямства в тебе конца-краю нет... А все книжки тебя до этого довели! Как говорила: «Брось, сынок, не доведут тебя они до добра»... Не-ет! Все по-своему! Вот теперь и казнись... Близок вот он, локоть-то, а не укусишь.

— Уйду я от вас!

— Куда ты уйдешь-то?

— В Москву. А то, как дядя Никон, куда глаза глядят!

В конце концов, так и пришлось сделать, то есть уйти. Ушел я в Москву. Отец дал полтора рубля денег. С ними я и отправился искать «места».

Тогдашняя Москва была не то, что теперешняя. Тогда она была грязная, пьяная, без электричества, без трамваев. На каждом шагу попадались вывески трактиров, портерных, закусочных, и чуть ли не около каждой тумбы (особенно зимой) торчали, поджидая седоков, извозчики, которые на призыв седока: «Извозчик!» — толпой, человек по пяти, бросались к нему и буквально рвали на части. Шуму и грохоту тогда по Москве было больше, и колокольного звону по церквам было тоже несравненно больше. Пустующих квартир в те времена — хоть отбавляй! В редком доме не висели где-нибудь около ворот при входе или на окнах бумажки — «объявления» о том, что сдается квартира, — о цене узнать у дворника.

На окраинах, близ застав и в таких местах, как Грачовка, Сухаревка, Хитров рынок и другие, можно было в какой-нибудь «обжорке» напитаться за пять, за шесть копеек досыта. Можно было копейки на две спросить щей, на копейку хлеба, копейки на две «мяса» — щековинки или рубчика.

Все это я узнал впоследствии, обжившись и оглядевшись в Москве, а на первых порах, проев свои полтора рубля, я чуть было не подох с голоду. Ночевал, где попало. Пока были деньги, ночевал на каком-то постоялом дворе у Бутырской заставы под нарами, вместе с двумя постоянно находившимися там нищенками, старушонками злющими, страшными, называвшими меня «паршивый чорт» и «сволочь». Ночевал и на бульварных скамейках, и около Кремлевской стены в Александровском саду.

«Места», понятное дело, для меня не находилось, ибо и знакомых-то в Москве не было, которые могли бы сунуть меня куда-либо, а какой-нибудь поденной работы тоже, по своей неопытности и незнанию «ходов», не находил.

Оставалось или нищенствовать, или «лезть в петлю», или возвращаться домой, чего мне пуще всего не хотелось.

Но, к счастью или нет, ничего подобного не случилось, а случилось вот что.

Однажды утром сидел я на скамейке в конце Рождественского бульвара, близ Трубной площади, почти напротив теперешнего губернского Дома крестьянина, а в те времена знаменитого первоклассного ресторана «Большого Эрмитажа». Было еще рано. Только что взошло солнце, и на бульваре и на площади было малолюдно. Я сидел и смотрел, как на той стороне бульвара под липами какие-то страшные, растрепанные женские фигуры делили между собой (их было четыре) мелкие медные монеты, ругаясь матерными словами.

— Вот так девочки! — раздался вдруг за моей спиной грубый голос.

Я обернулся. Передо мной стоял высокий, с большим, распухшим, посиневшим носом, в потрепанной сдвинутой на затылок шляпе, из-под которой выбивались космы рыжих волос, большеротый губастый человек. Одет он был в длинный коричневого цвета грязный летний «дипломат». Глаза его были мутны, и от него сильно пахло сивушным противным перегаром.

— Вот так девочки! — повторил он снова и, обойдя кругом скамейку, сел со мной рядом.

— А ты что тут сидишь? — полуобернувшись ко мне, грубо спросил он.

— А тебе какое дело? — не менее грубо спросил я.

— Ишь ты, — ухмыльнулся он. — Кусаешься! Ночевал, что ли, здесь?

И, не дожидаясь, что я отвечу, достал из кармана дипломата согнутую папироску, закурил, сплюнул несколько раз и сказал:

— А я вот выхаживаюсь.

— Это как же? — спросил я.

— С перепоя я сильного. Третий день пью. Выхаживаюсь вот теперь, то есть в себя прихожу. Жду вот, отопрут трактиры. Всю ночь не спал. Кошмар, брат!.. Черти представляться стали. Иду, а на дороге, понимаешь, ворон черный сидит, глядит на меня, головой качает, смеется. Я к нему, а он от меня отлетел шагов на пять, сел, да и кричит человечьим голосом: «Сволачь, сволачь, сволачь!» Страшно, брат!

— Зачем же так пьешь? — спросил я.

— Гм-м... Зачем? Не знаю, брат, зачем!

— Чудно! — сказал я.

— Действительно, брат, чудно. А ты не пьешь?

— Нет.

— Не привык еще!.. Да ты что здесь торчишь-то? Без делов, что ли, а?

Мало-по-малу разговорились, и я сам не знаю, как это могло случиться, самым откровенным образом, как какому-нибудь близкому любимому человеку, рассказал про себя все без утайки.

— Так, так! — повторял он, внимательно слушая и глядя на меня выпуклыми стеклянными глазами. — Так!

И когда я кончил, подумал что-то, покряхтел и, хлопнув меня по плечу, сказал:

— Паспорт есть?

— Есть.

— Ну, так устрою! На место устрою! В Синодальную типографию прилажу тебя в наборщики. Дядя там у меня значительная птица. Чорт, можно сказать, а не человек, а власть имеет.

— Да ведь я по этому делу ничего не смыслю, — сказал я.

— Научишься! Эва, сказал: «не смыслю»! Надо смыслить. А теперь пойдем.

— Куда?

— Иди за мной и больше ничего! Не отставай от меня ни на шаг. Куда я, туда и ты! Идем! Иди и молчи!

И вот, помню, мы пошли. Он — вперед, я — за ним.

Пройдя сколько-то, он приостановился, указал мне рукой на вывеску и спросил:

— Что напечатано, читай?

— Трактир Калгашкина! — прочел я.

— Так, правильно. Значит, поворачивай оглобли — заходи.

Он вошел в трактир. Я — за ним. В те времена трактиры разделялись на два, а иногда и на три отделения: первое — «дворянское», более чистое, второе — для всех и третье (не везде) — для извозчиков. Почти все трактиры торговали водкой, и в редком из них не было «машины».

В помещении для извозчиков был так называемый «каток», то есть буфет-стойка, где какой-нибудь отставной солдат или выжига-мещанин торговал «от себя» закусками самого низкого сорта: печонкой, легким,

рубцом и т. п. Водкой в катке не торговали, ее продавали в настоящем буфете, расположенном обыкновенно на видном месте, против или около входной двери. Здесь за стойкой, уставленной закусками и разной величины стаканчиками, стоял приказчик, который и цедил водку по желанию покупателя в тот или иной по величине и по цене стаканчик. Цена стаканчикам, или, как их называли, «стакашкам» («Эй, насыпь-ка мне вон тот стакашек!»), начиналась, кажется, с трех копеек и постепенно, сообразуясь с величиной «стакашка», все возвышалась и возвышалась.

Войдя в трактир, мой новый знакомый прошел к буфету, указал буфетчику пальцем на маленький пятикопеечный стакашек и сказал:

— Насыпь!

Буфетчик «насыпал». Мой спутник взял трясущейся рукой стаканчик, выпил, крякнул, сплюнул, полез в карман, побрянчал в нем деньгами, выкинул на стойку пятачок и, молча повернувшись к двери, пошел из трактира. Я — за ним.

Пройдя весь Цветной бульвар, мы вышли с ним на Самотеку и направились вверх по Садовой к Каретному ряду и дальше — к Долгоруковской и Тверской. На углу Долгоруковской и Садовой он снова указал мне на вывеску, и я снова прочел: «Трактир с продажею питей распивочно и навынос».

— Заходи! — произнес он и, отворив дверь, направился вверх по лестнице в помещение трактира.

Здесь точно так же, как и в первом, он выпил такую же порцию и опять, молча повернувшись к двери, пошел вон.

Таким образом дошли мы с ним до Смоленского рынка, и пока шли, он еще раза три заходил в трактиры, а на Смоленском сказал:

— Здесь мы сделаем основательный отдых, залогу.

«Залога» заключалась в том, что мы зашли со двора в трактир для извозчиков и здесь в низком, пропахшем копотью помещении заняли места за столиком. Он купил в катке хлеба, закуски, велел половому подать пару чаю и, положив купленные закуски на стол, сказал, обращаясь ко мне:

— Ешь, поправляйся, а потом опять пойдем выхаживаться.

Так, помню, до самого вечера проходил с ним я по Москве, и хождение это утомило меня, надоело, — тем более, что он заметно стал пьянеть и пугать меня своим видом.

В конце концов я решил покинуть его, но он предупредил меня, сказав:

— Ну, теперь пойдем домой спать. Довольно! Погуляли.

Квартира у него была на Сретенке, в переулке, в полуподвале сырого, стоявшего во дворе одноэтажного дома, вероятно хорошо помнившего нашествие на Москву французов. Занимал он небольшую комнату и жил в ней с любовницей — пожилой, старше его, добродушнейшей женщиной.

Рядом с ихней комнатой была столярная мастерская.

Помню, когда мы вечером пришли, нас встретила с лампочкой в руках плохо одетая женщина, которая на его слова:

— Вот и я приехал с экстренным поездом,—тоненьким голоском насмешливо-ласково крикнула:

— Здравствуйте, гость дорогой! С приездом! Что вас давно не видать? Забогатели, загордели? А это кого вы изволили с собой привести?— глядя на меня, спросила она.

— Жильца привел! — ответил он и, обратившись ко мне, сказал: — Садись! Садись, не бойся! Я здесь хозяин. Тебя как звать?

Я сказал.

— Семеном? Гм-м! А меня Евграфом, а по отце Михалычем, а фамилия моя — Кошкин. Занятие: работаю в типографии. Понял?

И, обратившись к женщине, сказал:

— Ночует он у нас. А завтра я его сведу к дяде на Никольскую, не пристроит ли как-нибудь. — И, как-то понизив и смягчив голос и точно извиняясь, добавил - пояснил: — Из деревни малый приехал. Ходит, дурак, места ищет, а сам никого не знает. Жалко!

— Врет, небось, — сказала женщина, повесив на стенку лампочку, с которой встретила нас. — Тебе всех жалко. Рад всех нищих к себе позвать! Где пропадал? Выхаживаешься, небось, а? Третий день гуляет мальчик и про меня забыл.

И, видя, что он молчит, не хочет отвечать, обратилась ко мне и начала расспрашивать меня, кто я, откуда, живы ли родители, сколько мне лет, пью ли я водку, и т. д. и т. д.

Люди эти пригрели меня. Ему удалось через своего дядю «пристроить» меня в старинной Синодальной типографии на Никольской улице, где печатались одни только «божественные» вещи: псалтыри, часословы, молитвенники, апостолы, жития, и т. д. и т. д., наборщиком на десять целковых жалования в месяц. Большей цены я, как новичок в этом деле, по совести говоря, и не стоил, ибо мне пришлось учиться набирать, и постиг я эту премудрость не сразу, — тем более, что шрифт был так называемый «славянский», с разными значками, титлами, заковычками.

Жить приютили они меня у себя. Спал я на полу в углу, а за харчи брали они с меня семь рублей. Оба оказались прекрасными людьми в смысле доброты, но оба любили выпить. Делалось это почти каждый день, а по праздникам — обязательно. Пьяные, пели песни, почему-то всегда протяжные, заунывные: «Лучинушку», «Снежки белы лопушисты», «Заводы вы мои, заводы» и другие.

Пили, впрочем, не только они, а и соседи-столяры, вместе с своим злющим чахоточным «хозяйчиком». Я в те времена не пил, и мне особенно неприятны были пьяные и ихняя ругань и крики.

По праздникам я потихоньку уходил в библиотеку, где можно было читать книжки, и проводил там все время. Не бросал и писанье: «сочи-

нял», подражая Кольцову, Никитину, Некрасову (особенно Некрасову), стихи и насочинил их большую тетрадь. Стихи в большинстве были унылые, на манер «Эх ты, доля, моя доля, доля бедняка» и, как я теперь понимаю, никуда негодные, а в то время заставлявшие дрожать мое сердце и вызывавшие на глазах слезы.

Пословица гласит: «Привыкнешь, и в тюрьме живешь». Но это только отчасти. Трудно привыкнуть к нужде и грязи. Плохая это привычка. Пуще всего, как я уже и сказал, надоело мне и угнетало окружающее меня пьянство. Хозяева пили, щеголяя этим искусством друг перед дружкой. У соседей-столяров каждое воскресенье происходили скандалы, драки. «Хозяйчик», — как я уже говорил, злющий чахоточный мужичонка, — ревновал свою молодую, гладкую бабу и бил ее чем попало. Его матерщина и ее визг раздавались по всему нижнему помещению дома.

Однажды утром в какой-то праздник подгулявшие столяры поймали меня в проходе коридорчика, повалили на пол навзничь и с хохотом и ругаясь начали насильно поить меня водкой. Я плотно сжал рот, но они насильно разжали мне его и влили водки... Я захлебнулся.

В конце концов, хозяин квартиры кончил плохо. Как-то раз зимой притащили его вечером, пьяного и обмороженного, домой. Он заболел, попал в больницу и там быстро умер. Подруга его закрутила после его смерти во-всю, пропила все, что можно, и вскоре же пошла вслед за своим сожителем.

Смертная тоска напала на меня в то время. Бился я как рыба об лед. Хотелось чего-то светлого, радостного, ласки, любви, — а жизнь, как бешеная собака, скалила на меня зубы...

Возвращаюсь, однако, назад к тому, о чем хотел и начал рассказывать, то есть к путешествию к «старцам» в Оптину пустынь.

(Продолжение следует.)

Четыре стихотворения.

1.

Ты вправе, вывернув карман,
Сказать: ищите, ройтесь, шарьте.
Мне все равно, чем сыр туман.
Любая быль — как утро в марте.

Вода бежит со щек трущоб,
Из труб выталкивает втулки
И размышляет, что еще б
Пробулькать в уши переулка.

Мне все равно, какой покров
Сурово льнет к моим покровам,
Но быль есть быль, когда дерев
Не разглядеть в пару дворовом.

Стволы в обмякших армяках
Стоят в грунту из гумигута,
Хотя ветвям наверняка
Невмоготу среди закута.

Мне все равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая быль — мощеный двор,
Когда он плесенью окутан.

Роса бросает ветки в дрожь,
Струясь, как шерсть на мериносе.
Роса бежит, тряся, как еж,
Сухой копной у переносья.

Мне все равно, чьи голоса
Толкутся сзади в час рассвета.
По фонарям скользит роса,
И век поэта льнет к поэту.

Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут, как сон,
Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов,
Попрет он вон, подобно дыму,
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он будет плыть, курясь из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф:
Горит такого-то эпоха.

2.

Мгновенный снег, когда булыжник узрен,
Апрельский снег, оплошливый снежок!
Резвись и тай, — земля как пончик в пудре
И рой огней как лакомки ожог.

Несись с небес, лишай деревья весу,
Ерошь березы, швабрами шурша.
Ценители не смыслят ни бельмеса,
Враги уйдут, не взявши ни шиша.

Ежеминутно можно глупость ляпнуть,
Тогда прощай охулка и хвала!
А ты, а ты, бессмертная внезапность,
Еще какого выхода ждала?

Ведь вот и в этом диком снеге летом
Опять поэта оторопь и стать.
И не всего ли подлиннее в этом?
— как знать?

3.

Анне Ахматовой.

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность,
А ошибусь, — мне это трын-трава.
Я все равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Их шорох настигает с первых строк
И слышится при каждом новом слоге.

На них весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза за кройкой в сумерки слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали Ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять:
Каналы пахнут затхлостью укладок.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей, и звезд, и фонарей, и вех
И с мосту вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остер.
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи.

Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепли прозы пристальной крупицы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья болью заставляет биться.

4.

Мейерхольдам.

Жолоба коридоров иссякли.
Гул отхлынул и сплыл и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Рытым ходом за сценой залягте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак я зайду к вам в антракте,
И смешаюсь и слов не найду.

Я увижу деревья и крыши,
Вихрем кинутся мушки во тьму.
По замашкам зимы-замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.

Обмирающею замарашкой
Триумфальная сядет за стол.
И, взглянувши на сверток размякший,
Я припомню, зачем я зашел.

Я скажу, что от чувств нет отбою,
Что в руках моих — плеск из фойе,
Что из этих признаний любое —
Вам обоим, а лучшее — ей.

Что — люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь, —
Если даже вы в это выгрались,
Ваша правда, так надо играть.

Что, как пьесою неповторимой,
Жизни жухлою краской дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму — душа.

Борис Пастернак.

Из цикла «Лицо ремесла».

Острый человек.

Можно сказать о нашем дворе, —
Он сводный брат колодцев отменных.
Он себя предоставил, как плацдарм, детворе
И, как клуб, домхозяйкам, что спорят о ценах.
А тот человек был рябой и босой
(Таким в первый раз мы его увидали),
Он придурковатое нес колесо,
У которого мозг весь в узкой педали.
Но когда он бочком вошел во двор,
Пресеклись игры и разговоры;
Был точильщик лицом и походкой — как вор,
А голосом — как потерпевший от вора.
Он взывал к благородству тупых ножей
И других захиревших детей металла,
Столько воздуха в грудь набрав, что уже
Мне нехватать его стало.
Как выдерживают легкие такой нажим?
Он рычал и хвастал, словно трус до битвы:
Топоры, дескать, станут острей, чем ножи
А ножи — острее, чем бритвы.
Ишь, отрепий стальных хирург кочевой,
Соловьем басистым распелся!
Ну, а бритвы станут острей чего —
Может, скажешь, острее перца?
Он не слышит. Ржавая полоса
Завизжала от боли искренней
И, стараясь отпрыгнуть от колеса,
Словно кровью, исходит искрами.
В равной мере тверды рука и кремень,
Оперируя тело бритвы больное,
И уже вытягивается ремень
И поет гитарной струною.

Вдруг солнце, ударив из ничего,
Как ураган безмолвный,
Раздробилось в стали, и двор вкруг него
Превратился в ковер из молний.
И с солнцем, сошедшим к нашему дну,
Нищий в лохмотьях немыслимой масти
Вырос в прекрасную величину
Упоенного делом мастера.
Все в мире отточено. Все остро.
Груда стали, только что ржавой,
Превратилась в певучее серебро
Кладовых великой державы.
И когда уходил он, рябой и босой,
За угол в пыльное лето,
Вмещало нескладное колесо
Всю высшую мудрость нашей планеты.

Сапоги.

Совхоз был за рожь. Но повадка не та
У солнца, скупого для севера.
А скот привился, и встает для скота
Зеленая армия клевера.
Брели, как орда, пастухи и стада,
Совхозовская Татария.
Хоть все из крестьян, но по роду труда —
Пастухи скорей пролетарии.
А старший пастух был для стада как бог,
Был кряжист, как бык, по конструкции,
Был ловок и прям, не имевший сапог
Ковбой вологодской продукции.
Так шло. Но примчался однажды юнец
В дырявой рубахе без пояса,
Хрипя:
— Сапоги, сапоги, наконец,
Сегодня сгружаются с поезда!
Был праздник и пляс. Под корявый мотив
Гармошки ковбои вдоль берега
Скрипели обновками, вообразив
Себя заправской Америкой.
Тут топот, мычанье, гармоника. Дик
Джазбанд, небывалый в истории.
С почтеньем взирала на буйных владык
Рогатая аудитория.

А старый бык, удивляясь, что бог
Шагает не в ногу с обычьями, —
Посмотрел на него, а потом на сапог
Сырыми глазами бычьими.
И сразу беспроволочный инстинкт,
Хранитель рода коровьего,
Быка острием холодным настиг,
Пронзивши и мозг и кровь его.
И вот рождена напряженьем всех сил
В нем мысль, ни на что не похожая:
— За эту вот обувь мой брат заплатил
Своею единственной кожею.
— Ты прав! Он зубаст — человечий закон, —
Узнаешь его на себе еще,
И скоро в последний смертельный загон
Войдешь ты походкой слабеющей.
В ноже окровавленном наверняка
— Ты гибель почуешь заранее,
И красная, красная хлынет тоска,
Холодное хлынет сияние.
Но горестный рев твой растает, как дым,
И нож заработает начерно,
И шкура расстанется с телом твоим,
Чтоб двинуться в путь предназначенный.
Под грохот машин, под фабричный галдеж
Пройдешь превращенья и рубрики,
И дюжиной честных сапог ты войдешь
В кожевные склады республики.
Ужален всей смертной звериной тоской,
Глядел бык в грядущее бедствие.
Ведь тот, кто был в жизни полезным слугой,
Пусть пользу и в смерти приветствует.
Но он не сумел сказать, что хотел,
Словами невнятными, бычьими.
Гармошка стонала, и танец летел,
Шли боги не в ногу с обычьями.
А старший, пыхтя, как большой самовар,
Сбросил куртку, что стала узкою,
Пощупал сапог: «Подходящий товар!»
И снова ударил русскую.

Ремесло нашего дома.

Полночь. Внимание!
В полночь слушать легко.
До гавани расстояние
Достаточно велико,
Но с портом, раз есть поводы
(А нет -- так просто резвясь),
Можно по прямому проводу
Вступить в разговорную связь.
И громкоговорителем
Шевеля с трудом,
Говорит портовым жителям
Одетый в леса дом:
— Я беседую с гостем пасмурным
Наших советских вод.
Эй ты, гордившийся паспортом,
Английский пароход!
Ты — трехтрубный, но срежу начисто,
Даже дам сто очков вперед:
У меня — такие же качеством,
А число их чорт разберет.
Для угля у обоих есть ямы,
Трюм с подвалом отменно схож.
Но зачем-то чердак упрямо
Верхней рубкою ты зовешь.
У обоих — прими во внимание —
Топки, лестницы, окна, свет.
Если разница лишь в названии, —
Значит в сущности разницы нет.
Помещенью зваться квартирою
Иль каютами, — все равно.
Одним словом, я констатирую:
Снаряженье у нас одно.
На дрожжах этой лондонской сырости
Рос ты в доке ввысь и вширь,
Я ж сумел и всухую вырасти,
Камнем встав на московский пустырь.
Низ отдав потребилкам, кухмистерским,
В небо лез головою я сам
Не по дряхлым часам вестминстерским,
А по острым кремлевским часам.
На заре под гудки фабричные
Надо мускулы мне напречь:

Как птенец скорлупу яичную,
Я леса мои сброшу с плеч.
Не для встречных безобразников
И бездельников всех морей, —
Красный флаг мой — салют для праздников,
Черный флаг — для траурных дней.
Ты лишь рабством живешь, я — вольный,
Ты — команда, я — коллектив.
— Верно все. Пароходу больно.
Возражений нет никаких.

А. Миних.

Японский империализм перед большими боями.

Обсервер.

Множество фактов и симптомов с несомненностью свидетельствует ι том, что японский империализм в наши дни подходит к большим исто-ическим рубежам. Сейчас еще трудно судить, когда именно для него іаступит реш:ющий момент и в какие конкретные формы выльется его оинствующая акция. Громадную роль тут будет играть внутреннее внешнее положение Японии, а также борьба противоречий и соотно-іение сил на арене мировой политики. В зависимости от той или иной омбинации указанных факторов решающий момент может приблизиться ли отдалиться, формы агрессии могут стать более острыми или, наобо-от, более мягкими, приглушенными. Но это уже вопросы второго порядка. Зажно и существенно то, что японский империализм осле 25 лет блестящих успехов и побед те-ерь вступает в полосу тяжелых бурь и по-рясений. Объективная логика мирового развития фатально заго-яет его в тупик, из которого он, конечно, будет пытаться выйти всеми ерами и средствами, не останавливаясь даже перед открытым приме-ением силы.

1. Капиталистический подъем пореформенной Японии.

В экономической истории нашей эпохи трудно найти пример такого зумительно быстрого хозяйственного перерождения страны, как тот, оторый дает пореформенная Япония. Довоенная Европа с завистью удивлением смотрела на стремительный темп капиталистического азвития Германии. Действительно, за период 1870—1914 гг. Германия з страны деревенской по преимуществу сумела стать одной из вели-айших индустриальных держав, смело бросавшей вызов таким «ми-овым фабрикам», как Англия. Но стремительность капиталистического азвития Германии теряет всю свою исключительность, когда мы начинаем : сравнивать с экономической эволюцией, пережитой за последние) лет Японией. Мы имеем при этом в виду, конечно, не столько абсолют-ые, сколько относительные цифры, не столько фактические размеры ыросшей промышленности, сколько темп процессов, приведших ее нарождению. Несколько наиболее ярких фактов и цифр достаточно ллюстрируют только что высказанное положение.

Начнем со вложения капиталов в народное хозяйство. 1877 г. (более ранняя статистика отсутствует) во все японские акцио-

нерные и другие общества было инвестировано всего лишь 18 млн. иен [1]), а в 1893 г., т. е. 16 лет спустя, эта сумма поднялась уже до 231 млн. иен. Дальнейшее развитие представляло следующую картину:

Годы	Общая сумма оплаченного капитала (в млн. иен.)
1893	231
1903	888
1913	1 983
1923	10 194
1926	12 071

Как видим, за полвека общее количество вложенных капиталов возросло в 670 раз, а за последние 34 года — в 52 раза.

Громадный рост обнаружила также внешняя торговля. В 1874 г. общий оборот ее (импорт плюс экспорт) составлял 43 млн. американских долларов, в 1894 г. он поднялся до 120 млн., а в 1927 г.— до 1980 млн. Иными словами, за 54 года размеры внешней торговли возросли в 46 раз, а за последние 34 года — в 17 раз.

Неменьший прогресс замечался и в области банковского дела. Действительно, сравнивая цифры 1896 и 1925 гг. (более ранняя статистика, к сожалению, очень ненадежна), мы получаем такую таблицу:

Годы	Число банков	Оплаченный капитал (в млн. иен)	Вклады
1896	1 277	166	430
1906	2 210	401	1 797
1916	2 143	678	3 816
1925	1 803	915	11 304

Таким образом на протяжении 30 лет собственный капитал банков увеличился в 11 раз, а сумма вкладов — в 27 раз. Большое число банковских учреждений несомненно свидетельствует об известной незрелости японского капитализма, однако, эту незрелость не следует преувеличивать: около половины всех вкладов приходится на долю 5 крупнейших банков Японии — Митсуи, Митсубиси, Сумитомо, Ясуда и Дай-Ици.

Стремительный рост наблюдался и в важнейших отраслях промышленности.

Так, например, добыча угля, в 1875 г. достигавшая всего лишь 567 тыс. тонн, в 1893 г. поднялась до 3,3 млн. тонн, а в 1926 г. — до 31,4 млн. тонн. Рост за полустолетие в 59 раз и за последние 34 года — почти в 10 раз.

Выплавка чугуна, составлявшая в 1877 г. только 8 тыс. тонн, в 1896 г. поднялась до 26 тыс. тонн и в 1926 г. до 822 тыс. тонн, — увеличение за полвека в 100 слишком раз и за последние 30 лет — в 31 раз. Выплавки стали до середины 90-х годов прошлого века в Японии вообще не было. В 1896 г. было добыто всего лишь 1 тыс. тонн, а в 1926 г. стальная продукция достигла 1 331 тыс. тонн, — увеличение в 1 331 раз.

Наконец, текстильная промышленность. Общее число веретен в 1878 г. равнялось всего лишь 12 тыс., к началу 90-х годов оно перевалило за 200 тыс., а в 1927 г. поднялось до 5 767 тыс. в собственной Японии плюс 1 330 тыс. японских веретен в Китае (Шанхай, Циндао), — всего, стало быть, около 7 млн. веретен. За полвека это дает увеличение в 496 раз (с Китаем в 583), а за последние 25 лет — в 4 раза (с Китаем в $5^1/_2$ раз).

[1]) 1 иена — 93 коп.

Мы легко могли бы увеличить количество аналогичных примеров. Но и приведенного достаточно. Бешеный темп капиталистического развития страны выступает из цитированных данных с полной очевидностью. Даже учитывая, что пореформенной Японии приходилось начинать свое промышленное развитие почти с пустого места, все-таки нельзя не констатировать совершенно феноменальной быстроты ее экономической эволюции.

2. Империалистическая стадия развития.

В итоге только что указанных процессов японский капитализм к началу XX столетия вступил в империалистическую стадию развития (приблизительным рубежом может считаться русско-японская война 1904—1905 гг.) и в течение последующих десятилетий окончательно оформился и сложился, как типичный империализм XX века — хищный, воинственный, агрессивный, отличающийся от более старых и могущественных империализмов — английского, германского, северо-американского — лишь своей относительной бедностью, малокультурностью и грубостью. Действительно, гибкости и маневроспособности у токийских правителей значительно меньше, чем у их более просвещенных европейских и американских коллег. Это объясняется, с одной стороны, молодостью японского империализма, а с другой стороны, — тем далеко немаловажным обстоятельством, что он вырос на базе военно-феодальных традиций, даже персонально впитав в состав своей верхушки виднейших представителей старых княжеских фамилий и старого самурайства.

В промышленности монополистические тенденции выступают с необычайной яркостью, быть может с большей яркостью, чем в какой-либо другой капиталистической стране, за исключением Соединенных штатов. В самом деле, три четверти угольной промышленности находятся в руках дюжины фирм. Половина всего металлургического производства приходится на долю одного завода (государственного) Явата на острове Кюсю, вторая половина распределяется между десятком частных фирм. Вся бумажная промышленность находится в руках двух фирм, а вся медная — в руках четырех. В хлопчатобумажном производстве Японии насчитывается всего 53 компании, но 9 из них располагают 85% веретен. Аналогичное явление наблюдается почти в каждой отрасли народного хозяйства.

Несколько слабее те же монополистические тенденции сказываются в банковской сфере, но и здесь они, все-таки, чрезвычайно сильны. Правда, еще в середине 1927 г. в Японии насчитывалось 1 514 самостоятельных банковских учреждений, но, как мы уже знаем, около половины всех вкладов находилось в руках пяти крупнейших банков.

Сращивание промышленного и банковского капитала в Японии необычайно могущественно. Однако здесь оно имеет одну особенность, не встречающуюся обычно в Европе и Америке. Там, по правилу, банки доминируют над промышленностью. Здесь такого ясного и бесспорного господства банков пока нет. Сращивание банковского и промышленного капитала в Японии происходит не только путем покупки банками акций промышленных предприятий или предоставления им долгосрочных займов (хотя это, конечно, имеет место), но также и путем соподчинения банков и промышленных предприятий в рамках третьих более могущественных капиталистических объединений, охватывающих как банки, так и промышленность и тор-

говлю. Наиболее яркий пример тому — знаменитые концерны Мицуи и Мицубиси. В собственные предприятия Мицуи вложено свыше 500 млн. иен, из которых на долю банка приходится только 60 млн. Наоборот, 300 млн. составляет капитал основного «Товарищества Мицуи», которое руководит всеми предприятиями этой фирмы, в том числе и банком. и которое по общему характеру своей деятельности ближе всего стоит к торговле (особенно внешней), а не к банкам. Примерно, такое же положение наблюдается и у Мицубиси — с той лишь разницей, что главная масса капиталов этой фирмы (около 200 млн. иен) связана не столько с торговлей, сколько с промышленностью. По аналогичному типу построены и все остальные, меньшие по размеру и более слабые по сумме своих капиталов, но тем не менее весьма могущественные концерны Окура, Кухара, Фурукава, Кавасаки и т. д. Можно без преувеличения утверждать, что каких-нибудь полторы дюжины крупнейших капиталистических компаний фактически держат в своих руках всю экономическую жизнь страны, а также всю государственную машину, с которой они теснейшим образом переплелись в порядке родственных, персональных, деловых, финансовых и всяких иных связей. В конечном счете получается не только сращивание промышленного и банковского капитала, но также весьма интимное врастание финансового капитала в государственный аппарат, притом в формах столь откровенных и циничных, как ни в одной другой буржуазной стране.

Наконец экспорт японского капитала за границу, начавшийся в более серьезных размерах с эпохи русско-японской войны и принявший особенно бурный характер в 1918—1922 гг., в настоящее время определяется круглой суммой в 2 млрд. иен, т. е. около 2% всего национального богатства страны (последние официальные исчисления национального богатства относятся к 1924 г.). Сумма, как видим, довольно незначительная — и по абсолютным и по относительным размерам, — далеко отстающая от заграничных инвестиций Англии и Соединенных штатов. Размер ее лишний раз подчеркивает сравнительную ничтожность средств, которыми располагает японский империализм. Распределение японских инвестиций по отдельным странам представляет следующую картину [1]):

Китай	1 698 млн. иен	(80%)
Южные моря	90 » »	(3,7)
Россия [2])	321 » »	(15%)
Другие страны	29 » »	(1,3%)
	2 138 млн. иен	(100%)

Не вдаваясь в подробную оценку этих данных, мы должны лишь констатировать, что реальные вложения японского империализма за границей, т. е. такие, которые приносят какой-либо доход, едва ли превышают 1 200 млн. иен, остальные же 900 с лишком миллионов приходятся на долю столь сомнительных инвестиций, как царские долги или китайские займы. В высшей степени важно подчеркнуть, что 80% всех японских инвестиций (90% всех реальных японских инвестиций) приходятся на долю Китая.

---

[1]) Данные, опубликованные в 1928 г. экономическим отделом газеты «Токио Асахи». — Их можно считать наиболее близкими к действительности.

[2]) Имеются в виду займы и долги царского правительства.

3. «Узкие места» японского империализма.

Несмотря на бешеный темп своего развития и на ряд блестящих внешних успехов, японский империализм до сих пор имеет немало «узких мест».

Прежде всего необычайная стремительность капиталистического подъема, почти взлета пореформенной Японии свидетельствует о некоторой «ненормальности» совершавшихся процессов. И, действительно, японский капитализм вырос на трех войнах — японо-китайской (1894—1895 гг.), русской-японской (1904—1905 гг.) и мировой (1914—1918 гг.). Именно эти войны послужили теми рычагами, которые дали экономическому развитию страны темп курьерского поезда.

Просматривая статистические данные, убеждаешься в этом на каждом шагу. Ограничимся только двумя примерами. В области угольного производства японо-китайская война дала внезапный прирост добычи на 60%, русско-японская — на 30% и мировая — на 50%. Выплавки стали в Японии перед японо-китайской войной вообще не существовало, а выплавка чугуна отличалась совершенно ничтожными размерами (15 тыс. тонн в год). Японо-китайская война родила японскую металлургию, русско-японская война воспитала ее, а мировая превратила ее в серьезный фактор народного хозяйства страны. То же самое наблюдалось и во всех других отраслях экономики.

Наряду с этим положительным для развития капитализма действием войны имели и свои отрицательные последствия. Войны, как иначе и не могло быть, вносили в толщу японской экономики огромное количество чисто спекулятивных элементов. В частности, последняя война (1914—1918 гг.) имела своим результатом колоссальную инфляцию со всеми вытекающими отсюда явлениями. Конечно, известное количество спекулятивного элемента имеется в капиталистической системе каждой страны, но в Японии доза спекулятивного элемента значительно выше, чем в таких странах, как Англия, Германия или Соединенные штаты, где капитализм вырастал в обстановке более «мирного», органического развития. А это значит, что фундамент, на котором в настоящее время стоит вся тяжеловесная пирамида японского империализма, экономически гораздо слабее, чем у других великих держав. Слабость японского фундамента была весьма ярко продемонстрирована совсем недавно известным банковским крахом 1927 г. И есть все основания полагать, что этот крах был далеко не последним.

Другим чрезвычайно крупным дефектом японского империализма является слабость его сырьевой базы. Хлопок целиком импортируется в Японию из-за границы (главным образом из Соединенных штатов и Индии), железная руда также на 61% ввозится из других стран (Китай, Южные острова и т. д.), нефть ввозится на 72% (из Соединенных штатов, Голландской Индии и СССР). Только в отношении угля Япония более или менее независима от внешнего мира. И перспективы в отношении сырья остаются в высшей степени мрачными, ибо Японские острова чрезвычайно бедны железом и нефтью, а также открывают мало возможностей для широкого разведения хлопководства.

Комбинированное действие указанных моментов приводит к тому, что Япония, как общее правило, имеет отрицательный торговый баланс и очень часто также отрицательный расчетный баланс. Считают, что за период 1867—1926 гг. был 41 год, закончившийся с отрицательным сальдо по внешней торговле, и только 19 лет, давших известное положительное

сальдо. Правда, японский империализм, особенно в последние десятилетия, располагает довольно значительным «невидимым экспортом» (доход с инвестиций за границей, с морского транспорта и т. д.), но все-таки, за исключением 1914—1919 гг., расчетный баланс страны в большинстве случаев отличался пассивным характером, причем отрицательное сальдо достигало иногда 300—400 млн. иен в год. Пассивность расчетного баланса остается в силе вплоть до настоящего дня. Какое значение данный факт имеет как для курса японской валюты, так и для общего состояния всего народного хозяйства страны, ясно само собой.

4. Падение темпа развития.

Однако самым зловещим «узким местом» японского империализма является то громадное падение темпа экономического развития, которое характеризует собой послевоенный период, в особенности же минувшие 4—5 лет.

Действительно, вложение капиталов в народное хозяйство Японии за последние годы сильно сократилось. Прирост оплаченного капитала акционерных и других обществ за 1923—1926 гг. составил всего лишь 18% против 50% за 1919—1922 гг. и 128% за 1914—1918 гг. Увеличение внешней торговли (импорт плюс экспорт) за 1924—1927 гг. равнялось только 20% против 74% за 1919—1923 гг. и 97% за 1914—1918 гг. Особенно резкое падение темпа обнаруживается в области экспорта, где соответственно цифры будут: 20%, 41%, 138%. В частности сильно сократился хлопчатобумажный вывоз. Экспорт хлопчатобумажных тканей за 1925—1928 гг. упал с 433 до 352 млн. иен, т. е. на 19%. Экспорт хлопчатобумажной пряжи упал просто катастрофически, — с 123 млн. иен в 1925 г. до 26 млн. иен в 1928 г., иными словами, почти в пять раз. Производство угля с 1919 г. не растет, все время колеблясь около 30 млн. тонн ежегодно. Производство нефти по сравнению с 1915 г. упало почти наполовину (это объясняется отчасти истощением японских нефтяных полей). Выплавка чугуна и стали, начиная с 1926 г., почти не увеличивается, несмотря на то, что обычно Япония вынуждена ввозить большие количества черных металлов из-за границы. Хлопчатобумажное производство после кризиса 1927 г. работает лишь с 75% нагрузки. Государственный бюджет, достигший высшей точки в 1924/25 г. (2 127 млн. иен), в дальнейшем обнаружил явственное падение и на 1928/29 г. составил всего лишь 1 709 млн. иен.

Чем объясняется это громадное падение темпа экономической эволюции Японии?

В основе его прежде всего лежит, конечно, причина общего характера, — диспропорция между производительными силами мировой промышленности и покупательной способностью мирового рынка, которая является столь характерной чертой послевоенного периода. В данном конкретном случае чрезвычайно важную роль играют, с одной стороны, индустриализация Китая и Британской Индии, а с другой стороны — мощная конкуренция промышленности английской, американской и отчасти германской. Вот некоторые любопытные цифры, ярко характеризующие только что высказанную мысль:

	1925 г.	1926 г. (в млн. иен)	1927 г.	
Весь экспорт Японии .	2 306	2 045	1 992	—315 (14%)
В том числе:				
Экспорт в Китай	64	574	492	—152 (24%)
Экспорт в Индию	17	156	168	— 5 (3%)

Как видим, особенно сильное падение экспорта приходится на долю Китая и в меньшей степени на долю Индии. В чем же дело?

А дело все в том, что японский экспорт примерно на $^2/_3$ является текстильным экспортом (в частности, экспортом хлопчатобумажных тканей и пряжи), между тем число веретен в Китае за 1920—1927 гг. увеличилось с 1,6 до 3,6 млн. или на 123%, а в Индии за 1913—1927 гг. — с 6,1 до 8,7 млн., т. е. на 43%. К указанному надо еще добавить влияние таможенных мероприятий (введение в Индии в 1927 г. пошлин на пряжу и в Китае в 1929 г. пошлин на все виды текстильных товаров), действие которых еще не могло найти свое выражение в вышеприведенных цифрах. Отсюда ясно, что проблема сбыта представляет собой сейчас важнейшую проблему японского империализма.

Наряду с ней все более острой становится и проблема сырья, особенно в отношении железа и нефти. Мы уже знаем, что сама Япония этими продуктами чрезвычайно бедна.

Тучи, таким образом, явственно сгущаются над головой японского империализма. Опасность идет с двух сторон — как со стороны обеспечения японской промышленности нужным ей сырьем, так и со стороны возможностей сбыта производимых ею товаров. Эта опасность еще не стала острой проблемой сегодняшнего дня, но грозные контуры ее уже совершенно отчетливо обрисовались на горизонте. Японский империализм еще не вступил в полосу острого застоя и загнивания, но он уже подходит к последним рубежам своего подъема, возможного в условиях послевоенной экономики. Еще шаг, другой — и перед ним непосредственно откроются перспективы упадка, развала и умирания.

Трудности, с которыми теперь сталкивается японский империализм, особенно усугубляются еще тем обстоятельством, что, выросши на трех удачных войнах, он не умеет или плохо умеет приспособляться к условиям «мирного развития». Для этого ему нехватает ни традиций, ни навыков. Вполне естественно поэтому, что, когда в настоящее время пред господствующими классами Японии все острее становится грозный вопрос:

— Что же дальше?

Из их уст все чаще и увереннее звучит ответ:

— Война!

Да, война, всеисцеляющая, всепомогающая, всеразрешающая война! И притом не маленькая война, не война местного значения, а война большая, война мировая, несущая в своей ликвидации новый передел земного шара, при котором «кое-что» может очиститься и в пользу японского империализма. Ведь бог войны в прошлом оказался к нему столь милостив, — почему же на этот раз счастье должно ему изменить?

Такова психология, таковы настроения господствующих классов современной Японии.

Но большая война есть большой риск. Это прекрасно сознают японские империалисты. Пример Германии и царской России всегда стоит перед их умственным оком. Начать войну поэтому они хотели бы лишь при наличии благоприятной ситуации, дающей максимум шансов на успех. Ситуация же эта в основном складывается из двух моментов — состояния тыла и соотношения сил на мировой арене. Как в данном отношении сейчас обстоит дело?

Что касается тыла, то здесь японскому империализму пока особенно жаловаться не приходится. Широкие массы населения, включая рабочих и крестьян, все еще остаются под сильным действием того «патриотического» дурмана, который четверть века назад помог Японии

выиграть войну с царской Россией. Правда, в послевоенные годы классовое расслоение страны пошло быстрым темпом вперед. Рабочее и крестьянское движение в последние десять лет сделало крупные успехи и сейчас представляет уже заметный фактор политической жизни Японии. Подрастающая студенческая молодежь обнаруживает большую склонность к «опасным мыслям» и в громадных количествах поглощает коммунистическую и художественную литературу Советского союза. Но все-таки пролетариат еще недостаточно силен и организован, а учащаяся молодежь еще недостаточно устойчива и сознательна для того, чтобы существенно ослабить его боеспособность. Тем более, что широко применяемая система жесточайших репрессий (закон 1928 г. предусматривает смертную казнь за принадлежность к компартии) в соединении с чисто американскими методами подкупа и развращения вождей дает японскому империализму в руки весьма острое оружие для борьбы с подымающим голову пролетариатом. Конечно, такое положение не может продолжаться долго, — рано или поздно рабочий класс должен превратиться в грозную опасность для господствующей буржуазии — и война как раз может в чрезвычайной степени приблизить созревание такой опасности, — однако сейчас японский империализм в этом отношении находится не в худшем, а, наоборот, в значительно лучшем положении, чем империализм других стран, например, Англии, Франции или Германии.

Но если, таким образом, состояние тыла позволяет токийским правителям принимать риск войны, то совсем иначе обстоит дело с другим, в данном отношении решающим фактором — с соотношением сил на мировой арене. Основное значение для Японии имеют четыре крупнейших державы — Китай, Соединенные штаты, Англия и СССР. Каково же положение Японии в рамках этого четырехугольника?

5. Япония и Китай.

Японо-китайские отношения наших дней — это отношения империалиста-завоевателя, с одной стороны, и туземца-полураба, — с другой. Вполне естественно поэтому, что Япония и Китай — непримиримые враги. Притом очень важно, что их застарелая вражда сейчас переживает период крайнего обострения, ибо ходом событий империалист-завоеватель вынужден перейти от наступления к обороне, а долгие годы скованный туземец в стихийном порыве рвет опутывающие его цепи.

В чем суть японских «интересов» в Китае?

Она в основном распадается на две главные группы — экономическую и политическую.

Экономические «интересы» японского империализма сводятся к тому, что им вложено в пределах Китая около 1,7 млрд. иен в форме займов, облигаций и прямых инвестиций в различные транспортные, промышленные, торговые и всякие иные предприятия. Территориально вложения распределяются так: 1,4 млрд. в Манчжурии и 300 млн. во внутреннем Китае.

В Манчжурии японские капиталы инвестированы в систему Южно-манчжурской железной дороги, в крупные угольные разработки в Фушуне и Ентае (свыше 7 млн. тонн в год, причем значительные количества редкого в Японии коксующегося угля), в железные рудники и чугунно-литейные заводы в Аншане (500 тыс. тонн руды и 200 тыс. тонн чугуна в год) и в получение жидкого топлива из нефтеносных сланцев Фушуня (вероятные запасы нефти — 200 млн. тонн, в 1928 г. добыто 50 тыс. тонн). Кроме того в Манчжурии имеется еще бесконечное множество японских

предприятий всякого иного рода — торговых, банковских, промышленных и т. д. При крайней бедности Японии в нефти и железе значение Манчжурии для японского империализма чрезвычайно велико. Это его главная сырьевая база.

Во внутреннем Китае японские капиталы инвестированы главным образом в текстильную промышленность (1 330 тыс. веретен в Шанхае и Циндао), в речное судоходство (по Янцзы), в торговлю, в земельные участки, а также в горное дело, раньше игравшее чрезвычайно важную роль; но теперь, в связи с китаизированием знаменитых Ханепинских предприятий под Ханькоу, снабжавших Японию превосходной железной рудой, потерявшее три четверти своего значения.

Политические «интересы» японского империализма в Китае не менее серьезны. Китай — это ближайший тыл Японии в случае войны с Соединенными штатами или какой-либо иной заокеанской державой, и вместе с тем это 400-миллионное человеческое море, — правда, еще раздробленное и плохо организованное, но тем не менее скрывающее в себе весьма грозные политические и военные потенции. Поведение Китая будет играть исключительно важную, быть может, даже решающую роль при вооруженном столкновении Японии с какими-либо европейскими или американскими государствами. Об огромном значении Манчжурии говорить не приходится. Манчжурия — это не только тыл, но и важнейшая сырьевая база в случае войны с Соединенными штатами, и одновременно важнейший плацдарм в случае войны с СССР или Китаем или с ними обоими вместе.

Вполне понятно поэтому, какое колоссальное внимание японский империализм уделяет Китаю вообще и Манчжурии в особенности. Можно без преувеличения утверждать, что *Манчжурия является центром тяжести японской империалистической экспансии*, за который токийские правители будут держаться зубами.

Между тем ход исторического развития сейчас обращается против них. Среди величайших трудностей — внешних и внутренних — Китай начинает сбрасывать с себя империалистические цепи и превращаться в новую великую державу Дальнего Востока. Даже в костюме реакционно-буржуазного национализма эта новая держава представляет собой величайшую опасность для японского империализма. Тем грознее она будет, если в дальнейшем к власти в Китае придут иные социальные силы.

И вот японскому империализму приходится отступать. Это отступление началось около 10 лет назад, со времени бурного антияпонского движения 1919 г., но особенно интенсивным оно стало в самые последние годы. Стратегия японцев сейчас построена по одному определенному плану: в центре защиты — Манчжурия, внутренний Китай — это прежде всего козырная карта в азартной игре за Манчжурию. Двукратная посылка японских войск в Шандунь, Цинаньский инцидент, борьба по тарифным вопросам — все это и многое другое лишь широко задуманные диверсии для защиты Манчжурии. Такой же диверсией является и недавнее сближение с Англией, о котором речь будет ниже.

Удастся ли все-таки японскому империализму сохранить свои позиции в Манчжурии?

На этот вопрос можно дать только один ответ: время работает не за, а против японского империализма. Однако не подлежит также ни малейшему сомнению, что японский империализм будет жестоко драться за свои манчжурские привилегии.

Здесь заложен корень глубокого противоречия интересов Японии и Китая, обрекающего их на долгие годы вперед оставаться непримиримыми врагами.

6. Япония и Соединенные штаты.

Не лучше обстоит дело и с Соединенными штатами. Противоречие интересов между американским и японским империализмами является основным противоречием в восточном полушарии. Его ось — это то, что обычно именуется, борьбой за господство в пределах Тихого океана.

В чем конкретно выражается эта борьба?

Формы ее весьма сложны и разнообразны. Филиппины, которые с 1898 г. составляют американскую колонию и на которые бросают алчные взоры определенные группы японских империалистов; барьеры 1924 г., препятствующие эмиграции японцев в Соединенные штаты; упорное соперничество в области морских вооружений, в котором пока ни та, ни другая сторона не добилась решающих успехов; торговая конкуренция в Восточной и юго-восточной Азии, в которой Япония до сих пор оказывается достаточно стойкой и боеспособной, — вот некоторые из важнейших моментов, служащих постоянным яблоком раздора между обоими государствами.

Но все-таки самым крупным, самым серьезным объектом борьбы между Японией и Соединенными штатами, объектом, перед которым бледнеют все указанные выше проблемы, является Китай. Нельзя сказать, чтобы реальные американские «интересы» в Китае уже в настоящее время были слишком велики. Американские инвестиции здесь пока ничтожны (они едва ли превышают 100 млн. иен), а американская торговля с Серединной республикой играет весьма скромную роль во внешнем товарообороте Соединенных штатов (не больше 2,5 %). Но американский империализм думает не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Он прекрасно понимает, какие грандиозные возможности как для экспорта капитала, так и для экспорта товаров таятся в этом 400-миллионном человеческом море, и потому он упорно отстаивает свое право на эксплоатацию Китая. Придя позднее других в Восточную Азию, когда все лучшие места были уже заняты империалистами чужих наций, американцы провозгласили лозунг «открытых дверей» и «равных возможностей» для всех в борьбе за лакомый китайский пирог. Отсюда проекты банкира Гарримана о финансировании ЮМжд, после 1905 г. перешедшей в японские руки, и позднейшие планы американского министра иностранных дел Нокса о нейтрализации всех манчжурских железных дорог. Отсюда японо-американское соглашение 1908 г., гарантирующее «независимость Китая» и «равные возможности» в его пределах для подданных обеих стран. Отсюда резкие протесты Соединенных штатов против «21 требования» 1915 г. и недоверчиво-подозрительное отношение к сибирской интервенции японцев. Отсюда решения Вашингтонской конференции 1921 г. по вопросу о «независимости Китая» и вынужденная эвакуация Шандуня Японией. Отсюда — уже в наши дни — стремление Соединенных штатов разыгрывать из себя верного «друга» национального движения, ранняя ликвидация Нанкинского инцидента, признание тарифной автономии Китая, посылка в Нанкин американских советников и неясные обещания финансирования реконструкции страны.

В Китае японский и американский империализм приходят в острое столкновение. Вашингтон отказывается даже признавать «особые интересы» Японии в Манчжурии. Больше того. Ведя борьбу с Японией, Вашин-

гтон хочет делать это по возможности китайскими руками. Вот почему есть все основания ожидать, что американский империализм в дальнейшем приложит немало усилий к делу консолидации и укрепления национально-буржуазного Китая.

В итоге японо-американские противоречия не только не имеют тенденции ослабевать, но, наоборот, год от году расширяются и обостряются [1]). Импорт американского капитала в Японию, наблюдающийся в последние годы, нисколько не меняет положения: 800 млн. иен, вложенных Соединенными штатами на японских островах, составляют слишком ничтожную величину по сравнению с общей суммой американских инвестиций за границей (53 млрд. иен) для того, чтобы оказать сколько-нибудь заметное влияние на общий характер японо-американских отношений.

Япония и Соединенные штаты стоят друг против друга, как враги (правда, несколько более сдержанные и приглаженные по внешности, чем Япония и Китай), и данный факт в чрезвычайной степени усугубляет международно-политические трудности японского империализма.

7. Япония и СССР.

Когда в январе 1925 г., с трудом преодолевая свой безумный страх перед «коммунистическим призраком», японский империализм подписывал договор о дипломатическом признании СССР, он делал это под давлением горькой необходимости. Международно-политическая изоляция, в которой он очутился после Вашингтонской конференции, в совокупности с активной враждебностью Китая и Соединенных штатов заставляли его искать «нормализации» отношений со страной Советов, дабы несколько укрепить свое мировое положение. События последующих лет полностью подтвердили правильность этих расчетов, и в настоящее время японский империализм имеет целый ряд достаточно веских оснований для поддержания и укрепления «дружественных отношений» с СССР.

В самом деле, он получает из СССР столь важную для него нефть, — сахалинские концессии японцев оказались очень удачными, в 1928 г. они дали уже 120 тыс. тонн жидкого топлива и обещают с каждым годом увеличивать это количество. Он получает до 40 млн. иен в год с арендуемых японцами рыбных промыслов на Камчатке. Он импортирует столь необходимый ему лес из советского Приморья, что облегчает ему борьбу с монополистическими тенденциями американских поставщиков лесоматериалов.

Но это еще далеко не все. Мы видели, какое огромное значение для японского империализма имеет Манчжурия, — то или иное поведение СССР далеко не безразлично для его положения в «Трех восточных провинциях». Больше всего токийским правителям хотелось бы договориться «с Москвой» о совместной политике «обуздания» Китая. Так как это, к их сожалению, невозможно, — они стремятся путем «дружеских отношений» с СССР избежать, по крайней мере, особого заострения нашей линии в Манчжурии против японского империализма. Далее, токийские правители ни на минуту не забывают, что в случае войны с Соединенными штатами советское Приморье, наряду с Китаем, явится ближайшим тылом Японии, и от позиции «московского правительства» тогда будет зависеть очень

[1]) В Соединенных штатах, правда, есть некоторые элементы, связанные главным образом с Морганом, которые не прочь совместно с японцами выступить в Китае — по формуле, изобретенной в Японии: «Японские мозги, американские деньги», однако не эти элементы определяют линию Соединенных штатов в китайском вопросе.

многое. Эти соображения также сильно предрасполагают их в пользу поддержания «дружеских отношений» со страной Советов.

Но если, как видим, японский империализм имеет достаточно оснований для поддержания «дружбы» с СССР, то, с другой стороны, и СССР, следуя общим принципам своей внешней политики, — жить в мире со всеми нациями и государствами, также заинтересован в развитии и укреплении добрососедских отношений с Японией. Такова была линия советского правительства с первого момента восстановления связи между обеими странами, таковой она остается и сейчас.

Значит ли это, однако, что японский империализм может рассчитывать на прямую или косвенную поддержку СССР в своих агрессивных выступлениях в своих попытках кулаком «поправить» неприятный для него ход истории?

Конечно, нет. Как раз наоборот. СССР был и остается непримиримым врагом империалистического грабежа, в какие бы внешние формы он ни выливался. И, поскольку сейчас японский империализм вступает в полосу сугубой агрессии, в полосу конфликтов и войн, долженствующих служить делу его дальнейшей экспансии, — в СССР он не может, разумеется, найти никакой поддержки своей «генеральной линии».

8. Япония и Англия.

Остается Англия.

В течение двух десятилетий (1902—1921 гг.) Япония и Англия состоят в союзе, который своим острием был направлен против России. Этот союз являлся краеугольным камнем внешней политики Японии и определял собой ее международное положение. В результате Вашингтонской конференции 1921 г. он был ликвидирован. Три обстоятельства при этом сыграли решающую роль. Во-первых, исчезновение царского империализма, для борьбы с которым был создан самый союз, и безнадежный, как казалось британским политикам, развал революционной России. Во-вторых, давление Австралии, Канады и Новой Зеландии, всегда боявшихся японской агрессии и крайне враждебно относившихся к Японии вообще. В-третьих, наконец, стремление Англии, весьма сильное в первые послевоенные годы, договориться с Соединенными штатами о разделе мира на сферы влияния Лондона и Вашингтона. В 1921 г. британские империалисты еще питали серьезные надежды на возможность такого соглашения. Необходимой предпосылкой для него было расторжение союза с Японией.

В результате после Вашингтонской конференции Япония оказалась в состоянии полной международной изолированности, которую, однако, меньше всего можно было назвать «блестящей изолированностью». Токийские правители восприняли расторжение англо-японского союза как тяжелое поражение, но в течение всех последующих лет из их головы никогда не исчезала заветная мечта — о восстановлении между обеими странами той близости, которая обеспечила японскому империализму его наиболее решающие победы. И вот осенью 1928 г. бывший министр иностранных дел граф Учида, после подписания пакта Келлога, совершил смиренное паломничество в Лондон, а вслед затем вся японская печать под самыми сенсационными заголовками поведала миру о новом сближении, соглашении, союзе между Англией и Японией, долженствующем вкорне изменить мировое соотношение сил.

Насколько серьезны эти разговоры об англо-японском союзе? Каковы действительные отношения между Лондоном и Токио?

Не подлежит сомнению, что в настоящее время обстановка для возобновления близости между Англией и Японией более благоприятна, чем когда-либо за минувшие семь лет. Ставка британских империалистов на «мирный» раздел земного шара между Лондоном и Вашингтоном оказалась битой. Англо-американские противоречия, все больше обостряясь с каждым годом, становятся осью мировой политики. Отчетливо начинает вырисовываться перспектива новой мировой войны, еще более грандиозной и разрушительной, чем последняя, в которой главными противниками будут Великобритания и Соединенные штаты. И вот опытный и искусный английский империализм систематически и упорно начинает подготовку к великому столкновению. Он приступает к созданию новой «Антанты» против Соединенных штатов совершенно так же, как за четверть века перед тем он строил старую «Антанту» против Германии. В состав этой «Антанты» в первую очередь должны войти Франция и Япония. Совершенно очевидно поэтому, что Лондон настроен сейчас весьма дружественно к идее нового сближения с Японией. И так как Токио спит и видит во сне возобновление англо-японского союза, то, казалось бы, имеются налицо все предпосылки для успешного развития этого нового дипломатического «романа».

Однако на пути его близкой реализации имеется немало крупных препятствий. Прежде всего враждебное отношение Австралии, Канады и Новой Зеландии к Японии за эти годы не только не ослабело, но, наоборот, в сильнейшей степени возросло. Достаточно сказать, что Австралия согласилась принять участие в постройке знаменитой «Сингапурской базы» исключительно по анти-японским соображениям. Далее, экономические интересы японского и английского империализмов в Восточной Азии, в частности в Китае, не только не совпадают, но, наоборот, очень часто приходят в самое острое столкновение. Япония и Англия вывозят в Китай, Голландскую и Британскую Индию, на Филиппины и острова Полинезии одни и те же товары (главным образом текстильные) и потому везде выступают жестокими конкурентами. С особенной яркостью данный факт был демонстрирован в Китае на протяжении последних четырех лет: в 1925—1927 гг. японские купцы, всячески покровительствуя антибританскому бойкоту, наживали миллионы, всюду занимая места англичан, а в 1927—1929 гг. британские купцы, так же спекулируя на антияпонском бойкоте, упорно восстанавливали свои ранее потерянные позиции и по всему фронту теснили японцев. Наконец в самой Англии среди широких кругов рабочих и мелкой буржуазии существует сильная оппозиция против создания новой «Антанты» и в особенности против возобновления прежней близости с Японией.

Удастся ли идее англо-японского союза преодолеть все эти препятствия?

Пока на этот вопрос трудно дать определенный ответ. Но во всяком случае совершенно ясно одно: англо-японскому «роману» не суждено быстрого, ровного и бесперебойного развития. Наоборот, в отношениях между обеими странами есть все основания ожидать известных зигзагов, изломов и шероховатостей. Если в конечном счете интересы борьбы с Америкой все-таки возобладают и «роман» увенчается «законным браком», это будет нелегкий процесс. И для своего завершения он потребует еще немало времени.

9. Выводы.

Суммируем все сказанное выше.

Японский империализм подходит к серьезным историческим рубежам. Темп его развития в последние годы катастрофически падает. Про

лемы сырья и сбыта принимают необычайно острый характер. В непосредственной близости перед ним вырисовываются перспективы застоя, упадка и разложения.

Ни один господствующий класс не сдает без жестокого боя своих командных позиций. Поэтому совершенно неизбежно, что японский империализм попытается силой защитить свои привилегии, «кулаком» поправить опасный для него ход истории. Вот почему японский империализм сейчас потенциально чрезвычайно агрессивен, значительно более агрессивен, чем империализм американский, французский и даже английский. Империализмы американский и французский еще имеют возможность одерживать победы при внешнем соблюдении «мира». Английскому империализму это уже труднее, но он богат и может еще сравнительно долго маневрировать и выжидать. Японский империализм находится в гораздо худшем положении. «Мир» его душит, и потому он мечтает о войне, о большой войне, ведущей к новому переделу мира. И так как в противоположность своему английскому собрату он беден, то не может долго маневрировать и долго выжидать. Он хотел бы войны возможно скорее, — тем более, что пока он имеет основания считать свой внутренний тыл достаточно обеспеченным.

Однако соотношение сил на мировой арене в настоящий момент для японского империализма не слишком благоприятно. В лице Китая и Соединенных штатов он имеет открытых и весьма опасных врагов, в лице СССР — нейтрального соседа, который хочет жить с Японией в мире, но который никогда не пойдет на поддержку каких-либо агрессивных выступлений токийских правителей, и в лице Англии — вероятного друга, сближение с которым, однако, только еще началось и в дальнейшем, видимо, будет протекать довольно медленно и болезненно. Иными словами, японский империализм пока еще продолжает оставаться в состоянии международной изоляции. Внешнеполитически военное выступление Японии сейчас еще не подготовлено, а при таких условиях токийским правителям ничего больше не остается, как выжидать и лавировать. Ибо — повторяем еще раз — большая война есть большой риск.

Однако сердце японского империализма уже сейчас полностью и целиком в войне. В ближайшие годы он будет *обязательно участником* всех и всяческих международных комбинаций, объективно и субъективно ведущих к новому мировому столкновению. Он будет *сознательно и охотно развязывать войну*, потому что вне войны у него нет сколько-нибудь серьезных шансов на спасение.

Из истории моего бытия.

С. Канатчиков.

(Окончание.)

За Невской заставой.

Это один из тех рабочих районов, который в истории революционного движения сыграл огромную роль. Здесь были расположены такие гиганты-заводы, как Невский судостроительный (бывший Семянникова), Александровский, Обуховский, фабрики Паля, Максвеля, стеариновый завод и др.

Исключительно рабочее население Смоленского тракта жило скученно, грязно, неблагоустроенно... Собирая огромные налоги с рабочих, городская дума совершенно не заботилась об их благоустройстве. По тракту много было расположено трактиров, пивных, кабаков, церквей, но никаких культурных учреждений. На шестидесятитысячное население было всего два захудалых театра — сад «Вена» и небольшой театр на стеклянном заводе.

Неудивительно поэтому, что по праздникам, после получки, здесь бывали постоянные драки, скандалы, хулиганское избиение проходившей случайно публики. Полицейские участки наполнялись пьяными, избитыми, хулиганами. Своим дебоширством славились, главным образом, «пскопские» (псковские) — темные, неграмотные здоровые парни, выполнявшие по заводам тяжелые черные работы.

Рабочее население Невской заставы по внешнему облику и по внутреннему своему быту делилось на две части: заводское и фабричное. Первое — более культурное, с более высоким заработком и в огромном своем большинстве не связанное с деревней.

Фабричное население,— в большинстве женщины,— с малыми заработками, жившее в казармах, строго оберегаемое от внешнего влияния «благодетелями» — хозяевами, хотя и слабо было связано с деревней, но еще хранило крестьянские предрассудки и некультурность деревенского быта. Но как те, так и другие подвергались безмерной эксплоатации, разнузданному произволу большой и малой фабрично-заводской администрации внутри и диким кулачным расправам царской полицейщины вне завода и фабрики. Попасть в участок в качестве ли правого или виноватого для рабочих—все равно означало подвергнуться издевательствам, брани, а то и побоям полиции.

Поэтому во время всяких конфликтов в своей среде рабочие не терпели вмешательства полиции и старались разрешить их собственными средствами. Ненависть к полиции даже у «серых» рабочих была настолько

велика, что на «фараона», «архангела» и полицейского вообще не распространялись законы человеческого общежития. Избить и даже убить полицейского считалось подвигом, за который на том свете «сорок грехов прощалось».

Сама рабочая масса в целом все-таки была настолько темна и политически неразвита, что ввести в ее среде пропаганду социалистических идей приходилось с большой осторожностью. Почти открыто можно было ругать заводскую администрацию, полицию, попов, но нельзя было задевать ни царя, ни бога. «Чашки бей, а самовара не трожь!» — нередко можно было слышать окрики от стариков, когда кто-нибудь из сознательной молодежи задевал царя.

За Невской заставой в то время еще можно было наблюдать самые дикие сцены религиозного фанатизма. Я сам был свидетелем того, как в Крещенье при тридцатиградусном морозе человек восемь рабочих, после того как поп отслужил молебен и освятил воду в проруби на Неве, один за другим бросались в ледяную воду, дабы «очиститься» от грехов. Правда стоявшая на берегу огромная толпа народа помнится, интересовалась не столько «очистительной» стороной дела, сколько смелостью и бесстрашием купающихся.

— Вот отпетые головушки!..

— Гляньте-ка ребята, гляньте... Вон тот с бородой не токмо што окунулся, а еще поплавал... голова!..

— Апосля такого купанья, беспременно нужно полбутылку, да на печку.

— Эх сказал тоже — полбутылку... Тут бутылкой не согреешься...

Дальше слышались разговоры о том, как где купались в «Иордане» и какие от этого получались последствия.

—Дурачье, ячмена мать —выругался Быков, когда я рассказал ему о крещенском купаньи. — Ну вот видишь? А ты хочешь с таким народом социализма добиваться... Тебя же он на первом фонаре и повесит... Сперва образовать его надо.

— Ничего, раскачается, пойдет, — возражал я.

— Вот ежели бы его чем-нибудь ошарашить, он тогда поднялся бы, а так — где там... — безнадежно махнул он рукой.

Подобные суждения о рабочем народе и его темноте мне приходилось слышать не раз от людей сочувствующих и понимающих, но по тем или иным причинам стоящих в стороне. «Трахнуть по затылку», «ошарашить» чем-нибудь необыкновенным, чтобы пробудить рабочую массу, было постоянной темой разговора также и более нетерпеливых рабочих, которым не нравилась мелкая, кропотливая, будничная работа по организации и воспитанию рабочих и которые впоследствии ушли за «подвигами» к эсерам или анархистам.

Иногда у меня с Быковым происходил диалог в ином духе:

— Молоды больно вы... Нет в вас настоящей сурьезности, — говорил он с сокрушением.

— Ну так что ж? Бороды понаклеивать нам, что ли? — полушутя отвечал я.

— Не верят вам... хлибки уж очень вы... Настоящий, солидный рабочий не пойдет за вами... А в них — сила.

— А вы бы, солидные, сами взялись за дело, чем нас критиковать,— задетый за живое, возражал я.

— Да ты не сердись. Я хочу, как лучше. А насчет нас ты это напрасно — у меня детей оханка, мал-мала меньше, а Василий Евдокимов уж стар.

Эти и подобные им разговоры как-то невольно вызывались всей окружающей обстановкой и бытом рабочих Невской заставы. Здесь, на небольшом пространстве, была стянута огромная масса рабочих. Особенно это бросалось в глаза в праздники, когда, покинув свои душные «углы», «койки», казармы, рабочий люд веселым муравейником высыпал на улицы и на целые версты образовывал запруды, мешая движению паровичка, беспрерывно дававшего звонки. Естественно, что для каждого сознательного рабочего при взгляде на этих мирно гуляющих рабочих возникал вопрос: а что могла бы сделать эта масса, если бы она была сознательной? Если бы каким-нибудь чудом удалось пробудить эту силищу и направить против царского самодержавия, полиции, капиталистов?! Ведь мы бы камня на камне не оставили от старого рабского строя! Так думалось, так мечталось, глядя на эту суровую, неприглядную действительность, немногим одиночкам революционной молодежи, толкущим пока что в этой инертной, а иногда и враждебной массе.

На квартире я поселился у Быковых. Кроме меня, у них было еще человека четыре жильцов, тоже рабочих с ближайших фабрик. Было у них шумно, тесно и грязно. Но мне было у них хорошо: Авдотья Петровна относилась ко мне с исключительной заботливостью и вниманием и часто даже ставила в пример другим жильцам. Первое время довольно часто навещали меня мои старые друзья — Маракасов, Смирнов, Ваня Майоров и другие. Мы попрежнему собирались, читали и обсуждали всякие злободневные политические вопросы.

Иногда к нам попадали отдельные номера «Рабочей мысли», которую мы с большим интересом читали. Но, несмотря на этот интерес для себя лично мы ее считали мало подходящей. Мы, правда, не могли аналитически установить ее недостатки, ибо сами были слишком мало подготовлены, но нам она казалась просто мало боевой. Но зато мы ее считали великолепным материалом для ведения пропаганды среди малосознательных рабочих: писала она много о насущных нуждах рабочих, печатались в ней корреспонденции с фабрик и заводов, продергивалась администрация.

«Сами-то руководители думают, конечно, иначе, а в газете нарочно пишут не так резко, чтобы не отпугивать малосознательную массу», так думали мы про себя о «Рабочей мысли». Рабочая масса действительно, клевала на эту цеховую удочку весьма охотно, как я потом имел возможность неоднократно убедиться, но зато она не двигалась в своем политическом развитии.

Однажды в модельную мастерскую я принес переданное мне кем-то стихотворение, которое мне очень понравилось. Привожу его, как оно сохранилось у меня в памяти:

Гибнет счастье жизни нашей...
Мучается люд.
День деньской с утра до ночи
Работай! Трудись!
Дармоедов же, начальство
Бойся, берегись!
И никто нашь труд не ценит,
Труд наш — не для нас:
Им живет и богатеет
Тот, кто мучит нас.
. . . .
. . . .
. . . .

. . . .
Глуп рабочий люд!
За начальство же молиться
В божий храм идут.
В храме поп им начинает
Проповедь читать,
Что терпеть нужно, молитсья
И уметь страдать.
И терпит люд рабочий,
Терпит и молчит,
И последнюю копейку
Он к попу тащит.

Стихотворение имело самый неожиданный успех даже среди рабочих-стариков. Его читали, переписывали, учили наизусть, и, чтобы за-

получить его устанавливалась очередь. Среди модельщиков у меня имелось немало врагов, которые не могли мне простить, что я при поступлении нарушил цеховые традиции: отказался поставить «привальную». Широко было известно, кто принес это стихотворение. Я приготовился к самому худшему исходу. Но проходили дни, недели, и мои опасения не оправдывались. После этого ко мне многие, которых я опасался, стали украдкой подходить и просить, нет ли чего почитать. Этот успех стихотворения я мог объяснить исключительно тем, что в нем не задевались ни царь, ни бог.

Но зато прокламации «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» мне уже приходилось распространять с большей осторожностью, так как они сразу же повергали в панику и раздражение «солидную», «почтенную» и отсталую часть рабочих.

За Невской заставой у меня скоро образовался обширный круг связей с рабочими не только нашего завода но также с других заводов и фабрик. Среди них припоминаю Добровольского с фабрики Максвеля, Петра Митрофанова от Паля, Михаила Сергеева — слесаря и др.

Особенно большой горячностью среди них отличался Добровольский. Когда мы собирались, он всегда приходил взволнованный, встревоженный и с дрожью в голосе рассказывал о какой-нибудь обиде или об оскорблении, нанесенном администрацией какому-либо рабочему или работнице. Его гнев и возмущение обычно не столько вызывались самой администрацией, сколько теми рабскими приниженностью и покорностью, с какой сносилась обида.

— Эх-ма видно, нескоро проснется рабочий народ, — с горечью махнув рукой, заканчивал он свою гневную беспорядочную речь.

Иногда он цитировал стихотворение Некрасова:

Буря бы грянула, что ли!..

По возрасту Добровольский был старше нас, но он был такой бурный, пламенный, честный, так глубоко переживавший всякую несправедливость, обиду, что мы не на шутку опасались, как бы он на чем не сорвался и не выкинул какую-нибудь несуразную штуку.

После того, как достаточно друг друга прощупали и уверились, мы образовали кружок человек в шесть-семь. Руководил нашим кружком высокий с русой бородкой студент Данилов [1]) — спокойный, выдержанный, обстоятельный. Занятия наши происходили чаще всего в воскресенье утром, в комнате Митрофанова или у меня. Данилов вначале стал нам рассказывать о жизни и борьбе рабочих в Западной Европе. Слушали мы его со вниманием, но и он сам и мы чувствовали, что эти вопросы нас не захватывают.

— Вы мне, товарищи, не стесняясь, скажите, какие вас вопросы интересуют? — обратился он к нам, когда, очевидно, заметил, что мы его слушаем больше из деликатности.

— Нам вот все говорят про заграницу да про то, как рабочие плохо живут, — сказал Добровольский, — а вы бы вот лучше рассказали нам, была ли у нас в России в старину какая-нибудь борьба за свободу? Вот в книжках пишут про Стеньку Разина и про Пугачева, — продолжал Добровольский со свойственной ему экспансией, — что они разбойники,

---

[1]) Посталовский, впоследствии член большевистского ЦК — «Вадим», потом в эпоху реакции совсем отошел от нас.

а правда ли это?.. Простой рабочий народ да и вот я сам ничего об этом не знаем.

Добровольский очень удачно отразил наше тогдашнее общее настроение, и мы с восторгом поддержали высказанное им пожелание. В следующий раз Данилов провел с нами несколько занятий на тему о крестьянских бунтах. Эта тема нас настолько захватила, что мы, не довольствуясь одними кружковыми сведениями, начали доставать книжки про Пугачева и Стеньку Разина.

Насколько я припоминаю, пропагандистские кружки и тогда, и позже, когда мне самому уже приходилось вести пропаганду, редко доводили до конца свою программу. Также менялся состав нашего кружка, менялись и его руководители.

Другим нашим руководителем был Сергей Дмитриевич Львов [1]), студент-естественник, с большими голубыми глазами и окладистой русой бородкой, которую он, повидимому, отпускал для того, чтобы скрыть свой слишком юный возраст. На нас в то время он производил впечатление очень знающего и разносторонне образованного человека. Обычно каждый кружок в те времена начинался с политической экономии. Этот предмет, скучный и сухой, обычно вызывал скуку и зевоту у слушателей. Львов как-то умело избегал этих недостатков. Он очень удачно иллюстрировал каждое положение каким-либо живым примером или рассказом о быте заграничных рабочих и об их борьбе за улучшение своего экономического положения. С Львовым мы настолько сблизились, что приглашали на свои рабочие вечорки, чем мы удостаивали не каждого интеллигента.

Наша культурная жизнь.

Обычно, как только рабочий становился сознательным, его уже не удовлетворяла окружающая среда, он начинал ею тяготиться, стремился общаться только с себе подобными и пытался проводить свое свободное время более осмысленно и культурно. С этого момента начиналась его личная трагедия. Если это был пожилой, семейный рабочий, у него сейчас же возникали конфликты в семье, в первую очередь — с женой, чаще всего отсталой, малокультурной. Она не понимала его духовных запросов, не разделяла его идеалов, боялась и ненавидела его друзей, ворчала на него и ругала за непроизводительные расходы на книжки и другие культурные и революционные цели, а главное — опасалась лишиться кормильца. Если это был молодой рабочий, он неизбежно вступал в конфликт с родителями или близкими, которые имели над ним ту или иную власть. На этой почве у сознательных рабочих создавалось отрицательное отношение к семье, к женитьбе и даже к женщине... На всякое соприкосновение с девицами смотрели как на покушение на личную свободу и на потерю товарища для дела революции. Активный, сознательный рабочий рассматривал себя как обреченного, которому предстоят тюрьма, ссылка, нужда, голод, лишения и нередко даже смерть. Обзавестись семьей — это значит в лучшем случае к тяжести своих собственных страданий прибавить еще страдания своих близких, а в худшем случае — под тяжестью семейного бремени уйти от революции.

Но уже и в то время кое-где начали выделяться среди работниц сознательные женщины, принимавшие участие в революционной жизни передовых рабочих и становившиеся им товарищами по борьбе.

---

[1]) С. Д. Львов — ныне профессор ботаники в Ленинградском университете.

Зимой в праздничные и свободные дни нередко устраивали мы «вечорки». Для этой цели выбиралась на окраине или в глухом переулке у какого-нибудь сознательного рабочего квартира приглашали надежную рабочую молодежь, человек пятнадцать-двадцать, устраивали чай с закусками, а для отвода глаз полиции покупали немного водки. Девиц на этих вечорках бывало немного. Почти постоянными посетительницами были Ольга Николаевна и Анна Николаевна, о которых я упоминал выше. Программа вечера обычно состояла из декламации стихов — Некрасова, Апухтина, Никитина, пели хором революционные песни, иногда под гармошку плясали камаринского. Наибольшим успехом пользовались стихи Некрасова «Железная дорога» и «Размышления у парадного подъезда», которые с большим темпераментом и умением декламировал один молодой рабочий с Александровского завода. Помню, как-то однажды читали сказку Щедрина — «Коняга». Кроме рабочей публики на вечорку приглашали кого-нибудь из интеллигентов, который обычно вначале произносил революционную речь, а затем уже публика разбивалась по кружкам и вела между собой споры и обсуждение различных вопросов.

Бывало нередко, что наши знакомые интеллигенты доставали для нас билеты на концерт, в театр или на какую-нибудь студенческую вечеринку. Ходили мы на эти концерты по три, по четыре человека и держались всегда вместе, дабы чувствовать себя смелее. Музыка, помню, на концертах и в театре на меня не производила никакого впечатления, — не понимали мы ее, считали барской затеей. Драма была понятнее. Зато продекламированное однажды артистом Тинским стихотворение «Хвостик» и еще какое-то другое «с направлением» произвели большое впечатление. Такую великолепную, за душу хватающую декламацию мы слышали впервые. Бывали в театре за Невской заставой на стеклянном заводе. Когда ставили там «Отелло», пьеса нам эта не понравилась, а пьеса «Рабочая слободка» произвела бо́льшее впечатление.

Однажды, помню, нам достали билеты на вечер, посвященный памяти Щедрина. Дня за два мы уже волновались, с нетерпением ожидая увидеть предполагавшего там выступать писателя Короленко. Отправились гурьбой, человек пять, и заняли места в уголке, дабы не бросаться в глаза. На этом вечере выступали артисты, чтецы, декламаторы, между ними артистка Яворская, писатель Баранцевич, и, наконец, выступил Короленко. Среднего роста, широкоплечий, с окладистой бородой и густой, вьющейся шевелюрой. Короленко мы тогда едва ли что-нибудь читали, но знали его по рассказам как писателя-революционера, побывавшего в тюрьме и в ссылке, и были проникнуты к нему большим почтением. Его появление на трибуне было встречено громом аплодисментов, перешедших в овацию. Мы не отставали. Его бодрый, жизнерадостный вид, простое, открытое лицо казались нам такими знакомыми и близкими, что мы начали даже по этому поводу острить.

— А знаете ли, ребята, он, наверно, хорошо камаринского пляшет. Пойдем попросим его? — все захохотали, потом окружили Короленко и долго беседовали.

Наш внешний вид и та обособленность, с которой мы держались, повидимому, обратили на себя внимание. В одном из антрактов какая-то молоденькая курсистка в пенсне подсела к нам и начала вести раговоры, желая, очевидно, «завязать» связи с «рабочими». Угадав ее намерение, мы стали ее вышучивать.

— Вы, товарищи, будете рабочие? — спросила она.

— Рабочие.

— С какого завода?

— С разных... из-за Невской заставы.

— Читаете книжки?

— Все читаем, — ответили мы, — даже «Рабочую мысль» читаем и прокламации Союза борьбы.

Девица опешила, смутилась а затем предостерегающе полушопотом заговорила:

— Так товарищи, нехорошо говорить о нелегальщине: можете на шпика или провокатора нарваться.

Мы весело рассмеялись.

Было у нас. наконец, еще одно «культурное» развлечение: хождение в гости к либералам, куда нас водили для показа.

Так же по-двое, по-трое (в одиночку мы не соглашались), предводительствуемые кем-нибудь из знакомых интеллигентов, мы отправлялись куда-нибудь на Литейный или Невский в очень фешенебельную квартиру, в которой мы не знали, куда себя девать. Нас радушно встречал хорошо одетый, упитанный хозяин с дородной дамой. Интеллигент подчеркнуто громко рекомендовал: «Сознательные рабочие». Нас угощали чаем, всякими диковинными закусками, до которых мы боялись дотронуться, дабы не сделать неловкость. Наши беседы с либералами носили очень натянутый характер. Они расспрашивали о тех или иных прочитанных книгах, спрашивали, как вообще думают и живут рабочие массы и интересуются ли они конституцией. Некоторые задавали вопрос. читали ли мы Маркса. Всякая наша глупость. которую мы от смущения изрекали, встречала снисходительное одобрение.

Выходя от них, мы облегченно вздыхали и смеялись над их непониманием нашей рабочей жизни, их чужим для нас строем жизни и мышления.

— И за каким чортом мы к ним шляемся? — начинал кто-нибудь из нас возмущаться. — На кой шут мы им сдались? Они ведь нашими руками хотят жар загребать... Для себя конституцию добыть, а нам после этого под задницу коленом дать...

Сопровождавший нас интеллигент пытался смягчить это наше настроение и доказывал нужность и необходимость либералов для дела революции.

— До определенного этапа мы идем с ними вместе,— примирительно говорил он. — Ну, и нужно их использовать, а потом пошлем их к чорту!

Внешне мы соглашались, что действительно, для дела революции и либерал может быть полезен, но внутри у нас все время нарастали какая-то неприязнь и недоверие к ним.

Иногда в нашем присутствии возгорался спор о поэзии, о музыке, о любви и тому подобных возвышенных вещах.

Нашим любимым поэтом в то время был Некрасов, стихи которого мы декламировали, пели и которые служили орудием пропаганды. Никитина мы знали меньше, но поэма «Бурлак», особенно первые строфы:

Эх, приятель,
И ты, видно, горе видал,
Коли плачешь от песни веселой...

нас настраивали на такой лад, что мы готовы были горы сокрушать. Пушкина мы знали совсем мало и читать его считали делом бесполезным как барского писателя.

Константин Лангельд, слесарь с Александровского завода, значительно старше и развитее нас, часто не выдерживал и встревал в этот возвышенный спор:

— Любовь, музыка поэзия, — говорил он, — все это, может быть, очень хорошие вещи, но нам, рабочим, они недоступны... Сейчас все это для лодырей, тунеядцев, бездельников...

— Позвольте, позвольте, дорогой товарищ, — прерывал Лангельда задетый за живое какой-нибудь почтенный адвокат или земец, — по-вашему выходит: мы, передовая, прогрессивная интеллигенция, — тоже тунеядцы, бездельники?

— Я этого не говорю, но вы им сродни... Их вы понимаете, им сочувствуете а нас, рабочих не понимаете... В нашей шкуре вы не были,—горячился Лангельд. — Вот я сегодня уже третий день на заводе пробки к цилиндрам притираю, а они по два пуда весом... Я их должен целый день на руках держать. Приходишь домой, тебе не до любви, не до поэзии, не до музыки, а скорее бы до постели добраться. А бывает работа и похуже. Ведь ваш Онегин с Ленским рабочему непонятны... Они просто с жиру бесятся... Я бы послал их на завод к тискам цилиндрочки притирать, а Татьяну с Ольгой за ткацкий станок посадил бы — в пыли да в грязи, да пусть бы над ними мастер издевался... Послушал бы я тогда, какие бы они песни запели!..

Среди гостей происходило некое замешательство.

— Но ведь это же нигилизм!

— Нет, это у него от Писарева, — говорили другие.

— Но ведь марксизм не отрицает эстетику!

— Ай да, Костя, молодец... Задал ты сегодня трезвону либералам, — торжествующие и гордые, выходя на улицу, выражали мы наше одобрение Лангфельду.

1900 г. мы встретили в необычной, новой для нас обстановке. Дня за три до встречи нового года человекам пяти-шести из нас роздали маленькие розовые билетики с какими-то таинственными «масонскими» знаками на них. С захватывающим душу волнением ожидал я наступления многообещающего вечера. Говорили, что на вечеринке будут выступать с речами Струве и Туган-Барановский.

По-двое, по-трое пробирались мы, беспрестанно оглядываясь, по какой-то очень глухой, отдаленной улице Петербургской стороны. Когда мы вошли в квартиру, она уже была полна народу. Студенты в куртках, в форменных синих сюртуках с ясными пуговицами, стриженые курсистки в простеньких темных платьях и какие-то немногочисленные штатские. Все это двигалось, шумело, спорило, смеялось. Мест для всех нехватало, многие сидели на полу в самых непринужденных позах. Мы почувствовали себя весело, непринужденно и стали толкаться по группам, переходя из комнаты в комнату. Наши знакомые студенты, к счастью, оставили нас в покое, избавив тем самым от возможности подвергнуться обозрению в качестве редких экземпляров «сознаетльных рабочих».

Заглянув в одну из комнат, мы заметили лохматого студента в синей косоворотке, поверх которой была одета расстегнутая серая тужурка. Он стоял посредине комнаты, размахивал руками, бил себя в грудь, качал головой и что-то рассказывал. Лицо у него было круглое, курносое и очень серьезное. Но сидевшая и стоявшая кругом публика покатывалась от смеха. Сидевшие на полу две курсистки странно покачивались корпусом и все время держали у глаз платки. Мы протиснулись и стали прислушиваться. Студент очень смешно рассказывал, как народник-социалист разговаривает с мужиком в деревне. Потом с еще большим успехом он рассказывал библейскую историю миротворения в пересказе пришедшего в деревню на побывку, подвыпившего солдата:

— ... И вот господь-бог говорит пресвятой троице: «Сотворим,— грить, — человека из глины по образу и подобию моему». И взял господь-бог ком глины от земли, дунул, плюнул и грить: «быть по сему!» Глядит и диву дается пресвятая троица: стоит во фрунт перед всевышним первый человек Адам и рапортует господу-богу: «Скушно мне, — грить, — господи, бобылем жить на земле...»

Спокойный эпический тон рассказа, круглое лицо рассказчика без тени улыбки буквально заставляли всех стонать от смеха... Я пытался сдерживать себя, напрягал все усилия, чтобы лучше запомнить этот необыкновенный «кощунственный» рассказ, поразивший меня своей смелостью, но меня душил смех и слезы сдавливали горло.

А рассказчик в том же тоне продолжал:

— И вышел господь-бог со святой троицей на балкон свежим воздухом подышать. А когда глянул в свой густолиственный сад, то не нашел там ни Адама, ни Евы. Завопил господь-бог громким голосом:

— Ада-а-а-м! Ада-а-а-мушка! Где ты?..

— Зде-е-е-еся», — отозвался Адам.

— Идите сюда ко мне!

— Мы, господи, нагие... согреши-и-ли...

Рассердился тут господь-бог со святою троицей да как крикнет гневным голосом:

— Ангельское воинство, силы небесные! Гоните их из большого-то сада, да в маленький палисадник!

Гонят их это по улицам-то с полицейскими да жандармами, а народ-то стоит да дивуется...

Ожидавшиеся высокие гости — ни Струве ни Туган-Барановский — на вечорку не пришли. В общей комнате выступал доктор философии Филиппов. О чем он говорил, я хорошо не помню, да и понимал его отвлеченную речь плохо. Выступали еще несколько ораторов, и все это закончилось пением «Дубинушки» и «Нагаечки»...

В общем самое большое впечатление на этой вечорке на меня произвела «история миротворения», которую я почти всю запомнил и рассказывал потом у себя в мастерской.

В корниловской вечерней школе.

О вечерней школе, где по вечерам и воскресеньям обучались рабочие всяким наукам, я слышал еще будучи на Выборгской стороне. Некоторые старички рассказывали, что школа-то сама хороша, но поступавшие туда рабочие беспременно становились «студентами», а потом попадали в тюрьму.

Естественно, что как только я поселился за Невской заставой, моей мечтой стала Корниловская школа. Осенью началась запись в школу. С благоговением и страхом я пошел записаться. Меня встретила просто и радушно пожилая, с проседью в волосах, высокая дама. Она спросила, хочу ли я поступить в вечернюю техническую школу с трехгодичным курсом, дающую какие-то права, или на курсы по отдельным предметами по желанию. Я изъявил желание поступить в техническую школу. Встретившая меня дама оказалась заведующей. Тут же, не сходя с места, она дала мне лист писчей бумаги, карандаш, ручку и приступила к проверке степени моей грамотности, необходимой для поступления в школу.

Чтение и пересказ прочитанного у меня сошли хорошо. Под диктовку с грехом пополам тоже написал сносно, но арифметика, которая всегда была моим слабым местом, давалась туго. Я долго сидел и потел с каран-

дашом в руке над решением проблемы четырех правил арифметики. Три правила я все-таки преодолел, но на делении застрял и срезался. Погубили меня нули в делимом, с которыми я не знал, что делать.

Заведующая пожала плечами, выразила сожаление на счет моей слабой грамотности и посоветовала мне записаться на курсы по арифметике и по русскому языку. Помнится, я особенно даже и не настаивал на принятии меня в техническую школу, так как на курсах было интереснее и к тому же там у меня были товарищи.

Записался я на химию и физику, по русскому языку, по арифметике и по литературе. Почему выбрал себе эти предметы? Проверка моих знаний обнаружила полную мою безграмотность. Случилось это по следующей причине: начальное училище которое я окончил, как известно, давало вообще слабую грамотность, а в течение семи лет со времени окончания школы я успел забыть и то, что дала мне школа, кроме чтения. Вся моя письменная практика за это время состояла в том, то я написал отцу несколько весьма несложных писем; моя «переписка» с барышнями также в счет не может итти, так как свои письма и ответы я списывал преимущественно с письмовника. Особенно я почувствовал свою беспомощность, когда нам на уроке по литературе учительница предложила дать свою оценку прочитанному рассказу М. Горького «Челкаш» в письменной форме. Три или четыре вечера я, не сходя с места, сидел — и в результате получилась все-таки одна страничка каракулей на четвертинке листа.

Я считал себя сознательным рабочим, говорил о пользе просвещения и в то же время сам был безграмотен. Мне становилось стыдно. С удвоенной энергией принялся я за самообразование. Однако в то время «гранит науки» был гораздо крепче нынешнего. После тяжелой работы и длинного рабочего дня мы бежали домой, наскоро пили чай, закусывали и бежали в школу. Занятия в школе происходили с восьми до десяти часов. Первый час мы высиживали бодро, а последний, несмотря на наши усилия, начинали клевать носом. Нужен был из ряда вон выходящий интерес или наше активное участие на уроке, чтобы побороть давивший нас сон.

Были два предмета, которые во мне и в моих товарищах будили исключительный интерес — физика и история литературы. Первую преподавал маленький, живой с клинообразной черненькой бородкой учитель — не то профессор, не то преподаватель из какого-то среднего учебного заведения. Фамилии его я не помню. Мы записались на этот предмет исключительно движимые любознательностью. Мне, например, досконально, на опыте хотелось узнать, отчего происходят снег, дождь, гроза, электричество и целый ряд других явлений природы. Я, конечно, не верил в чудесное или божественное их происхождение, но не мог толком объяснить, откуда они берутся, когда мне приходилось с кем-нибудь спорить.

Наш преподаватель был, повидимому, человек разносторонне образованный, ибо какой бы мы ему вопрос ни задали, хотя бы и не относящийся к физике, он толково, обстоятельно, увлекая нас, увлекаясь сам, рассказывал и иллюстрировал многочисленными примерами. Рассказывал нам о происхождении «допотопных» животных, об образовании каменнного угля, подземных нефтяных озер и т. п. Когда мы сидели на его уроке и слушали рассказы о минувших тысячелетиях со времени жизни того или иного ископаемого чудовища, все наши понятия и представления о времени начинали путаться. Ихтиозавры, плезиозавры и тому подобные чудовища заполняли все наше воображение. Гордый своими познаниями,

я приходил домой и пугал воображение суеверных жильцов нашей квартиры, когда в споре с ними противопоставлял их божественной и нечестивой мелюзге своих гигантов — ихтиозавров и плезиозавров.

Другой предмет, захватывающий наше внимание, был история литературы. Собственно говоря, никакой «истории» там не было, а был разбор отдельных произведений различных писателей, близких к тогдашней современности.

Преподавала этот предмет молодая, высокая, стройная блондинка Вера Николаевна, фамилии ее я не помню. Знала она литературу, видимо, хорошо, но подход, освещение ее нас не всегда удовлетворяли. Насколько я припоминаю, направление ее мыслей было с уклоном к народничеству.

Мы уже в то время, хотя больше стихийно, инстинктивно, но все же подходили к явлениям общественной жизни с точки зрения борьбы классов, — для нашей же учительницы угнетение господствующими классами трудящихся было только «несправедливостью». Для нее всякий «бедный» человек был достоин сожаления и помощи. Мы, напротив, чувствовали и всегда резко подчеркивали особое положение рабочего класса и его особые задачи.

— Что вы, господа, все «мы — рабочие» да «рабочие»... —полушутя поучала она нас. — У вас так, пожалуй, рабочие будут со временем привилегированной группой. Крестьянину часто еще хуже вашего живется, его угнетают и притесняют не меньше, чем рабочего.

— Ну, так что же из этого?.. Крестьянин не умеет бороться за свои права, а рабочие уже просыпаются, — возражал ей Александр Толмачев, слесарь с завода «Атлас», — молодой горячий рабочий с эсеровскими настроениями, который в оценке роли рабочего класса сходился все-таки с нами.

— А вы научите их.

— Народники пробовали учить, а они их же урядникам да становым выдавали.

Подобного рода полемические диспуты у нас происходили, когда кончался урок. Весь класс расходился, а наша группа человек в десять по обыкновению задерживалась, или же мы все гурьбой шли провожать Веру Николаевну до ближайшей остановки паровичка.

Как-то однажды наша учительница принесла с собой номер «Русского богатства».

— Я сегодня, господа, вместо обычного урока прочту рассказ одного молодого писателя из народа,— Максима Горького,—торжественно объявила она, держа перед собой книгу.

Мы насторожились. Имя этого странного писателя мы в первый раз слышали.

— Это его настоящая фамилия будет, или он сам себе придумал нарочно? — спросил кто-то из класса.

— Это псевдоним его, — ответила Вера Николаевна.

— Что ж, видно, жизнь его горькая была, што он себе такое прозвище придумал? — предположил кто-то.

— Это правда... Горя он много испытал. Хотя еще совсем молодой, но жизнь бедных людей хорошо знает, — пояснила Вера Николаевна.

Рассказ назывался «Челкаш». Не прочла еще Вера Николаевна и первой страницы, как шумевший до того класс совершенно затих. Мы не только слушали, но глубоко переживали развертывающуюся перед нами драму между Челкашем и Гаврилой, мысленно представляя себе гавань большого портового города, в которой копошились в жаре и пыли грязные, потные, задавленные непосильным трудом грузчики, — и тут же южная,

теплая ночь и фосфорический блеск моря. Трудно было сразу даже разобраться, какая буря впечатлений нахлынула на нас, когда Вера Николаевна, очевидно, тоже волнуясь, тяжело дыша, закрыла книгу и вопрошающе обвела класс своими большими печальными глазами. Ошеломленные, мы долго сидели, не находя слов выразить волновавших нас чувств и мыслей. Разбор рассказа решили отложить до следующего урока, а за это время каждый из нас должен изложить на бумаге все то, что нас больше всего поразило в рассказе, и дать ему свою оценку. Это предложение было принято без возражений.

Как я уже упоминал выше, письменный разбор «Челкаша» обнаружил полную мою неграмотность. Мыслей, чувств, бурных переживаний, волновавших меня, было много, но на бумагу они ложиться не хотели. Мои грубые, негнущиеся пальцы, привыкшие больше орудовать рубанкой и стамеской, с трудом выводили вместо букв какие-то каракули. Вместо ярких переживаний получились какие-то бледные обрывки мыслей. Больше всего в рассказе меня поразило описание гавани: потные, грязные, измученные фигуры грузчиков — и рядом с ними колоссы-машины: «созданное ими поработило и обезличило их», — звучало у меня в ушах. Человек — царь природы — сделался рабом созданной им бездушной машины, — так примерно формулировал я тогда свои сбивчивые мысли.

На следующем уроке начался разбор прочитанного рассказа. На вопрос, какой из героев нам больше всего понравился, мы единодушно заявили, что наши симпатии на стороне Челкаша. Константин Лангельд горячо начал доказывать, что Гаврила отрицательный тип — он жаден, туп, ничем кроме своего хозяйства не интересуется, неспособен ни на какие добрые порывы, — «а Челкаш, — сверкая глазами и простирая вверх покрытые копотью руки, говорил он, — хоша и золоторотец, жулик, но все-таки положительный тип — он благороден, смел, презирает деньги и ненавидит власть имущих».

— Так, господа, нельзя оценивать героев Горького. Нужно подойти к ним с общественной стороны, — мягко перебила Лангельда Вера Николаевна. — Я вам задам вопрос: кто полезнее для общества — Челкаш или Гаврила?

Этой неожиданной постановкой вопроса класс был приведен в замешательство. Послышались отдельные голоса:

— Гаврила полезнее, потому что он хлеб добывает для общества, а Челкаш — тунеядец...

— Неправда, Челкаша общество сделало тунеядцем, а сделайте его сознательным, он будет в сто раз полезнее Гаврилы.

Голоса в классе начали делиться: одни стояли за Гаврилу, другие за Челкаша. За Гаврилу все-таки высказалось ничтожное меньшинство. Вмешалась Вера Николаевна, которая снова попыталась поколебать наши симпатии к Челкашу.

— Господа, я вас спрашиваю: могло ли общество состоять из таких людей, как Челкаш? Нет, не могло, — хотя у Челкаша и есть некоторые хорошие черты, каких у Гаврилы нет, а все-таки Челкаш не полезный для общества, а Гаврилы полезны. Гаврила — это крестьянин, на котором держится общество.

Мы долго спорили, горячились, доказывали превосходство Челкаша над Гаврилой, но не могли логически обосновать своих доводов. Мы ясно чувствовали свою правоту, но не имели слов ее доказать.

На уроке по русскому языку, который нам преподавала Рубакина, споров было меньше. Произведения, с которыми она нас знакомила, по

большей части были далеки от нашей действительности, да и класс по составу был очень разношерстный. Высказывались мало и неохотно. Помню бывали у нас несколько раз читки в лицах пьес «Горе от ума» Грибоедова, «Бедность не порок» Островского и др., после чего делали разбор прочитанного. Когда происходил обмен мнений, мы всегда, помимо собственного желания, сводили разговор на современную действительность. А когда высказывались, то рубили сплеча, называли вещи своими именами. В обсуждениях мы употребляли такие слова, как чиновник, самодержавие, жандармы, директор, мастера и т. д. Облекать свои мысли в литературно-легальные формы мы не умели. Аудитория была малознакомой, поэтому мы предпочитали воздерживаться от лишних разговоров.

Рубакина часто приносила нам различные книги «с тенденцией», которые всегда читались нами с огромным интересом. Большинство этих книг — беллетристические произведения, романы или повести из эпохи борьбы за независимость или национальное освобождение самых различных народов и эпох. Отчетливо припоминаю некоторые из этих книг: «Гарибальдийцы», книга Ежа «На рассвете» — повесть из времен борьбы болгар за свое освобождение, — «Под гнетом времени» и «Альбигойцы». Последние два романа очень ярко живописуют борьбу нидерландцев с инквизицией. Обстановка борьбы, хотя бы в самых различных странах и в различные эпохи, а также и действующие герои повести нами отожествлялись с нашей русской действительностью, у них мы учились самоотверженности, умению жертвовать собой во имя общего блага. Для того поколения эта литература сыграла огромную воспитательную и революционизирующую роль.

Несущественно было и то обстоятельство, что эта литература не всегда была классово-выдержана: в нашем истолковании даже такое пацифистское стихотворение, напечатанное в одной из рубакинских книг, превращалось в революционное:

Пройдут года тяжелые,
Настанет новый век:
Идеи будут новые
И новый человек.
Умолкнет бесконечная
Суровая вражда,
Настанет царство вечное
Науки и труда.

В то время это стихотворение звучало для нас как боевой призыв к борьбе с самодержавием.

Бесстрашно идущий на костер инквизиции за истину Джордано Бруно, боровшиеся с инквизицией альбигойцы или итальянские гарибальдийцы, болгарские националисты — все они были родными нам по духу, наша фантазия наделяла этих героев непреклонной волей, необычайным умом, они не знали страха и сомнений в борьбе за освобождение своего угнетенного народа.

Корниловской школе в истории рабочего движения принадлежит почетное место. Она воспитала не одно поколение рабочих-революционеров; ныне оставшиеся в живых рабочие-большевики с чувством глубокой благодарности и любви вспоминают ее до сих пор. Царские жандармы со своей стороны уделяли немалое внимание Корниловской школе, стараясь выловить при помощи провокации и шпионажа из нее все живое, мыслящее, революционное.

Вот, например, какую оценку давал в то время в своем докладе царю шеф жандармов Святополк-Мирский рабочим-передовикам: «В по-

следние три-четыре года из добродушного русского парня, — писал Святополк-Мирский, — выработался своеобразный тип полуграмотного интеллигента, почитающего своим долгом отрицать религию и семью, пренебрегать законом, не повиноваться власти и глумиться над ней. Такой молодежи, — успокаивает этот жандарм, — к счастью, имеется на заводе еще немного, но эта ничтожная горсть террористически руководит всей остальной инертной массой рабочих. Большинство рабочих агитаторов и главарей разных стачек посещало воскресные школы».

Мой арест.

Революционная работа за Невской заставой за последний год приняла весьма значительные размеры. Я и мои товарищи в то время по уровню своего развития и по молодости нашей революционной работы составляли лишь часть кадра революционных рабочих-передовиков и не могли, конечно, знать всего, что делается за Невской заставой. И все-таки нам было известно до десяти вполне оформленных подпольных кружков. Естественно, жандармы и полиция усиливали свою бдительность, учащались провалы, следовали аресты известных нам товарищей. Мы чувствовали, что неотвратимо скоро наступит и наша очередь. Все чаще и чаще во время кружковых занятий мы начинали говорить о том, как нужно держать себя на допросе у жандармов, как нужно учиться выявлять провокаторов, уходить от наружной слежки шпиков, прятать литературу и т. д. Побывавшие в переделках товарищи делились своим опытом, рассказывали случаи своих удачных надувательств жандармов и шпиков. Большую помощь оказывала в деле воспитания выдержки и борьбы с жандармскими следственными ловушками очень интересно и толково написанная книжка Бахарева «Как держать себя на допросе». Ее мы почти знали наизусть.

Я чувствовал незримо, что кольцо политических наблюдений за мной суживается и скоро будет готово совсем замкнуться.

Как-то однажды, вернувшись с работы, я увидел поджидавшую меня на лестнице встревоженную Авдотью Петровну. Она с таинственным видом повела меня в отдельную комнату и, понизив голос, заговорила:

— Знаешь, Сенюшка, у нас што-то неладно.

— Что случилось?! Какое-нибудь несчастье? — насторожился я, предполагая, что у нее что-нибудь случилось с детьми.

— Нет, нет, ты не тревожься... Приходил к тебе туто один твой земляк... А только на земляка совсем не похож... Все выспрашивал про тебя, кто к тебе в гости ходит да куда ты сам ходишь. А я ему говорю: «Ничаво я не знаю. Сымает он у меня, — говорю, — комнату, а кто к нему ходит, глядеть мне недосуг. За своими детьми не поспеваю глядеть...» А когда ушел, кто он такое, не сказал... А только я по-своему, Сенюшка, думаю, что он прикинулся земляком, а на самом деле он жандар и за тобой следить приходил... По всему обличию видно, што он жандар... Даже на ем брюки синие, жандарские... И суседка мне тоже сказывала, што приходил, — грит, — Петровна, жандар из Шлисенбурской части, — она его хорошо знает по роже... Ты уж теперь, Сенюшка, смотри, оберегай себя, а то чего худого с тобой не случилось бы... Вон у слесаря Терентьева забрали жильца — и сидит теперь, сердешный, в тюрьме. А уж какой, — грит Терентьиха, — парень был хороший: тихий да смиренный, ни вина, ни пива... — рассказывала Авдотья Петровна, вздыхая

с сокрушением и с жалостью глядя на меня, а по ее круглому, бледному лицу текли слезы.

— Полно вам, Авдотья Петровна, ничего не будет. Эка важность — ну посадят, отсидим. Сидят же люди и получше меня, а потом выпустят. Я же ведь ничего не делаю, — напуская на себя развязный вид, утешал я ее. За время моего житья у Быковых Авдотья Петровна очень ко мне привязалась — была со мной ласковой, внимательной, и, видимо, ей было действительно жаль меня. Впоследствии Быковы неоднократно доказывали на деле свою привязанность ко мне, горячее сочувствие делу революции и ненависть к жандармам и полиции.

Около того же времени у меня и моих товарищей случилось одно обстоятельство, которое заставило нас быть настороже. К Митрофанову с некоторого времени начал наведываться один его знакомый чертежник с Обуховского завода по фамилии Мухин. Митрофанов впоследствии уверял, что он плохо помнит, где и при каких обстоятельствах он познакомился с ним, но у него, повидимому, нехватило решительности, да и не было к тому поводов, чтобы указать ему на дверь и избавиться от него.

Гуляли мы как-то в праздник в саду «Вена» всей компанией, вдруг откуда ни возьмись вывернулся и подлетел к нам какой-то маленький, юркий человечек с длинными волосами, в широкополой шляпе и с толстой палкой в руке. Он быстро подскочил к Митрофанову, а затем довольно развязно и нахально начал пожимать нам руки и знакомиться. Вначале мы думали, что это хороший знакомый Митрофанова, а потому, хотя он нам и не понравился, не возражали против знакомства с ним. С этого времени Мухин начинает усиленно, настойчиво втираться в нашу группу. Объектом своих преследований он почему-то избирает меня.

Почти каждое воскресенье, а иногда даже и вечером в будни, он заходил ко мне в комнату, садился на кровать и начинал развязно хвастаться своими связями с интеллигенцией, говорил о своих необычайных революционных подвигах, рассказывал о том, как он ловко ускользал от слежки, от шпиков и надувал полицию. Голосок у него был сладенький, певучий, а миндалевидные лисьи глазки все время бегали, ощупывали собеседника, успокаивали и назойливо проникали в душу. Иногда он приносил с собой нелегальщину, небрежно торчавшую у него из кармана, и передавал мне ее с таким видом, что, мол, он никого и ничего на свете не боится, — ему «сам чорт не брат».

Я советовался с товарищами, как быть?

— Бери, а его взашей гони!

Первую часть я выполнял, но вторую исполнить было значительно труднее.

О Мухине наводили справки. Но никто ничего определенного сказать о нем не мог, однако вопрошаемые на всякий случай советовали от него держаться подальше. У наиболее горячих товарищей начинала бродить мысль: уж не спустить ли этого Мухина в Неву!? У некоторых даже были в этом роде и опыты... Но тут вмешался Костя Лангельд, более спокойный и выдержанный из нас.

— Не дело вы, ребята, говорите... Одного мерзавца прихлопнете, а за него можете пять хороших ребят загубить.

Косте начали горячо возражать, но все же с ним пока согласились. Вопрос о Мухине был временно снят с очереди, но не разрешен. Его разрешила охранка. В ночь на 31 января 1900 г. вся наша группа была арестована.

В тюрьме.

Невыносимо тяжелое впечатление произвела на меня тюрьма. После долгих мытарств в участке, в жандармском управлении только к вечеру, в сумерках, я очутился в знаменитой предварилке (дом предварительного заключения).

Усталый физически и морально, но нервно-возбужденный, я утратил всякие ощущения: мне не хотелось ни есть, ни спать. Когда с тяжелым грохотом захлопнулась закованная в толстое железо дверь и я очутился в маленькой полутемной камере, было одно желание — бегать, метаться, стучать в дверь, царапать, грызть стены.

Здоровый, молодой, жизнерадостный, общительный, я остро почувствовал свое одиночество, оторванность от жизни, друзей, привычной обстановки. Толстые, холодные, голые стены, тяжелая железная дверь и маленькое решетчатое окно под потолком давили сознание, сковывали волю, связывали движения, мешали свободному дыханию.

Мечась по камере, заметил кнопку. Вероятно, звонок. Нажал. Последовал короткий звон, и одновременно с шумом выскочила какая-то задвижка. К двери никто не подошел. Не знаю, сколько времени продолжалось мое метание по камере. Вдруг загремели ключи, в двери откинулся квадрат форточки, и отрывистый суровый голос спросил:

— Что надо?

— Дайте книжку почитать.

Ответа не последовало. Квадрат захлопнулся, снова звякнул ключ. Опять мечусь по камере. Лицо горит... В голове шум, кружатся бессвязные мысли об аресте, о товарищах, о предстоящем допросе, о возможном предателе...

Снова открылась форточка. Молча протянулась рука надзирателя, держа растрепанную книжку. С жадностью подношу ее к слабому свету электрической лампы и разочарованно кладу на стол: «Краткая священная история ветхого завета».

Вновь мечусь по диагонали камеры — шесть шагов туда и шесть обратно. Смутно чувствую: становится жарко... Только сейчас заметил, что я еще не раздевался: все время шагаю в калошах, пальто, шапке... Но тотчас же забываю об этом...

В двери многообещающе позвякивает связка ключей... Сердце учащенно, радостно бьется... Мелькают мысли — может быть, на свободу хотят выпускать!?

— Ложитесь спать!.. Скоро свет погаснет...— возвращает к тяжелой действительности суровый голос.

Торопливо сбрасываю одежду. Залезаю под войлочное арестантское одеяло и пытаюсь заснуть. Напрасно! Вихрем закружились мысли. Подушка стала горячей. Душит одеяло. Ворочаюсь с боку на бок, перевертываю подушку, сбрасываю одеяло. О сне мечтаю как об избавлении от всех страданий. Начинаю считать до ста, до тысячи... Ничто не помогает,— сон бежит прочь. Опять встаю, ощупью в потемках одеваюсь и снова шагаю по камере до изнеможения. Падаю на койку в одежде и лежу в полузабытьи, ожидая наступления утра...

Вздрагиваю от громыхания ключей и соскакиваю с койки.

— Хлеб возьмите!

Из рук надзирателя беру тяжелую краюху черного хлеба и кладу на холодный, железный стол. Стало быть, утро. В камере темно.

Снова потянулись бесконечно длинные, мучительные часы одиночества, изредка прерываемые звоном ключей и бряканием дверной форточки.

Принесли кипяток в жестяной кружке, кусочек сахара и несколько чаинок, завернутых в бумажку в виде «собачьей ножки». Бросаю чаинки в кружку, получается какая-то черная водичка, сильно пахнущая жестью. Теплый напиток приятно греет нутро, повышается настроение. В окно чуть-чуть начинает пробиваться белесоватый утренний свет. Начинаю знакомиться с камерой.

Крепко привинчены к стене два железных квадрата — один побольше, другой поменьше: стол и стул. Массивная железная койка с толстым твердым холщевым матрацем, маленькая раковина с краном для воды и в углу огромный стульчак для естественных надобностей. Больше всего манило окно. Куда оно выходит? Что из него видно? Может, удастся хоть одним глазком взглянуть на волю! Измеряю на-глаз пространство. Окно высоко, подоконник покатый, так что если бы даже удалось взобраться, все равно не удержишься. У верхней рамы замечаю толстый, железный крюк. Ура!.. Беру крепкое, холщевое казенное полотенце, становлюсь на стульчак и набрасываю его на крюк. Подтягиваюсь на руках к окну и с восторгом обозреваю внутренность огромного тюремного двора со множеством выходящих во двор решетчатых окон камер.

— Марш с окна! — услышал я позади себя грубый окрик надзирателя. Так увлекся видом из окна, что не слышал звона ключей, грохота падающей форточки...

Оглянувшись, увидел в форточке торчащие усы и два сердитых глаза надзирателя.

— Если еще раз замечу, в карцер пойдете, — строго отрезал он и сердито захлопнул форточку.

Чувствую, что за каждым моим движением следят, но не замечаю, откуда и как меня видит надзиратель? Однако скоро обнаружил круглое стеклышко в двери: время от времени показывался человеческий глаз, которому видна была вся внутренность камеры.

Иногда приходило желание подразнить надзирателя. Я становился в угол около двери и ожидал обхода. Тихо подкрадывался дежурный надзиратель, заглядывал в «очко», — но в камере никого не находил, так как я был вне поля его зрения. Я чувствовал, как нервничал, метался за дверью надзиратель, испуганный моим исчезновением, как вращалась и постукивала металлическая крышка, заслонявшая наблюдательное стеклышко... Слышались беготня, шопот, а затем внезапно с грохотом распахивалась дверь камеры, и ко мне вваливались два растерянных, встревоженных надзирателя, очевидно предполагавших, что я убежал или повесился. Довольный удачной шуткой, я выходил из своего убежища им навстречу. Старший надзиратель грубо и сердито говорил:

— У двери стоять нельзя! В другой раз в карцер пойдете.

Снова тянулись однообразно-томительные часы. Снова давили сердце бездушные стены камеры, мертвая могильная тишина и густой полумрак, лишь на короткое время рассеиваемый дневным светом, падавшим сквозь решетчатое окно.

Раз в день водили на прогулку в колодец тюремного двора. Посреди огромный круг, разделенный высокими досчатыми заборами на двадцать продолговатых клеток. Высоко над клетками, в центре, круглая терраса, по которой друг за другом гуськом ходят три надзирателя с револьверами в кобурах, внимательно наблюдая за двадцатью арестантами, загнанными в двадцать звериных клеток. Жутко и обидно становилось за человека! Встретиться на прогулке с товарищем было почти невозможно. Разве иногда надзиратели очереди перепутывали. Мы сталкивались, пожимали руки, бросали торопливо на-ходу друг другу несколько отрывочных фраз.

Легче становилось на душе. А растерявшиеся надзиратели впопыхах толкали нас в первую попавшуюся пустую камеру, захлопывали дверь и держали, пока пропустят всех гуляющих.

В две недели раз водили в баню. Но там тоже держали в строжайшей изоляции. Пробовал однажды пойти в тюремную церковь в надежде встретить кого-нибудь из товарищей. Но и здесь меня ожидало разочарование. На время всей службы меня заперли в собачий ящик, в котором нельзя было ни сидеть, ни лежать, а можно было лишь стоять и созерцать долговолосого в ризе попа, который, скучно гнусавя, проводил обедню.

Тянулись бесконечные, однообразные дни, недели, месяцы. Я терял им счет. Приходил в отчаяние при мысли, что мне в этой проклятой одиночке придется просидеть полгода. А дальше что!? Ссылка, безработица, нужда, голод... А много ли нас — сознательных? Десятки, сотни, тысячи... А вся остальная масса спит непробудным сном. Стоит ли жить?.. Я начинал искать глазами крючок или толстый гвоздь. Ослабленная воля не сопротивлялась. Подавленное сознание подбирало аргументы для обоснования пессимистического конца.

В журнале «Мир божий» я только что прочитал статью Челпанова, в которой он излагал учение Шопенгауэра. В мире страдания перевешивают наслаждения, — говорит Шопенгауэр. Да и само наслаждение есть только отсутствующее страдание. А когда наслаждение длительно, оно становится скучным и превращается в то же страдание. Животные менее чувствительны к страданию, нежели человек. И чем развитее интеллектуально человек, тем он сильнее страдает. Со временем люди придут к сознанию, что жизнь — это страдание, а потому путем самоуничтожения будут избегать его... Но я был слишком здоров физически и психически, чтобы подобного рода настроение могло всерьез и надолго овладеть мною. Достаточно было где-нибудь во время прогулки прочитать на стене знакомую фамилию товарища, как я уже не чувствовал себя «одиноким, покинутым». Сознание, что рядом с тобою в каменном мешке страдают за правое дело десятки, а может быть сотни таких же, как и я, сразу вливало в меня бодрость. Я чувствовал себя передовым борцом за дело рабочего класса, который с каждым годом посылает нам на подмогу все новых и новых бойцов, мне становилось стыдно за минутное малодушие.

«Самое страшное на свете — смерть, но я не боюсь ее — рассуждал я. — За дело революции в любой момент готов я умереть — и глазом не сморгну... Умереть же только из-за того, что мне тяжело и скучно, — трусливо и глупо!..»

Чутьем я старался угадать в каталоге тюремной библиотеки хорошую книгу и вписывал ее в библиотечный листок. О многих хороших писателях я знал на воле только понаслышке или же читал одно-два их произведения. Здесь я прочитал Тургенева, Успенского, Достоевского, Шпильгагена («Между молотом и наковальней»), Щедрина и др. Самое большое впечатление произвел на меня Щедрин, который с этого момента на всю жизнь остался моим любимым писателем. Читая его «Письма к тетеньке», я так сильно хохотал, что надзиратель не раз открывал форточку и долго смотрел мне в лицо, полагая, повидимому, уж не рехнулся ли я в уме?

Случаи сумасшествия не были редким явлением в предварилке с ее ужасным одиночным режимом. Больше всего были подвержены психическим заболеваниям как раз люди физического труда — рабочие. Абсолютное безделье и отсутствие привычки к умственному труду убийственно действовали на нервную систему, и многих молодых рабочих приводили в больницу Николая-чудотворца, а оттуда — на кладбище.

Сильно подкрепляли и ободряли мое падающее в одиночке настроение книги о борьбе и страданиях. Случайно попались две маленькие биографии Писарева и Лассаля. Особенно созвучна была моему настроению биография Писарева. «Вот, — думал я, — почти четыре года человек просидел в крепости, в худших условиях и ничего — не падал духом!»

Захватывала и поражала своей смелостью глубиной и простотой переписка Белинского с друзьями. Прочтешь иной раз, остановишься и думаешь: «И как этакая простая и в то же время глубокая мысль мне самому в голову не могла притти?!»

Описывая одному из своих друзей какую-то личную неудачу или тяжелое горе, Белинский писал:

«Когда оглядываюсь кругом и вижу море человеческих страданий и что многие люди в тысячу раз несчастнее меня, то в сравнении с ними мое несчастие кажется жалким и ничтожным, и мне становится стыдно за свое малодушие».

Не помню, когда и кому писалось это письмо Белинским, и не ручаюсь также за его точность, но смысл письма был именно таков. Всякий раз, уже спустя много лет, когда мне приходилось переживать еще более худшие времена я невольно вспоминал это письмо, и ко мне возвращалось мое обычное бодрое, жизнерадостное настроение.

В неделю раз, а то и два у меня бывали настоящие праздники. Кажется, по четвергам надзиратель около двух часов отпирал дверь и вытряхивал мне на стол целую кучу маленьких сверточков. Четверть фунта масла, сыру, кофе, лимон, иногда кусочек колбасы. В месяц раз я получал желтенькую квитанцию на три или пять рублей «от Эльской». Я долго недоумевал, кто была эта добродетельная фея «Эльская»? И только по выходе из тюрьмы мне разъяснили, что это были передачи революционного Красного креста.

В общем мы, рабочие, материально в тюрьме были лучше обставлены, чем в нашем домашнем быту, когда мы работали на заводах.

И все-таки я не встречал ни одного рабочего который мог бы без содрогания вспомнить свое первое одиночное заключение. (Правда, потом, когда я превратился в более частого тюремного сидельца, в одиночке, я чувствовал себя уже куда лучше, чем в общей камере, хотя бы и с очень хорошими друзьями.)

На прогулке в клетке однажды обнаружил надпись «Лангельд», а в другой раз — «Толмачев». Значит, они тоже арестованы! В следующий раз нашел бумажку, на которой была написана тюремная азбука для перестукивания. Я выучил ее наизусть и принялся стучать карандашом. Раза два был накрыт надзирателем и чуть не угодил в карцер. Впоследствии, наученный горьким опытом, стал перестукиваться осторожнее, выбирая время, когда надзиратель занят раздачей кипятка, хлеба или обеда.

Связался с Шендриковым, который сидел двумя этажами ниже меня. Узнал от него что вся наша группа за Невской заставой арестована. Просил рекомендовать мне книжку по психологии. Шендриков посоветовал Джемса. Начал читать — ничего не понял.

Прошло около трех месяцев моего пребывания в тюрьме. Начал с трудом привыкать к одиночеству и монотонному, однообразному прозябанию. Мучила неизвестность за будущее. Что-то сделают? Куда-то пошлют?!

Вызвали на допрос, которого я так трепетно и долго ожидал. Не грубости, не окриков, — я пуще всего боялся жандармской лести, хитрости и вежливости. Не хотелось попасть на допрос к Пирамидову [1]), начальнику

---

[1]) Пирамидов был убит в 1901 г. во время спуска судна случайно упавшей балкой.

жандармского управления, о котором и нелегальные газеты писали и интеллигенция на кружках говорила, что он «на три аршина в землю видит».

Однако вопреки моему ожиданию ничего страшного не случилось. Даже напротив, сама поездка в «темной карете», столько времени пугавшая мое воображение, и «по бокам с двумя жандармами» доставила мне даже некоторое удовольствие. Сидя между огромными усатыми жандармами, я чувствовал себя героем, невольно выпрямлялся, пытался напустить на себя серьезный, мрачный вид, какой бывает у героев, идущих на казнь, хотя самому до смерти хотелось смеяться, болтать, а пуще всего хотелось встретить в таком виде кого-нибудь из знакомых. Но когда я попытался заглянуть в отверстие окна на улицу, суровый жандарм плотнее задернул занавеску.

Ожидать очереди пришлось недолго. Жандармы ввели меня в просторный светлый кабинет, где за письменным столом сидел молодой высокий жандармский офицер, а справа от него — благообразного вида плотный человек в штатском с роговым пенсне на носу. Жандарм жестом указал на стул и пригласил сесть, а затем очень галантно предложил мне традиционную папироску. Я насторожился и от папироски отказался. «Вот оно начинается — залезание без мыла в душу», подумал я.

— Вы будете давать показание в присутствии товарища прокурора,— сказал жандарм и указал на сидящего благообразного господина.

Последовали малозначащие вопросы — о годе рождения, о родстве, о подданстве, о загранице и т. п. Показали несколько фотографических карточек знакомых и незнакомых студентов и рабочих. Жандарм назвал несколько знакомых фамилий и спросил, знаю ли я их. На все вопросы решительно и твердо, глядя прямо в глаза жандарму, я отвечал: не знаю, не знаком. После двух-трех повторных вопросов, убедившись, очевидно, в моем упорстве, жандарм объявил, что у него больше вопросов нет. Я испытал даже некоторое разочарование: ожидал иезуитского допроса, а дело кончилось формальностями. Повидимому, я не очень большой преступник.

Те же два жандарма снова посадили в карету и повезли в предварилку... Опять потянулись серые, однообразные дни. Но теперь я уже начал понемногу привыкать к своему одиночеству и делал усилие более систематически работать над собой. Выписал учебники по арифметике и по грамматике. Каждый день в установленные часы садился за стол, брал тетрадь и начинал зубрить. Большую услугу оказал мне учебник Зелинского, хорошо приспособленный к самообразованию.

От скуки пробовал заняться писательством. Попытался как-то написать рассказ из рабочей жизни. Было положено много труда и усилий, но толку никакого не получилось. Повидимому, даже помощник начальника тюрьмы не одобрил моего произведения, когда производил обыск. Он долго и внимательно рассматривал тетрадку, улыбнулся снисходительно и молча положил ее на стол. Досадно и обидно было. Много я прочитал всякой литературы про дворян, про чиновников, про купцов и даже про мужиков, а вот про рабочих никто ничего не написал, как будто их и на свете нет. С рабочими так носятся, за ними так ухаживают, говорят, что они — созидатели и творцы всех материальных благ, а вот как живут и думают рабочие, об этом никто не хочет написать.

Во время одной из передач принесли томик сочинений Горького.

Я не читал, а проглотил его одним духом — так было захватывающе интересно! Правда, про настоящих рабочих там ничего не было сказано, но мысли, слова были такие близкие, знакомые, нужные и справедливые. Читая его, я как бы отрывался от земли, высоко вздымался над людской

пошлостью и несправедливостью. Хотелось скорее ринуться в бой с заклятым врагом — самодержавием, — будить и звать на борьбу спавшие рабочие массы! Хотелось, чтобы скорее все осознали, какую великую мощь и силу таят они в себе!

О, смелый сокол, пускай ты умер!
Но в песне смелых и сильных духом,
Всегда ты будешь живым примером,
Призывом гордым — к свободе! к свету!

Эти слова из «Песни о соколе» как призывной набат звучали у меня в ушах. Бодрили, будоражили, звали к борьбе и подвигам.

Каждый вечер, когда надзиратели были заняты какой-нибудь раздачей, я становился в позу среди камеры и громко начинал декламировать «Песнь о соколе». Было приятно слышать свой собственный голос, которого я уже давно не слышал. Я мечтал о том, как, выйдя на волю, я буду декламировать песню товарищам на вечорках. Хорошо, весело становилось на душе! Суровая, неприветливая камера преображалась, становилась светлой, уютной. Хотелось много заниматься, работать над собой, чтобы потом, выйдя на волю, снова пойти на завод и делиться знаниями с товарищами.

Так мало-по-малу я свыкался со своим положением, учился, работал, с восторгом и гордостью мечтал о том, как, обогащенный опытом и знаниями, я снова вернусь в свою родную стихию. Меня уже не пугало длительное пребывание в одиночке.

* * *

Сейчас уже не помню, сколько месяцев прошло со дня моего ареста. Писем я ни от кого не получал, свиданий тоже ни с кем не было. Но вот однажды, вернувшись с прогулки, я нашел у себя на столе письмо. Оно было крест-накрест измазано желтыми полосами реактива. Жандармы это делали для того, чтобы обнаружить, не написано ли еще что-либо в письме бесцветными чернилами. Почерк был как будто знакомый — такой же плохой, как у отца. Письмо было от брата... Значит случилось что-нибудь неладное дома!.. С волнением и тревогой стал читать. Вначале идут поклоны и имена кланяющихся.

«... А ищо увидомляю тебя, — писал брат, — что в прошлую неделю отдал богу душу наш тятинька Иван Егорыч, и скончался он скоропостижно, а похоронили мы его на погосте рядом с маминькой и заказали сорокоуст...»

Строчки письма начали прыгать, сливаться. К горлу подступили и душили слезы. Усилием воли пытался сдерживаться. Напрасно!.. С рыданием бросаюсь на койку и, уткнувшись лицом в подушку, даю волю сдерживаемому потоку слез. Горе казалось необъятно глубоким! Здесь впервые почувствовал я, как глубоко любил отца. Прежние обиды стерлись и исчезли. Со смертью отца обрывалась последняя нить, связывающая меня с домом, с деревней. В первый момент от этого я испытывал чувство грусти и одиночества. Но в глубине души теплилось и росло другое чувство — чувство свободы и гордой независимости. При жизни отца смутно, подсознательно, но все-таки во мне шевелилось какое-то неясное чувство «обязанности», «ответственности». Ныне все это оборвалось и исчезло навсегда. Самое тяжелое в моих переживаниях было то, что я — один, сам с собой, со своими мыслями, чувствами, сомнениями.

В один из четвергов (день свиданий) пришел надзиратель:

— Пожалуйте на свидание.

С радостным волнением торопливо одеваюсь. Быстро шагаю по длинным коридорам тюрьмы. Теряюсь в догадках, кто бы это мог быть? Родных у меня здесь никого нет, знакомых и дальних родственников не пускают... Может быть, брат из деревни приехал? Надзиратель вводит в будку с проволочной сеткой, похожую на шкаф, и запирает на ключ. Сижу и с волнением ожидаю. С противоположной стороны в будку ввели какую-то женщину, повязанную серым вязаным платком. Внимательно приглядываюсь и с радостью вскрикиваю:

— Авдотья Петровна!

— Как твое здоровье, племянничек? — услышал я ее ласковый, добрый голос.

Почему «племянничек»? Ведь она раньше меня «Сенюшкой» звала!.. Ага, догадываюсь, — назвалась теткой, чтобы получить у жандармов со мной свидание! Сквозь проволочную сетку вижу, как она вынимает белый платок и то-и-дело вытирает слезы и сморкается. Сквозь ее всхлипывания доносятся отдельные фразы:

— Жалеют тебя все... Приходили спрашивать про тебя барышни...

«Ага, значит Ольга Николаевна и Анна Николаевна еще не арестованы», соображаю я.

— А ищо ходит этот твой длинноволосый... Нам с отцом он ни ндравится, как его... Тараканов, што ль?

— Мухин, — поправляю ее.

— Все про тебя да про твоих товарищей спрашивает, што да как, да где... А мой отец уж очинно осирчал... взял, да и прогнал его вон...

— Очень хорошо сделал.

— Штоб больше нога, — грит, — твоя не была у меня! Да так на него накричал, што он с тех пор и глаз не кажет!

Авдотья Петровна сделала маленькую паузу, вытерла платком слезы, опасливо покосилась на жандарма и со вздохом сказала:

— Совсем забыла тебе сказать, што у нас Мишанька захворал второй месяц...

Жандарм насторожил уши, но придраться было не к чему. Я понял: арестовали Михаила Орлова, слесаря, также жившего на квартире у Быковых, которого Авдотья Петровна называла «Мишанькой».

— Свиданье кончилось, — объявил жандарм.

С чувством глубокой благодарности распрощался я с Авдотьей Петровной и вернулся в камеру.

Светло и весело стало на душе. Камера уж не казалась столь мрачной. Хотелось петь, декламировать, скакать, кричать! Посещение простой, неграмотной женщины, преодолевшей столько препятствий, чтобы добиться со мной свидания, не есть ли это лучшее доказательство того, что наше дело правое, если ему смутно, бессознательно начинают сочувствовать массы!

Впоследствии, когда я вышел из тюрьмы и на короткое время снова вернулся за Невскую заставу, я еще более наглядно убедился в огромном сочувствии знавших и не знавших меня рабочих. Издалека завидев меня на улице, даже мои бывшие недруги подбегали ко мне, с чувством, крепко жали мне руку и долго расспрашивали о моем здоровьи, о тюрьме, с ненавистью говорили о жандармах, шпиках, о притеснениях и произволе заводской администрации.

Прошла зима, весна, наступило лето. В тюрьме становилось душно — и в прямом и в переносном смысле. Меня никуда не вызывали, и, повидимому, никто мной не интересовался. На стене в камере висел успевший пожелтеть за время моего сидения листок белой бумаги, в котором зна-

чилось: «Арестант такой-то, год рождения 1879, зачислен за Санкт-Петербургским губернским жандармским правлением»... Никаких дальнейших отметок на листке не делалось. Может быть, меня забыли?

Однажды ясным летним утром, когда особенно гнетут и давят стены тюрьмы, загремели ключи, отворилась дверь, и надзиратель, стоя на пороге, сказал:

— Собирайте вещи и пойдемте в контору.

В первый момент я даже не сообразил.

— Какие вещи?

— Ваши вещи, на волю пойдете, — повторил он.

Совершенно обезумев от радости и счастья, расстилаю на полу простыню и начинаю валить на нее все в кучу — подушку, чайник, стакан, книги, тетради, зубной порошок, которым я впервые в тюрьме начал изредка чистить зубы. Все это связываю в узел и торопливо бегу по темным коридорам за надзирателем. В конторе за столом сидел сурового вида жандарм, который прочитал мне какую-то бумагу, из которой я понял только то, что высылаюсь под надзор полиции на родину. Это меня не испугало, но и не обрадовало. Жандарм начал подсовывать какие-то бумаги на подпись. Рука дрожала, перо прыгало по бумаге и брызгало кляксами. С большим усилием выводил каракулями свою фамилию. В заключение жандарм добавил, что через три дня я должен выехать из Питера, а документы получу на Гороховой, у градоначальника. Не помню, какие еще формальности я должен был проделать и как выходил из тюрьмы.

Пришел в себя, когда очутился на залитой солнцем шумной улице. Взял первого попавшегося извозчика, еду к Николаевскому вокзалу, дабы сесть там на паровичок и ехать за Невскую заставу.

Первыми на дворе с радостным криком бросились и облепили ребятишки Быковых. Обрадованная Авдотья Петровна совсем растерялась, — она смеялась, плакала, утирала передником слезы, сморкалась...

— Вот не ожидала такой радости!.. А отец-то уж как будет рад! Мы думали, что уж тебя совсем не выпустят. Туто наши ребята сказывали, быдто теперь всех в Сибирь угоняют... Ты смекнул, как я тебе про Мишаньку сказала на свидании?

И не дожидаясь ответа, она начала рассказывать, как у нее жандармы выспрашивали обо мне, как она прикидывалась «дурой» и врала жандармам.

Пришли Быков и другие жильцы нашей квартиры. Меня обступили со всех сторон, с жадным любопытством и сочувствием ко мне расспрашивали о тюремном сидении, о пище, о допросах и т. п. Особенно сильное впечатление на всех произвел мой рассказ об одиночке и строгой изоляции, в которой самодержавное правительство доводило людей до умопомешательства.

— Вот сукины-то дети, как измываются над человеком! — возмутился даже молчаливый, мрачный котельщик Михайло, с которым я первое время спал на одной койке и который прежде не выказывал мне никакого сочувствия. Он был глух, стоял в группе жильцов, приставив рупором к левому уху ладонь, и внимательно слушал.

— Придет когда-нибудь конец рабочему терпению!.. И такую мы им трепку зададим! — Михайло угрожающе показал огромный, черный от сажи и масла кулак и скрипнул зубами.

В этот же день совершенно неожиданно зашли ко мне Лангельд и Толмачев, которые, как оказалось, были освобождены из тюрьмы вместе со мной. Нашей радости не было пределов. Не слушая и перебивая друг друга, мы рассказывали о своих переживаниях, о мимолетных встречах

с товарищами, о предстоящей ссылке, смеялись и болтали, болтали без конца, вознаграждая себя за полугодовое тюремное молчание. Вечером, захватив с собой несколько знакомых рабочих, мы всей компанией поехали на лодке кататься на Стрелку. Хотелось в последний раз провести вечер в среде близких людей, распрощаться с родным, любимым Питером, а потом по воле жандармов разъехаться в разные стороны и, может быть, никогда больше не встретиться. Далеко за полночь, насладившись красотой взморья, наглотавшись свежего, бодрящего воздуха, усталые здоровой физической усталостью, мы вернулись домой.

Утром проснулся по гудку и пошел на завод, чтобы в мастерской забрать свой инструмент. Снова встречи, расспросы, разговоры с друзьями и недругами. Большинство модельщиков встречало участливо, сочувственно. Мой старый друг Василий Евдокимович с чувством жал мне руку и, явно гордясь мною, отечески наставительно говорил:

— Молодец Семен! Правильную дорогу нашел. Иди и не сворачивай с нее никуда. Будь только осторожен, бойся худых людей!.. Куда тебя высылают?

— На родину — в деревню.

— Пожалуй, уж больше не свидимся?

— Ну что вы, Василь Евдокимович, как это можно? Небось, скоро революции дождемся!

— Вы-то, молодежь, и дождетесь, а мне-то... где уж там,— и качнув седой головой, с грустью прибавил: — стар я, не дожить мне до нее...

Мы крепко с ним расцеловались и, действительно, расстались навсегда.

— Ну што, хренова голова, достукался? — насмешливо и злобно остановил меня старик Рябцов, когда я проходил мимо его верстака к выходу. — Ишь какой «скубент» выискался, сопли утирать не умеет, а туда же против царя идет... Всыпать бы тебе двадцать пять горячих... зарекся бы, небось, царя поносить.

— Прошло то время, Андрей Петрович, когда вы свою волю творили... Теперь у вас руки коротки... Подожди, старый подлиза, мы с тобой иначе скоро будем разговаривать! — еле сдерживая себя от гнева, горячился я.

Кто-то из модельщиков, слышавший нашу стычку с Рябцовым, подошел сзади и старался незаметно оттеснить меня к двери, боясь, очевидно, как бы наша ссора не закончилась чем-нибудь более серьезным. В дверях он незаметно сунул мне в руку десятирублевую бумажку, сказав:

— Возьми, Семен, это мы сейчас промежду себя собрали, тебе в деревне пригодится.

Крепко пожав товарищу руку, взяв тяжелый ящик с инструментами, я навсегда покинул Семянниковский завод.

На следующий день, расставшись с близкими и друзьями, я уехал в деревню.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

В казакских аулах [1]).

Анатолий Бориневич.

I.

Поезд мчит в Азию. Километры отмечают столетия. Путаются эпохи. Чем дальше на Восток, тем грандиознее обаяние природы. Но палящее зноем солнце, очарование пестрых своими красками гор, пряный запах полынной степи, тишина великих просторов кажутся ненужными, когда столкнешься с неуютным жильем кочевника.

Все дальше от Волги... Стелится степь песком. Уходят города. Серебром отливает ковыль. Все реже мелькают русские поселки, все шире желтосерый песок.

В глубине высокого синего неба замерли горы. Солнце жжет зноем. Серыми изломами торчат в нависших облаках снежные пики. Тесно в европейском костюме. Радостно в широком приволье. «Амамба» — ленивый восточный покой.

В облаках лессовой пыли, в зелени высоких тополей, в груде белых гор, изрытых арыками, стоит последняя железнодорожная станция, столица Киргизии — город Пишпек.

Рвется связь с Европой. Идем в далекое долгое скитание. Медленно, не считая дни, без чисел, длинные месяцы бродили по Азии. Пугали застывший покой шумом автомобиля, трусили по горам в дунганской повозке, а там далеко, где нет дорог, где трудные перевалы, где равнину пересекают бурные горные реки, — двигались верхом. Бродили по горам, русским переселенческим поселкам, ходили в пески, жили в казакских аулах. Видели черные пустынные берега Ало-Куля. Видели изрытые ломаными узкими переулками, днем бескрасочные, тесные, плоские, глиняные, всем своим бытом сейчас ненужные — старые азиатские города. Любовались голубыми изразцами мечетей.

Ели с дунганами палочками плов. Смотрели в черные чачваны узбекских женщин, стараясь угадать: 16-летняя красивая девушка, еще послушна дикой воле своих предков, или, кутаясь в серый халат, прячет за черную сетку — чачван — старая узбечка свое желтое сморщенное лицо. Были у таранчей, киргизов. Видели... всего не перескажешь! Я расскажу только о том, как живут казаки в восточной части Джетысу (Семиречье).

---

[1]) В летние месяцы 1928 г. по поручению Наркомзема Казакстана АССР в районе Туркестано-сибирской железной дороги было произведено статистическо-экономическое исследование. Экспедиция под руководством проф. А. А. Рыбникова собрала большой статистическо-экономический материал (33 тысячи подвижных карточек, 1 200 описаний общин и 600 бюджетов). Материал разрабатывается, и через год-полтора будет опубликован. Настоящие строки — только впечатления участника экспедиции.

II.

За Волгой, минуя Самару, чуть ниже Оренбурга, начинается Казакстан. Огибая восточный берег Каспийского моря от Астрахани до залива Кара-Бугаз, через Арал, Балхаш, упираясь на востоке в Китайский Туркестан (Синьцзян), тянется огромная песчаная, местами солончаковая, выжженная солнцем великая среднеазиатская Туранская низменность. На юге и юго-востоке пустыню окаймляют отроги могучей системы Небесных гор (Тянь-Шань), с севера горы Каркаралинские и Кокчетавские, с северо-востока — горы Тарбогатай, Нарынский хребет и горный узел южного Алтая.

Эти пески, солончаки и горы составляют современный Казакстан. Территория Казакстана больше всех, за исключением Якутии, советских национальных республик. Общая площадь — 3 039 тысяч квадратных километров. Территория Казакстана более чем в 7 раз превышает территорию Украины.

Там все огромно. Огромные песчаные степи (пески одной Голодной степи составляют 70 000 квадратных километров). Горы с вершинами 15 000—18 000 футов над уровнем моря, широкие замкнутые бассейны, Аральское море с территорией 590 тысяч квадратных километров, озеро Балхаш с площадью 16 470 квадратных километров; огромная река Сыр-Дарья. Там все огромно. Там только люди — маленькие, маленькие не только ростом, но всей своей беспомощностью перед этой огромной природой.

На юго-востоке Казакстана между семью реками (Лепса, Аксу, Серкан, Биен, Кызыл-Сач, Кок-Су, Каратал) лежит Джетысу. Здесь возделываются все растения умеренного пояса, местами субтропические: хлопок, рис. Растут виноград, персики, можно собирать обильные жатвы. Но редко встретишь здесь поселок; ближайшая железнодорожная станция (Семипалатинск с одной стороны, Пишпек — с другой) находится на расстоянии 700—800 километров. Хлеб здесь не нужен. Земледелием занимаются немногие. Между семью реками ходят казаки с одного пастбища на другое, ходят покрывая в год до 1 000 километров, перегоняя табуны лошадей, стада крупно-рогатого скота, отары овец. Медленно врываются сюда иная жизнь. Медленно растут изнутри, из самого кочевья, иные отношения. Медленно перекатываются из Европы деньги, а с ними и все то, что будоражит ленивый покой кочевья и заставляет укладывать хозяйства в новые формы.

III.

В Джетысу есть русские. Они оказывают влияние на коренное казакское население. Быт русских и формы их хозяйствования не отличаются резко от форм и быта крестьян европейской части СССР. Русские в Семиречьи появились не очень давно. Колонизация казакских степей началась с 1866 г., после окончательного укрепления русских в Туркестане. Первоначально они селились самовольными поселками на арендном праве, позже (с 1870 г.) образуются официальные поселки.

Цель переселения, во-первых, заселить казакские степи русскими и тем тверже закрепить территорию; во-вторых, думали путем переселения разрешить аграрный вопрос в России, не нарушая интересов помещиков. В Семиреченской области было изъято у коренного населения и передано для поселения 4 193 520 гектаров.

Переселенческая политика заключалась в том, что казаков (киргизов) сгоняли с лучших обарыченных земель и отводили эти земли русским переселенцам. Последним давали первоначально на душу по 30, позже по 10 гектаров. В результате между русским населением и казаками развился национальный антагонизм.

Русские живут по тракту.

От Алма-ата через реку Или, пересекая пески по кручам гор, через арыки, по перевалам, ущельям, через бурные, не имеющие мостов, идущие несколькими руслами реки, по предгорной долине тянется почтовая дорога. Дорога уходит к северу на Семипалатинск и вдоль Джунгарского Ала-Тау, тянется к востоку к озеру Ала-Кулг, в Джунгарские ворота, к китайской границе. Ближе к Алма-ата дорога очень оживлена: сотни телег, длинные чумацкие обозы, многоверблюжие караваны. Чем дальше к востоку, тем дорога делается безлюднее. После Лепсинска нет телеграфных столбов, нет почтовых отделений. Редко в пути встретишь телегу.

Вдоль всего тракта, от Алма-ата до озера Ал-Куля, в предгорной равнине, у воды или в межгорных долинах, изрытых сопками, разбросаны русские поселки, нелепо широкие и длинные. Усадьбы груздятся по лощинам. Поселок прерывается холмами, горными, кипящими пеной, бьющими по камням реками, балками и ключами. Сверху с горы кажется, будто ползет огромный серо-зеленый паук. Въехать в деревню не всегда просто. Уровень воды в реках каждый день меняется, в зависимости от таяния снегов в горах. Бывают дни, — проехать нельзя ни на телеге, ни верхом. Дно устлано круглыми камнями. Не понимаешь, как люди могут так жить, как могут ежедневно мучить себя и лошадей.

Раньше чем въехать в довольно крупный оживленный торговый пункт, город Талды-Курган, если ехать к нему со стороны Алма-ата, нужно у самого города пересечь семь крупных арыков. Мы ехали на полугрузовом автомобиле, у каждого арыка ждали проезжего верхового. Просили лошадь, по одному переправлялись на другую сторону, потом тащили автомобиль веревками или, как там говорят, арканами. Еще труднее выбраться из города Талды-Курган к востоку и северу: нужно перебраться через 5 или 6 русел довольно бурного Каратала. Более или менее спокойно можно проехать только верхом. Телегу с грузом заливает. Перебраться через воду на автомобиле можно только при помощи очень искусных проводников. И так почти у каждого населенного пункта. Двигаться по этому, наиболее оживленному и лучшему из всех тележных дорог, Джетысу медленно и мучительно. Истомленный дневной жарой, плотно закутанный пылью, с нетерпением считаешь километры, ждешь поселка, караван-сарая (заезжий двор), где можно в исключительно примитивной обстановке отдохнуть, накормить лошадей, достать пельмени, плов, сурпу. Наконец, видны огни деревни. Лошади, чуя дым, предчувствуя стоянку, пошли бодро. У самой деревни топкая липкая грязь. Болото прерывается широким, глубоким, с высокими краями, арыком; сегодня пустили воду для полива. Въехать в деревню нельзя. Долго исследуем все пространство вокруг, посылаем в деревню верхового, зовем людей. Приходят люди с лопатами, бревнами. Долго спорят, где легче будет проехать, как подрыть и засыпать, чтобы можно было пробраться.

Часто вся деревня в воде. Прорвет где-нибудь арык, или лишнюю воду сбрасывают...

Труден путь из Туркестана в Сибирь. трудно пробраться по дороге, соединяющей Туркестан с Монголией и Китаем.

По этому тракту живут русские. Поселки крупные, иногда свыше 1 000 дворов. Приветливо шумят зеленью. В выжженной солнцем равнине стоят оазисами. Чем дальше к востоку, тем неприветливее складывается жизнь. После Лепсинска даже русское население не знает, что такое кино, никогда не видали автомобиля, аэроплана; слушали нас с глубоким недоверием, когда мы им рассказывали, что такое трактор. Среди этого заброшенного на тысячи километров от центра населения культурная работа почти не ведется. Единственное место общения — базар, главная обстановка при общении — водка. Пьют в базарный день, пьют в пятницу (день отдыха в Казакстане, так как казаки — магометане), пьют в воскресенье, пьют по каждому поводу. Иногда по нескольку дней в сельсовете никого и ничего нельзя было добиться, — все пьяны. Русское село — центр всей местной хозяйственной жизни. Здесь еженедельно бывают базары. Торговля — мелочная. Продают скот, шерсть, шкуры, но больше яблоки, арбузы, в ведрах и бутылках медовое пиво, подсолнечное семя, пшено и т. д.

Базары шумны и красочны. Русские женщины в ярких пестрых костюмах. Казачки верхом на лошадях в белых замысловатых головных уборах (джавлык).

В пыли, пригнувшись на корточках, под лучами жгучего солнца, безмолвно сидят в теплых халатах, в высоких бараньих шапках, в кожаных штанах, подшитых овчиной, казаки. Верхом на лошадях часами стоят и слушают шум базарной площади. Базар — это праздник. В местном сельсовете в базарный день никого не найдешь, — все на площади. На базар едут издалека. И не только для того, чтобы купить или продать,— приезжают узнать новости, приезжают гулять, приезжают получить или отправить почту.

Там, далеко, почтовые отделения встречаются редко. Почта кочует. Почтальон верхом переезжает с базара на базар. Здесь же, сидя на земле, производит почтовые операции: выдает корреспонденцию, принимает письма, переводы и т. д.

В базарный день в селе шумно, пыльно, а к вечеру и пьяно. Базары втягивают казаков в торговые связи, разрушают натуральный строй аулов.

IV.

Раньше, до революции, русские имели крупные посевы, много скота. Русские казаки в большинстве сами не работали, эксплоатировали киргизов. Единственным для них занятием были поездки с хлебом или шерстью в крупные центры Алма-ата, Пишпек, Ташкент и, главным образом, в Семипалатинск. До Семипалатинска 700—800 километров, идут туда обозами на волах, в пути проводят $2—2^1/_2$ месяца.

В довоенные годы русские в сравнительно крупных размерах занимались рогатым скотоводством и отчасти овцеводством. Экстенсивное земледелие велось в широких размерах. Возделывали яровую пшеницу.

После гражданской войны, которая здесь была жестокой, — в особенности в тех районах, где был Анненков, — почти все хозяйства были разрушены до основания, а скот угнан, русские села очень обеднели. В настоящее время, после неурожайных годов, когда скот съеден, русские села приняли более земледельческий характер. Возделывают, главным образом, пшеницу, причем заметен резкий переход от яровой к озимой. Более 60% всей повсевной площади занимает пшеница. Овес, ячмень

и рожь сеется в незначительном количестве. Далее, почти в каждом хозяйстве есть лен, конопля, подсолнух, картофель, местами имеется бахча.

Несмотря на то, что русские села протянулись с запада к востоку на расстоянии более 600 километров, они друг от друга резко по системе хозяйствования не отличаются. Модификацию в отбор культур и отраслей вносят лишь естественно-исторические условия, разные в равнинной части, в предгорьи и в горах. Кроме этого, вывезенная населением из мест первоначального жительства привычка удовлетворять свои потребности теми или иными культурами точно так же определяет то, что в одном месте возделывают в более широком размере ту или иную второстепенную культуру.

Русские пришли из центральных губерний, принесли с собою навыки в ведении хозяйства, привезли с особой машины и т. д. Местное население, соприкасаясь с русскими, медленно, но все-таки перенимает у них более культурные формы хозяйствования. Во время революции у русских излишние земли отрезали и передали казакам (киргизам). Русские в настоящее время живут скромнее. Занимаются, главным образом, сельским хозяйством. Получили распространение извоз, в некоторых районах — мукомолье, маслобойная промышленность, выделка овчин и другие мелкие ремесла и промыслы. Эксплоатация местного казакского населения прекратилась. В разных природных зонах сложились неоднородные типы русского земледельческого хозяйства.

В равнинной части Джетысу осадков мало, поэтому все земледелие ведется на поливе. Преобладает пшеница — до 65% посевной площади; далее — овес, ячмень, подсолнух, огородные растения, люцерна. Животноводство имеет внутрихозяйственное значение. Молочное скотоводство и свиноводство развиты слабо. Однако существующая организация полеводства указывает, что предпосылки для развития этих отраслей имеются, но задерживаются отсутствием рынка. Здесь же развито садоводство — яблоки, груши, сливы. Среднее хозяйство имеет 5—6 гектаров посева, две лошади, одну-две коровы. Почти все занимаются промыслами, главным образом, извозом, отчасти работой на мельницах.

В поселках расположенных в *предгорьях*, организация хозяйства почти та же, только здесь, наряду с поливными землями, встречается багара.

Район межгорных долин. Здесь осадков выпадает больше, чем внизу, — поэтому развито багарное земледелие. Система хозяйства очень экстенсивна. Часты неурожаи. Население страхует себя разнообразием занятий. Занимаются извозом, в более крупных торговых пунктах — перепродажей скота. В некоторых местах в довольно широких размерах развито пчеловодство, лесной промысел (рубка, разделка и возка леса), охота (сурок, горностай, медведь, лисица, горный козел) и использование дико растущего в горах яблочника (варка пастилы и сушка яблок).

Наиболее распространенное в этом районе хозяйство имеет 3—4 гектара посева (почти исключительно пшеница), 1—2 лошади, 1—2 головы рабочего скота, пчелы или какой-нибудь промысел.

V.

Русские пришли в Казакстан из далекой России, пришли искать счастья. Многие шли долгие месяцы в Сибирь. Жили там. Изверившись, уходили в Казакстан, садились на землю, закладывали хозяйства. После неудачных годов бросали постройки, уходили с насиженных мест дальше к востоку.

Во время гражданской войны многие поселки были выжжены до основания. Население разбрелось. У озера Ала-Куля было два поселка: Аргайты, где было около 20 дворов, и Кызыл Агач —10 дворов. Во время гражданской войны население ушло. Некоторые сейчас вернулись и образовали здесь же у Ала-Куля поселение Коктума и восстановили Кызыл-Агач. На Чулаке, возле Джунгарских ворот, где исключительно пышные пастбища, в горах было три поселка: Чулак — 150 дворов, Сельты — 50 дворов, Акчи — 30 дворов. Здесь жили крупные скотоводы. Это у самой китайской границы. Отсюда Анненков перевалил в Китай. Уходя, сжег поселки до основания. Густая поросль травы покрыла остовы сгоревших построек, заросли дороги, тропинки. Не верится, что когда-то здесь жили люди. Только лошадь иногда оступится о спрятанное в траве обгоревшее бревно или рванет в сторону, испугавшись вырытой ямы. На многие десятки километров безлюдно. Два дня трусили на лошадях по щебню, вязли в липком болоте, взбирались по нависшему граниту в горы. Пугали кекликов. И только случайно, высоко в горах, в холоде, недалеко от снега, в липких волнах тумана от ползущих по горам облаков, нашли одинокую юрту кочевника. Шли много дней тому назад казаки из гор вниз на равнину. Лопнула подпруга, сорвался старик, сломал ногу. Бросили, на ветру наступившей в горах осени, казаки дырявую старую юрту, больного старика с его семейством и ушли вниз, где яркое солнце. Грызет ночью дикий кабан юрту. Нюхают волки пахнущую бараньим салом войлочную покрышку. Рвет ветер одинокую кибитку.

VI.

Русский поселок, где есть хлеб, где живешь в избе, покидаешь неохотно. Но всегда радостно брать в руки ружье, вьючить животных, чувствовать, как вздрогнет лошадь от прикосновения каблука. Идем в степь узкой тропинкой. Лошади жмутся цугом. Так, воспитанные в горах, они привыкли ходить по горным перевалам. Трусят часами, не сбиваясь с такта, мелкой спокойной рысью. Пахнет солнцем. Молчит безлюдная степь. От «мулушки» (могила) к «мулушке», как по маякам, ведут проводники. Ищем кочевников. Где-то вдали то вынырнет из высокой травы, то вновь спрячется высокая казакская шапка. Знаем, казак мимо не проедет, он видит далеко, чувствует, что кто-то едет, должен узнать,— таковы восточные традиции, — кто и куда. Лошади это знают, они сами рвутся навстречу и, поравнявшись, останавливаются. «Канча шакырм?» (Сколько километров). — Казак молчит, долго рассматривает незнакомых лошадей, непривычную упряжь, непривычное наше одеяние. Он все должен запомнить. Он многим и долго будет рассказывать, что видел в степи «орусов» (русских) — чужих всадников. Он через много месяцев скажет, какие были лошади, их масть; скажет, что у того, кто был с ружьем, калмыцкая кобыла; запомнит, какое у нее на правой задней ноге тавро, до мелочей запомнит и опишет костюм седоков. «Кайда-барасын» (куда едешь) спросит, узнает кто мы, процедит сквозь зубы, что до соседнего аула недалеко: «быр казан эт кайнаганче» (покамест мясо сварится доедешь), еле слышно пробурчит «кош» (прощай) и поедет в другую сторону. А ехать далеко. Только к вечеру попадаем в аул. В ауле казаки встречаются без удивления, — им уже известно, кто мы и куда едем. Такова сила «узун кулака» (длинное ухо), которое перекатывает весть неведомыми путями по широкой степи.

VII.

В ауле скучно. Бьют казачки с утра до ночи в высоких деревянных ступках просо. Смотрят казаки долгими днями в монотонно-серую пустынную степь, в тишину причудливых гор... Ходят кривым неуверенным, медленным шагом, без дела, от одной юрты к другой. Ездят прямо степью без дорог и тропинок в соседний аул в гости. Сидят длинными часами друг против друга, жуют табак, монотонно тягуче повторяют свое бесконечное «йа» (да), плюют звонко, отрывисто, деловито. А то вдруг с силой, на которую неспособен ни один европеец, крикнут: «уй-вуй-уй» — окрикнут скот. В ауле скучно, приезжий вносит разнообразие. Встречают радушно, рассматривают с любопытством. Помогают расставить палатку, с удивлением смотрят, как вырастает наше жилье, трогают руками брезент, удивленно перебирают наши, для них такие странные и ненужные, вещи. Мы подолгу живали в аулах. Три — четыре дня сидели с утра до ночи у палатки казаки и казачки, смотрели в нашу примитивную жизнь. С недоумением всматривались, как мы чистим щеткой зубы, как мылится мыло, как едим вилкой.

Гостеприимство для казака обязательно. Не успеешь сойти с лошади, — просят в юрту, усаживают на почетном месте против входа, рассаживаются сами, уютно поджав под себя ноги. Хозяин взбалтывает в турсуке (кожаном мешке) кумыс, медленно наливает в пиалу (чашки без ручек немного меньше наших полоскательниц), отпивает сам и предлагает гостю. Затем в ту же пиалу наливает другим. Недопитое из пиалы не выливается. Кумыс выливать нельзя. После кумыса угощают чаем. Плиточный чай, разведенный в большом медном чайнике. В пиалу наливается несколько капель — не больше чайной ложечки — козьего или коровьего молока, наполняют обязательно не более чем четверть пиалы чаем. Чай пьют без сахара, но зато с солью. Только очень наголодавшись можно пить этот напиток. Иногда к чаю подают «тару» — жареное просо, редко масло. Масло берут пальцами, пальцы облизывают, запивая чаем. У тех, что позажиточней, есть «баурсаки» — жареные в бараньем сале кусочки теста. После чая хозяин юрты приводит овцу. Через переводчика—проводника говорит, что он очень рад гостю и что в честь гостя хочет зарезать овцу. «Если тебе, приезжий, эта овца не нравится, если ты находишь, что она недостаточно жирна, иди и выбери из моего стада другую». Казаки поднимают руки, совершают молитву, и здесь же в юрте хозяин бьет овцу. Долго овцу разделывают. Посреди юрты ставят казан. Барана варит сам хозяин. Как-то по-театральному, пластично, отрезает от туши куски, бросает в казан, большой шумовкой мешает, пробует. Вареного барана мелкими кусками нарезают на большое деревянное круглое блюдо. «Биш-бармак» готов. Обносят чашку и чайник с теплой водой, моют руки и вытирают исключительно грязным, пахнущим бараньим салом полотенцем. Садятся вокруг блюда, едят руками, — конечно, без хлеба, — жадно и громко. Хозяин, желая оказать гостю внимание, преподносит руками глаз барана, ухо или особо жирный кусок. После барана пьют «сурпу» — навар от варившегося барана.

Пищеварительные способности казака изумительны. Бывало, мы, буквально, валились с лошадей от голода. Проводники-казаки спокойно переносили голод, — так же апатично, бочком как всегда, сидели на лошади, пели свои монотонные песни. Зато после, в ауле, они часами непрерывно ели. У казаков есть пословица: казака не спрашивают, хочет он еще, — казак спрашивает, есть еще или больше нет.

Вообще казаки редко едят как следует. В основе средний казак питается кумысом, чаем, тарой. Мясо едят, когда скот подыхает или когда гостюют. Женщины в общей еде участия не принимают. Они сидят у порога юрты. Мужчины передают им объеденные кости.

VIII.

Положение женщины в ауле тяжелое. Женщины понурые, грязные, безрадостные. Мужчины ничего не делают, они только детей няньчат. Всю работу по уходу за скотом, хозяйством, детьми выполняют женщины. Они собирают и ставят юрты при кочевьи, валяют кошмы, ткут на ормеке (станок), шьют всем членам семьи все, начиная от белья и кончая шапкой.

Многоженство декретами советской власти запрещено. Однако, хотя и изредка, но еще и теперь встречаются казаки, которые имеют по 2—3 жены. Нередки случаи, когда сама жена требует, чтобы муж брал вторую. Сельского женского пролетариата здесь почти нет. Наемные работницы почти не встречаются. Обрастает хозяйство людьми, скотом, трудно одной женщине со всей работой справиться, — просит, чтобы взял муж вторую жену, думает: легче будет.

Запрещен и калым: уплата аулом жениха аулу невесты за воспитание последней и за потерю работницы. Несмотря на запрет, калым так же, как и многоженство, встречается. Платят баранами, лошадьми, верблюдами.

Мы остановились в ауле. Стали палаткой возле юрты. 11—12-летний грязный мальчик водил на водопой наших лошадей, играл колышками от палатки, ждал угощения — куска сахара, — скучно, как все казакские дети, играл с ребятами, роясь в пыли бараньей костью. Несколько раз на день из юрты выходила красивая со строгими чертами женщина и безлично, как это у казаков принято, одним только «эй» звала мальчика. Позже мы узнали, что эта женщина — жена мальчика. Заплатили за нее калым, вышла несколько лет тому назад за брата этого мальчика замуж, муж скоро умер. Не пропадать же калыму, должна она стать женой брата. Пока няньчит своего мужа.

Путанно там на Востоке! Женщина — раба, а вместе с тем самостоятельна; женщина безлична, но к ней проявляется некоторое внимание. Лучшая в семье лошадь принадлежит женщине. У женщин седла кованы перламутром, серебром. Женщина в знак рабской приниженности помогает мужчине сесть на лошадь, — сама же она самостоятельно седлает лошадей, без чужой помощи садится, едет одна далеко степью и в горы. Уезжает из дому без разрешения. Держит себя свободно.

Были в горах на жайляу (пастбище). Казаки позвали в соседний аул в гости. Поехали. По дороге нас нагнали казак и казачка. Казак «мало-мало», как здесь говорят, понимал по-русски. Поехали вместе. Женщина поразила редко здесь встречающейся бьющей радостью. Невольно смотрели в красивое бронзово-матовое лицо казачки, смотрели в ее большие синие глаза, любовались ее беспричинным смехом, белыми играющими на солнце зубами. Она ехала рядом, ласкала глазами наших лошадей. Потом что-то начала говорить. Казак перевел, сказал, что женщина хочет меняться лошадьми. Казаки любят меняться. Встретят в пути, поговорят, а потом пристают — давай меняться. Условились, — приплатит тот, чья лошадь хуже бегает. Лошади поняли, раздули ноздри, перебросились мелкой дрожью, метнули в сторону и по долине пустились вихрем. Женщина, как все казаки, криком будоражила лошадь, скакала рядом,

бросала смехом, била кнутом по передним ногам лошади, которая бежала с ней рядом, чтобы «сорвать ей ход». Задерживали лошадей, ждали казака, а когда он подъезжал, гнали вскачь через кусты в равнину. С гиком налетала казчака, обнимала одного из нас за талию, мчалась, тесно прижавшись, обдавала горячим радостным смехом, что-то кричала навстречу свистящему ветру. Взмыленные пеной лошади пошли шагом. Ехали все вместе... Казачка все время болтала, казак переводил; говорил, что ей, женщине, попутчики нравятся, что она готова с ними всю жизнь по степи скакать на лошадях и т. д. Мы хвалили ее красоту, слушали звонкий смех. Казак эпически спокойно, чуть-чуть скептически улыбаясь, добросовестно выполнял роль переводчика.

Въехали в аул. Прощаясь с ними, узнали, что это муж и жена.

IX.

В казакской юрте жить неуютно.

Прямо против входа стоят два — три сундука, на которых аккуратно сложены кошмы и одеяла. Пол юрты иногда весь, иногда до половины покрыт кошмой. Посредине стоит треножник, под ним огонь. Возле входа сложены седла, большой казан, медный чайник, две — три пиалы. На деревянном основании юрты висят мелкие принадлежности домашнего обихода и одежды.

Вверху юрты отверстие, куда выходит дым. Ветер обдает через неплотно приставшую войлочную покрышку. От земли тянет сыростью. Горит огонь. Дымом глаза выедает. Обитатели грязны, вероятно, отроду не мыты, — только руки, удивительно здесь красивые, всегда чисты. Так требует шариат. Спят на полу, никогда не раздеваясь. Все имущество и самую юрту можно собрать в 15—20 минут.

Кибитки (юрты) прячутся в огромном просторе. Они белые, в песках стоят небольшими группами, грибами торчат в предгорьи или мостятся в вышине еле доступных гор. Юрты разбросаны группой по 3—5 на некотором расстоянии друг от друга. Эти несколько юрт хозяйственно между собой связаны. Во главе такой группы, которая вместе кочует, стоит аксакал, старший в роде, или бай — зажиточный казак. В состав такой группы входят ближайшие родственники, однако встречаются юрты и из другого рода. Центр жизни — юрта бая. Он сносится с внешним миром, он определяет дни и пути кочевок. Он помогает живущим с ним рядом скотом при кочевании, он роздает им свой кумыс и т. д. Все носит характер родственных отношений или помощи бедному казаку. Первое впечатление — родовая патриархальная идиллия. Однако, всматриваясь внимательнее, видишь, что все основано на эксплоатации. Баю косят сено, баю его собирают, пасут скот бая, сопровождают бая при поездках и т. д. Он раздает свой кумыс, он изредка колет барана и угощает. Казаки ездят друг к другу в гости. Чуть ли не половину времени проводят в гостевании. Гостевание не только форма выражения радушия, но оно характеризует глубокие, здесь очень тонко сплетенные, социально-экономические отношения. Никакими статистическими коэфициентами этих отношений не выразить. Есть баи, которые рабочих не нанимают, землю в аренду не берут, промыслов не имеют и т. д. Здесь это выливается в другие формы. От 60 до 80% всего получаемого в хозяйстве кумыса идет на угощение. Бай принимает гостей — баев-аксакалов из других аулов, — бай угощает случайно приехавших, — при этих угощениях присутствуют и принимают участие живущие возле бая. Иногда он колет барана специально для живущих с ним рядом и его обслуживающих. Сегодня он их угощает, а завтра

они идут косить и собирать для него сено, обслуживают его при кочевке и т. д.

Бай кочует, — кочуют с ним вместе бедняки, так как без него жить не могут.

Несколько таких кочевых групп составляют более широкую хозяйственную единицу. Границы такой хозяйственной единицы уловить не всегда легко. Все больше ломаются родовые связи, все сложнее делается жизнь, все больше внедряется земледелие, выдвигающее другие организационные запросы, чем скотоводство, требующее другого уклада.

Несколько описанных выше кочевых групп хозяйственных аулов составляет земельное объединение, имеющее общую отграниченную от других призимовочную территорию, общий арык, у которого производятся посевы; в одно место ходят на летнее, весеннее и зимнее пастбище. Такая группа аулов — чаще всего один подрод — носит имя родоначальника и состоит из 50—100 кибиток (юрт — хозяйств). Хозяйственная общность в большинстве случаев определяется принадлежностью к одному подроду. Иногда зимовки одного подрода (земельного объединения) находятся не в одном месте, а на разных урочищах, отстоящих друг от друга на 10—30, иногда и более километров.

Нередки случаи более сложных хозяйственных связей. Подрод имеет обособленную призимовочную территорию; сенокосные же угодья или арык находятся в общем пользовании нескольких подродов. Создается сложная, большая по числу хозяйств община. Все эти первобытные хозяйственные формы медленно разлагаются.

X.

Здесь, в Казакстане, собрана вся история развития сельского хозяйства. На небольшой территории можно встретить все разнообразие форм сельскохозяйственного производства — от крайне экстенсивного кочевого скотоводческого хозяйства до оседло-интенсивной бесскотной китайской системы. И эти противоположные формы уживаются рядом, сохраняя свою неизменность многие десятки лет. Страна контрастов!

Вплотную к густо поросшему тополями и фруктовыми деревьями поселку подходит пустынная почти не заселенная степь. Рядом с городом, где горит электричество, где большие каменные здания, где есть банки, где в саду, в ресторане играет музыка, куда ежедневно прилетает аэроплан, — стоят юрты кочевников, пасутся верблюды.

Территория изрезана горами и водными источниками, реками и ключами. Горы защищают или задерживают ветры, почему на небольшом расстоянии создаются неоднородные условия для возделывания тех или иных культур. Климатические условия в горах резко меняются на очень небольшом расстоянии. Идут сотнями километров пески. Отсутствие воды, — там, где осадки выпадают редко, — или холмисто возвышенная поверхность, не позволяющая поднять и использовать воду, определяют резкое отличие в конструкции хозяйств на небольшом расстоянии. В огромных массивах песка, в ковыльной и полынной степи жжет солнце, жить без воды невозможно. Население теснится к воде — размещается оазисами.

Ввиду такого характера расселения, при общей низкой густоте населения, в некоторых местах плотность выше густо заселенных европейских стран.

Оазисное размещение населения, низкая плотность последнего, исчисленная ко всей территории и повышенная по отношению к пашням,

оторванность от рынка создают, во-первых, необходимость удовлетворять свои потребности натурально-внутрихозяйственным производством возделывать многообразные культуры, выращивать многие отрасли животноводства; во-вторых, задерживает развитие некоторых отраслей хозяйства, создает условия, при которых сравнительно интенсивное земледелие зачастую сочетается с экстенсивным животноводством.

XI.

Большинство казаков кочует. Зиму проводят внизу в песках или ближе к горам, где серые лессовые почвы. Место зимовок называется «кстау». Там ставят «кишалы» — примитивные, сложенные из гальки и щебня постройки. Неприветливые, низкие, черные, они разбросаны на некотором расстоянии друг от друга. Хороших построек не ставят, так как часто место зимовок меняют. В кишале одна, редко две комнаты. Обстановка самая неприхотливая. Все домашнее обзаведение помещается на одном или двух вьючных животных.

Казак живет в горах, песках или в равнине, перерезанной арыками, живет там, где на телеге не проедешь. Поэтому повозок, бричек у казаков нет совершенно. Вся жизнь — верхом на лошади, верблюде или быке, на которых здесь ездят. Вечно в движении. Запасы продовольствия скудны, в большинстве — это один-два капа (мешка) жареного проса, которое здесь заменяет хлеб.

Скот всю зиму на пастбище — «тебень». Сельскохозяйственный инвентарь: «кетмен» — железная мотыка, «то-агач» — деревянная соха без железного сошника. Кладовые, сараи, конюшни — излишни. Двора, усадьбы нет. Перед входом в кишалу — изгородь, куда загоняют зимой в ненастную погоду скот.

В начале весны кишалы оставляют. Небольшими группами по 5—6 хозяйств с юртами откочевывают ближе к горам на весеннее пастбище (коктеу). Кочует вся семья.

Брошенные кишалы грудой камней, словно могилы, стоят долгие месяцы. Оживает степь Узкими лентами вьются по степи кочевые дороги. Ревет от боли, мерно покачивая вьюк, верблюд. Его тянут веревкой за ноздри. Не разрываясь, сплошным пятном, идут овцы. На груде кошм на быке сидит старая женщина. Четырех-пятилетние дети в шапке с пером едут самостоятельно, привязанные к седлу годовалой лошади. Одеты празднично. Бронзовые от никогда не сходящего загара казаки, как-то бочком умостившись в седле, для чего-то — только им известно, для чего, — болтая ногами, криком и комчой (кнут) сгоняют скот на кочевую дорогу. Нервно качая головой, нюхая степь, идут табуном лошади.

Женщины ставят юрты, аул прячется в волнах высокого чия. Степь живет своей однообразной полной жизнью.

На одном месте долго не стоят. Задерживаются на 6—8 дней, пока скот не съест и не вытопчет раскинутые возле юрт пастбища, — затем идут дальше.

В июне, когда пастбища внизу выгорают, когда много мух, оводов, комаров, со всем скотом и семейством уходят в горы на летнее пастбище — жайляу. Жайляу находится в общем пользовании. Границ местопребывания отдельных аулов нет, но обыкновенно одни и те же аулы ежегодно ходят на одни и те же урочища.

В горы идут по ущельям вдоль рек, ключей, взбираясь по узким, вьющимся, еле видным тропинкам. Смотришь снизу — и не веришь, что на эту гору можно взобраться. А в горы идут верхом пяти-шести-

летние дети, едут по-двое, в седле — старший, сзади держится за пояс подросток, едут женщины с ребенком на руках, а зачастую еще здесь же на лошади впереди себя держат люльку с грудным младенцем.

Горы идут террасами. После первой гряды гор, на высоте 4—5 тыс. футов над уровнем моря, широкая долина покрыта бурной пышной растительностью. Дальше — вновь горы. Так четырьмя-пятью террасами поднимается Тянь-Шань в небо. На высоте 10—12 футов горы покрыты белым густым, никогда не тающим снегом. Казаки ходят к самому снегу. Идут со скотом по узким тропинкам вдоль гранитных скал над обрывом, где внизу кипит бурная горная река. Вниз смотреть нельзя, — голова кружится. Кажется, вот-вот лошадь оступится или заденет свесившийся над самой тропинкой гранит. Тропинка идет по граниту и то круто обрывается вниз в ущелье, то через бурную реку, заросли кустарников резко идет в гору. Только киргизская, воспитанная в горах лошадь, может здесь пройти. Склоны гор покрыты стройной тянь-шаньской, усыпанной черными шишками, елью. Ниже у ручья, по берегу вьющейся по ущелью реки — ольха, береза, свесившаяся над водой ива, густая поросль малины. Не покрытые древесной растительностью горы блестят на солнце черным загаром, стальным блеском, местами горят красной глиной или тянутся уходящей в ущелье вверх фиолетовой стеной. В лощинах буйные заросли то смешанного, то лиственного леса. Бьет листьями в лицо. Ель колет иглами. Вот-вот накренившаяся ветка бросит с лошади вниз, в глубокую щель, в брызги ревущего потока. Местами густой, трудно проходимой стеной стоят заросли дикой яблони. Земли не видно, вся усеяна яблоками. На яблоках выпасаются дикие свиньи, мнут яблоки медведи.

В межгорьях — бархатный ковер альпийских лугов, пышных, пестрых и красочных. Высоко птиц нет, только изредка сорвется со скалы, бесшумно ударяя крыльями, хищник-беркут (горный орел). Над всей грудой гор, словно сторожевые, охраняя беспредельный горный покой, высятся снежные пики.

Здесь в горах, перебираясь с одной долины на другую, ходят целое лето казаки. В горах — с июня по август. В августе откочевывают вниз на осеннее пастбище (кузеу). Часто кузеу совпадает с коктеу. В конце осени вновь уходят на кстау. Многие казаки посточнных зимовок не имеют, кочуют в юртах весь год.

XII.

В большинстве казаки — скотоводы. Зиму проводят в песках, летом идут в горы. К северу от Джунгарского Ала-Тау на расстоянии 20—30 километров, редко подходя ближе, начинаются пески. Уходят тысячами километров на север к Валхашу, к северо-западу в Голодную степь — к Аралу.

Застыли пески волнами и мелкой рябью. Солнце жжет зноем. Нет ничего живого. Сливаясь с цветом песка, мягко ступая, идут верблюды. Мертвая тишина. Ничто не шелохнется. Только внизу роют тонкими узорами ящерицы, ужи, змеи.

Кричат, жалуясь на судьбу, верблюды. Воздух застыл. Валами стоят барханы.

Вот где-то, в стороне, тонкими струйками побежал песок. Зло плюют верблюды, нервно ерзает в седле проводник. Кружит ветер. Идет песок, весь сорвался с гребней барханов и пошел в небо. Золотом в лучах солнца играет, все гуще срывается с места, кутает небо пылью. Торчат кости. Скалит зубы верблюжий череп. Веришь, что никогда отсюда не выйдешь...

Ветер утих, опять покрылась степь барханами. Быстро катится с гор вниз восточная синяя ночь. Тянется сотни километров, сливаясь с яркими звездами, пустынная степь.

Кое-где, у редко здесь встречающейся воды, по арыку пышный зеленый ковер, груздятся деревья. Местами песок разрыт, и здесь же у самого песка в кудуке (колодец) грязная соленая вода. В поймах, между буграми собранного в кучи желто-коричневого песка, в сырости от близких подпочвенных вод — высокие камыши, чий, стелется окутанный песками одинокий кустарник.

В безбрежном море песка редко разбросаны аулы. Здесь живут казаки обособленно, небольшими группами. Небольшие участки сенокосов в распоряжении отдельных аулов. Пользование сенокосами и колодцами основано на наследственном праве «атаконус» («ата» — дед, «конус»— урочище). Хозяйственной общности нет. Община складывается только там, где есть ярык, где производят посевы.

Посевы встречаются редко. Население производит их на поливе, иногда на богаре, далеко от своих зимовок. Сеют исключительно просо и кунак в размерах, достигающих не более 0,50 гектара на хозяйство. Посевы носят исключительно потребительский характер. Система полеводства залежная. Земля отдыхает 5—7 лет. Основное занятие населения — животноводство. Многие роды не имеют ни одного гектара посева. Лошади, овцы и верблюды проводят всю зиму на пастбище. Скот зимою подкармливают редко. Отел, жеребенье приспосабливают к началу весны, чтобы скот за лето окреп — и его на зиму не нужно было бы подкармливать.

Большинство хозяев постоянных зимовок не имеет. Расстояния кочевок большие, на жайляу ходят в горы — 120—150 километров. Среднее хозяйство имеет крупного рогатого скота 5—6 голов, лошадей 15—20 штук, овец 120—150, верблюдов 3—4. Встречаются хозяева, имеющие табуны лошадей в 100—200 штук и отары овец свыше тысячи.

Здесь, в песках, где элементарные хозяйственные условия, сохранилось аксакальство, местами переродившееся в байство, переплетенное с родовыми отношениями.

XIII.

Типично экстенсивно-скотоводческая система хозяйства с сопутствующим ей, почти в чистоте донесенным, родовым бытом расположена также на востоке у монгольско-китайской границы, близь озера Ала-Куля и южнее его, к Джунгарским воротам.

Природа здесь величественней, чем в остальных частях Семиречья. С чувством какого-то особого волнения подъезжаем к озеру. Три месяца провели в песках и горах. Радовались, словно обетованную землю увидели, когда с вершины Джабыки, через ползущее внизу облако, открылась искрившаяся на солнце вода. Было раннее утро. В теплых полушубках, плотно притянутых поясом, мы дрожали от холода. Не верилось, что там, внизу, лето. Озеро вырисовывалось отчетливо; ясно был виден невооруженным глазом пустынный черный берег Ала-Куля. Мы много ходили по горам, но не могли научиться чувствовать расстояние, — казалось, вот-вот, через полчаса — час, будем на берегу озера.

В ущельи хрустнули ветки, лошади вздрогнули, на осыпь спокойно шла семья диких кабанов. Вверх, рискуя скрутить шею, с ружьями, мы погнались за ними. Разгоряченные погоней лошади с исключительной ловкостью взбирались по крутым отлогим склонам. Свиньи бросились вниз. Через минут 20—25, с вершины горы, мы видели, как внизу по до-

лине, по тропинке, ими же выбитой, шли спокойно, чувствуя себе уже в безопасности, свиньи в камыши — к озеру. Думалось, скоро будем и мы внизу. Так много раз, в течение двух дней, то надолго, когда шли ущельем, озеро от нас скрывалось, то, когда пробирались хребтом, переливало оно совсем близко внизу разными цветами. Только на второй день вечером мы купались в Ала-Куле. Так обманчиво расстояние в горах.

Дно и берег пустынного озера (по-казакски Ала-Куль значит «пестрое озеро»), черные. Песок, камни, — словно уголь. Вода в озере соленая, концентрация невысокая, скот воду пьет. Озеро около 70 километров в длину; посреди озера пустынный, высокий скалистый остров. Утки, дикие голуби, огромные бабы вьются стаями. Тихие волны перебирают черные камни. Чешуей золота скользит по воде солнце. Синим бархатом смотрятся в воду горы, тучами красит небо голубое озеро.

На географических картах рядом с зером Ала-Кулем значится озеро Кши Ала-Куль, отделенное от Ала-Куля перешейком. Перешейка сейчас нет, эти два озера составляют одно. Дальше болотам, камышами Ала-Куль соединяется с озером Джеланаш. Вдоль озера идет долина. Долина на севере достигает 40 километров, к югу делается все более и более узкой. У селения Коктума ширина ее 5—10 километров. Горы Арчарлы Джабык; с востока, по ту сторону Ала-Куля, Берликский хребет, с севера и с северо-востока хребет Тарбогатай защищают долину от ветров. Только с юго-востока от озера Эби-Нор, расположенного в пределах Китая, через Джунгарские ворота обдает долину зноем. Юго-восточный ветер — в честь озера, откуда дует, — носит здесь название «Эбен». Сила ветра иногда исключительна. Казаки говорят, что осенью ветром переворачивает подводы. Равнина к югу сужается, делается все более безлюдной и далее от Коктумы до Тахтов, на расстоянии 85 километров, совершенно не заселена, — нет ни одного двора. Встречавшийся раньше щебневатый почвенный покров занимает все большее пространство, оттесняя покрытую растительностью территорию к самому озеру. Вдоль озера узкая полоса бурной растительности: камыши, чий, перей и т. д. Теснясь к озеру, идет дорога в Тахты и Чулак, по которой весной и осенью кочуют казаки, задерживаясь на несколько дней у озера для использования пастбищ. Здесь комары вьются тучами. Ездить сюда не за чем, редко кто пробирается по пустынной дороге. Через Барлыкские горы с Синьизяна приходят басмачи-калмыки в Джунгарские ворота, ждут неделями проезжих, грабят... Мы знали, что три дня тому назад убили у реки Аргайты двух красноармейцев, — они ехали на пограничный пост. Мы видели грустные глаза лошади, потерявшей своего хозяина. Торопились переправиться через Аргайты засветло. У гор река прыгает с камня на камень, с силой бьет по ногам лошади. Мы долго искали, где можно переправиться. В сумерках, спотыкаясь о камни, вздрагивая в пене воды, вынесли лошади нас, промокших, на другой берег.

Лошади выбились из сил, нужно было ночевать.

Огня не разводили, в кустах у спутанных лошадей прятались от басмачей.

Звезды — чистые, близкие — смотрели в землю. В лунном свете, бросая длинные черные тени, стояли с двух сторон идущего на восток коридора горы. Хотелось без конца смотреть в синюю ночь, в застывшие сумрачные изломы, в тишину черных громад. Но злились комары, что тысячами километров пришли сюда люди. Уткнувшись в землю, обмотанные марлей, под пледом, воевали всю ночь с комарами, слушали, как растет лицо большим твердым комом, ждали самого большого и радостного — рассвета.

От прилегающей к озеру дороги к горам от Коктумы через реку Аргайты, Тахту, Джунгарскими воротами в Китай тянется между двумя цепями гор голая щебневатая долина. Дикие козы группами бегают с гор к воде, выпасаются на скудных пастбищах.

Чуткие, насторожившись, стоят, слушая шорохи, быстро срываются с места, задравши кверху свой маленький хвостик, когда вот-вот можно выстрелить.

Несколько дней они нас дразнили, кокетничая вдалеке на серых камнях белыми и рыжими пятнами.

С гладкоствольным ружьем на них охотиться очень трудно. Нужно с нарезной винтовкой залечь в камышах у воды, выбрав предварительно по следам место, куда они ходят на водопой.

Дорога в Китай мечена. Весь проход на сотню километров усыпан костями.

Бежал Джунгарскими воротами в Китай Анненков, гнал с собой тысячи голов скота, отобранного в Семиречьи. Выпасов здесь нет, вода далека, — бежали быстро, падали сотнями коровы, верблюды, лошади. Лежат кости на сотни километров.

XIV.

В долине тепло, вегетационный период более длителен, чем в ближайшем, отстоящем на недалеком расстоянии районе. В селении Глиновке, удаленном от Ала-Куля на 35 километров, бахча не вызревает. Здесь же, в долине, возделывают все хлебные культуры, бахчевые растения, возможно разведение фруктовых садов, вызревают хлопок, персики, можно разводить виноград и т. д. Несмотря на то, что здесь очень благоприятные условия для занятия земледелием, живущие здесь казаки занимаются им в очень небольших размерах, только в меру удовлетворения потребительских запросов. Сеют кунак, просо, в незначительном количестве овес. Как исключение, можно изредка встретить на пашне, принадлежащей казаку, подсолнух, люцерну, ячмень. Возле самого Ала-Куля, в двух селах около 70 русских хозяйств. Эти хозяйства возделывают, кроме основных хлебных растений, подсолнух, кукурузу и бахчевые растения; некоторые закладывают сады и пробуют возделывать хлопок. Крайне неустойчивая связь русского населения с землей (все они самовольно поселившиеся), споры из-за земли с казаками и оторванность от населенных пунктов и рынков мешают присутствию в этом районе, исключительно благоприятном по климатическим условиям, более интенсивной системы хозяйства.

— Долина, — и чем ближе к Ала-Кулю, тем пышнее, — покрыта прекрасными пастбищами. Живущие здесь казаки очень подвижны. Отдельные подроды — они же земельные объединения — имеют зимовки в двух местах: в долине и в горах. Часть хозяйств зимой идет в горы, угоняя на тебеневку весь более сильный скот. Внизу, где зимовки стоят на сенокосах, остается слабый скот и молодняк. Зимовки не постоянны, кишалы каждый год ставят в другом месте. Зачастую круглый год проводят в юртах и в кочевьи.

Посевы производят не все хозяйства. Те, кто сеет, пашню поливную имеют на территории коктеу, служащей в то же время и кузеу, или где-нибудь вне сезонных пастбищ, возле водных источников: ключей и арыков. Больше, чем во всех предыдущих районах, здесь развито крупнорогатое скотоводство мясного направления.

Среднее хозяйство в этом районе имеет от 0,5 до 0,75 гектаров поливного посева. Это почти исключительно просо и кунак, изредка пшеница и рожь. Крупного рогатого скота среднее хозяйство имеет от 10 до 15 голов, овец 25—50, лошадей 2—3.

XV.

Джунгарское Алатау на всем своем протяжении служит жайляу для казаков, живущих на равнине. Однако есть скотоводы, остающиеся круглый год в горах. Одинокие, на ветру в буране, прилепившись гнездом к горе, стоят кишалы. В густом тумане, по карнизу нависшей над ущельем скалы, идет к кишале узкая тропинка. Весной и летом с юртами ходят по горам. Живущие здесь посев имеют в самом незначительном количестве, сеют ячмень, овес на багаре — местами на поливе; занимаются овцеводством, на хозяйство в среднем держат 60—100 голов. Район этот имеет большое будущее: здесь наряду с прекрасными выпасами в межгорных долинах созревают хлеба и огородные растения. Только добраться сюда трудно.

Живут оторванно от всего мира. На Чулаке у Джунгарских ворот кочуют круглый год в горах казаки. Земли сколько угодно, выпасы прекрасны. Земля забрасывается под залеж на 7—10 лет, границ ни индивидуального, ни группового землепользования нет, каждый сеет где хочет и сколько хочет. Скот всю зиму на пастбище. Солому, мякину не собирают. Сена не косят. Хозяйство почти натуральное. Денежная единица — овца.

Обиход примитивный. Спичек нет, огонь поддерживают круглые сутки; если потухнет, переносят в руках жар из одной юрты в другую. За промышленными товарами ездят верхом через горы за 175 километров в Андреевку.

Всем хозяйственным укладом распоряжаются аксакалы (старшие в роде) и караксакалы (следующее колено). Аксакалы массивные, жирные.

XVI.

Кочевники держат курдючных овец, дойных кобыл, несколько штук крупного рогатого скота. Коровы с очень низким удоем. В некоторых районах занимаются коневодством, местами — главным образом на крайнем востоке — выращивают крупный рогатый скот.

Площадь посева очень не велика. Сеют, главным образом, просо. Посевы производят или на призимовочной территории или на территории коктеу-кузеу. В последнем случае — весной, когда идут в горы, производят сев, осенью, когда кочуют с жайляу, — жнут просо, пшеницу. Здесь же обмолачивают, солому не собирают; зерно укладывают в капы (мешки), вьючат на быков или верблюдов и уходят на зимовку.

Иногда пашня лежит вне сезонных территорий. Наиболее распространенный тип кочевого хозяйства — три сезонных территории: кстау (зимовки), коктеу (весеннее пастбище) — эта же территория служит кузеу (осеннее пастбище) и жайляу (летнее пастбище). Одна территория от других отстоит на 30—50 и более километров.

Растущая роль земледелия, ввязывание еще до революции казаков в рыночные отношения подтачивают устои родового скотоводческого хозяйства, — аул постепенно разлагается: расстояние кочевок сокращается, часть хозяйств оседает, родовые связи разрушаются. Нередко теперь встретить хозяйственную общность, основанную не на родовых отношениях.

Большое влияние на более быстрое разложение казакских общин, на сокращение кочевок оказали русские поселки. В довоенные годы многие казаки батрачили у русских, приучались к земледелию. Русские пашни врезались в казакские степи, стеснили казаков, перерезали их кочевые дороги, сократили пастбища. Казаки вынуждены были сокращать расстояние кочевок, должны были сокращать скотское поголовье, производить посевы.

Проникновение товарно-денежных отношений вызвало обогащение одних и обеднение других. Бедные, лишенные вьючных животных, кочевать не могут. Круглый год остаются на призимовочной территории, там производят посевы. Летом выставляют юрты в пределах этой территории. Такие хозяева называются жатаки.

Далее, часть хозяйств оседает на территории коктеу, перестают ходить на жайляу, теряют связь с своим родом, обособливаются в самостоятельную хозяйственную единицу. Есть хозяйства, осевшие в горах.

Во время гражданской войны казаки целыми родами уходили в Китай. После установления советской власти многие возвратились. Во время их отсутствия земли были заняты другими родами, — вернувшиеся пришли на свои места, где теперь ходят другие. Начали хозяйничать вместе — перемешались.

Разрушению родовых отношений способствует растущая роль земледелия. Земледелием можно заниматься в большинстве районов только на воде. Вода, пользование общим водным источником, сооружение арыка создают хозяйственную общность между разными родами.

Много способствует разрушению родовых отношений также проводимое в настоящее время землеустройство.

Переход от одних форм хозяйствования к другим происходит медленно. Трудно в далекое бездорожье ворваться новой жизни. Трудно покорить восточную суровую природу.

XVII.

В некоторых районах казаки начали оседать.

В равнине по тракту, где переваливали на Семипалатинск грузы, где развиты торговые отношения, где крупные русские поселки, где казакское население живет в центре местной народно-хозяйственной жизни, где высокая плотность населения, исчисленная по отношению к пахотоспособной площади, земледелие у казаков развито больше, чем в других местах.

Земледелие поливное. На полях возделывается пшеница, иногда 50—60% всех посевов. Средняя обеспеченность землей на одно хозяйство — 1—2 гектара посева. После преобладающей культуры пшеницы идет просо, далее овес, люцерна. Крупное рогатое скотоводство, главным образом потребительского значения: одна — две коровы, пара рабочих быков, одна — две верховых лошади, одна — две дойных кобылы и овцеводство в размере от 50 до 60 голов. Посев находится в пределах призимовочной территории. Коктеу, кузеу нет, скот или до выхода на жайляу держится на сухих кормах или выпасается в пределах призимовочной территории. Жайляу в горах, расстояние кочевок небольшое. На жайляу уходит, в среднем, не более 35% всех живущих здесь казаков, остальные не кочуют — жатаки.

Ближе к русским поселкам число оседлых казакских хозяйств возрастает. Земледелие преобладает. В оседлых казакских поселках, где кочевых хозяйств нет, организация хозяйства у казаков почти совпадает

с таковой же организацией у русских, только хозяйство ведется в меньших размерах. Живут здесь казаки неуютно. Растительности в поселке нет, дома низкие, дымные, люди запущенные, грязные. Кое-где есть новые оседлые поселки, возникшие недавно при проведении землеустройства. Возле Сарканда к северо-востоку от Лепсинска в долинах гор Джун-Джурюк, Сары-Дунгал, Кар-Каралы, тесно примыкая на северо-востоке к пескам Сары-кум, живут казаки. Это наиболее плотно заселенный район из всех исследованных нами казакских аулов в пределах юго-востока Джитысу. Казаки живут поселками русского типа. Дома светлые, чистые. В последние годы, после 1922 г., здесь проведено землеустройство (указаны границы отдельных поселков).

Район связан с местными крупными торговыми центрами: Лепсинск, Андреевка, Антоновка, Черкасское, — окружен русскими поселками. Число кочевников среди местного казакского населения очень небольшое. Нередки случаи, когда скот почти всего поселка, с несколькими (2—3) хозяйствами, летом идет в горы, все же хозяева не кочуют.

Преобладает земледелие. Возделывают пшеницу просо, овес, рожь, подсолнух, в небольшом количестве огородные растения и картофель. Встречаются сельскохозяйственные орудия: железные плуги, сенокосилки, конные грабли. Типичные хозяйства имеют 3—4 гектара посева, 1 корову, 2 лошади или пару рабочих волов, 15 или 20 овец.

Здесь с новыми условиями быта казаки еще не сроднились. Им трудно перейти к оседлому образу жизни, трудно сломать перенятые от отцов привычки. Многие бросили полученные во время землеустройства дома, забросили посевы и вновь ушли в кочевье. Те, кто остались, сочетают пока еще новую обстановку с казакским бытом. Живут во вновь выстроенных домах без стекол. Внутри дом обставляют как юрту или кишалу, сидят на полу у низкого киргизского стола. Можно встретить в домах стулья, но на них сидят в силу привычки, выработанной с детства, поджавши ноги. Прошло всего несколько лет с тех пор, как бросили юрты и кочевье, — однако новый быт наложил резкий отпечаток. Здесь чище, опрятней, чем в кишалах и юртах, люди стали осмысленней. Господства баев и аксакалов почти не чувствуется.

XVIII.

В огромном пространстве формы сельскохозяйственного уклада и быта казакского населения не однородны. Но здесь, — вдали от напряженной народнохозяйственной жизни, где сельскохозяйственное производство с обрабатывающей промышленностью не связано, где местный рынок почти отсутствует, железные же дороги отстоят далеко, где население почти никакими средствами производства не располагает и стремится использовать природные условия по возможности без всяких вложений, — формы хозяйствования и характер хозяйственной деятельности определяются в первую очередь естественно-историческими условиями.

В тех районах, где повышается плотность населения, где образовался внутренний рынок, формы хозяйствования делаются более интенсивными.

Наиболее совершенные формы разместились по великому Туркестано-сибирскому пути. И только в песках, где для борьбы с природой нужны большие средства, влияние это не чувствуется. Чем дальше от тракта к северу, чем выше в горы к югу, тем экстенсивнее система хозяйства. Чем дальше к востоку, тем первобытнее хозяйственные формы.

Параллельно изменчивости форм сельскохозяйственного производства меняется социальный уклад аула. Чем экстенсивнее и первобытнее

хозяйство, тем теснее родовые отношения, тем резче выступает институт байства, аксакальства, многоженство и т. д.

Экономический и социальный быт на низших ступенях развития консервативен. Казаки (киргизы) долгие столетия остаются кочевниками. Многие сотни лет сохраняется у казаков патриархальный родовой строй с зачатками феодализма. Во II веке до начала новой эры, т. е. более 2 000 лет тому назад, семиреченские роды жили в тиких же юртах, так же кочевали с кстау на жайляу и обратно как теперь. Но всматриваясь внимательно в эту жизнь, видно что весь процесс переживаний казакского аула сводится к разложению родового хозяйственного строя, к отмиранию форм кочевого хозяйства. Могучая суровая природа, хозяйственная изолированность мешают более быстрому изменению во всем хозяйственном строе. Долгие дореволюционные годы брала царская Россия от казаков все, не давая взамен ничего. Взбудоражен сейчас весь социально-экономический быт. В далеких казакских аулах создаются кооперативы. Широко задуманные советской властью мелиорации расширяют территорию, годную под земледелие. Строящаяся Туркестано-сибирская железная дорога свяжет южную часть Казакстана с далекими рынками, внесет, без сомнения, коренные изменения во всю хозяйственную жизнь.

Быстро рухнуть существующие средневековые формы не могут. В огромном пространстве разбросаны аулы. В кочевьи никакая культура невозможна. По данным 1926 г. в отдельных аулах грамотных от 1 до 5%. В Казакстане до этого года не было ни одного высшего учебного заведения.

Видны ростки нового уклада. Строятся новые поселки с новыми формами быта. Строятся школы. Борется советская власть с байством. Освобождается население от эксплоатации, запрещены калым, многоженство...

В стране, где все пропитано солнцем, должна пышно разрастись новая жизнь.

XIX.

С смутным чувством, излишне деловито, возвращаемся домой.

Летом голодные, злые, издерганные в бесконечном скитании, считали дни, мечтали о теплых кроватях, обеде, доме. Хотелось грохота большого города, хотелось увидеть книгу. Изучали карту с востока на запад, подсчитывали километры.

«Шайтан-арба» — дьявольская повозка, — так казаки называют железную дорогу, — мчит в Европу.

Прячутся в далеком сером небе горы. Опять Сыр-Дарья, опять голубой безлюдный Арал, опять бесконечные пески Голодной степи. Уходят километры. Уже желто-серый песок. Все ближе Европа.

Радостно, что есть газета. Грустно смотреть, как в вихре песочной пыли качаются на неуклюжих верблюдах казаки. Все реже мелькают юрты. Жутко вспомнить неуютное житье кочевника.

Опять Волга. Слышно биение иной жизни: нервной, напряженной. Видны фабричные трубы, слышен звон железа и стали.

Приятно чувствовать, что ты сам в какой-то маленькой доле участвуешь в этой большой, бьющей до краев, огромной жизни, но бесконечно жалко расставаться с синим небом, с сумрачным могучим Тян-Шанем, с бархатным покоем равнинной степи, — жаль, что, может быть, никогда больше не увидишь сказочной красоты далекого Востока.

О мутной воде.

Валерьян Полянский.

I.

Народная мудрость гласит: «Ум хорошо, два лучше». Однако не всегда так бывает. Какой ум!

Читал я в Коммунистической академии доклад «К вопросу о построении истории пролетарской литературы». Проблема сложная, споры неизбежны. Возражал мне, между прочим, и т. Зонин, возражал он скверно, хотя и самоуверенно.

Часть доклада я потом опубликовал в «Красной нови» (март, 1929) под заглавием: «Кто же является пролетарским писателем?». Тут на меня и обрушился т. Зонин на страницах «Революции и культуры». Не полагаясь на свои собственные силы, он привлек на помощь т. Гельфанда, журналиста молодого, но уже известного по своей горькой полемике с т. Гроссманом-Рощиным. Читатели краснели, а он был горд, собой доволен, когда его секли. (см. «На литературном посту» № 7).

Обрушились... Кричат до хрипа... Листая их бедное поученье, вспомнил я слова поэта:

Да, мой критик — троглодит,
Затевая ссору,
Словно камчадал бурлит,
Съевший мухомору.

Кроме беспросветного хаоса ничего у них не получилось. Хуже. Они даже не поняли толком прочитанного. Поистине ума лишились.

Ничего в сыром тумане
Зоркий глаз не различит;
Лишь порою вихрь скандала
Разгоняет серый мрак...

Петушатся они, наскакивают. Сосут палец и грозят другим. Но ведь это забавно, весело, если только это не врожденный и не злостный порок. В своей статье мы уже были снисходительны к т. Зонину, скрыли от читателя его «ученые» анализы, — сохраним добродушие и на будущее время.

II.

Мои уважаемые критики, — может быть, от резвости ума, может быть, от каких-либо других качеств, не знаю, — никак не смогли осилить логики моей статьи. Своим пером они с размаху записали: «Тов. Полянский умудрился нагромоздить груду друг друга исключающих

положений, неожиданных, вполне свободных от всяких логических «условностей», «умозаключений».

Разберемся в этом. Спокойно и по порядку. Без шума, без страшных фраз.

Из моей статьи цитируются два места: 1) «В недалеком будущем, несомненно, произойдет перегруппировка в писательских рядах, идеологическая переоценка их творчества». 2) «Сейчас наша художественная литература без различия направлений, пролетарская и «попутническая», захлестывается широкой волной мещанства».

Что делают из этих цитат молодые ревнители логики? Как? В «недалеком будущем»? «Произойдет»? А «сейчас разве эта перегруппировка не происходит?» — кричат они наперебой. То в «недалеком будущем», то «сейчас». Когда же? Забрасывают вопросами обильно и одно с другим мешают. Зачем в бессильном гневе спрашивать: «Сейчас у нас состояние мертвого покоя, что ли?» Этого никто не утверждает и не утверждал. Перегруппировка идет, но она еще не совершилась, я же указывал, что в «недалеком будущем» она уже закончится, примет определенные общественные формы. Я писал о времени завершения процесса, а не о его классовой сущности. Это другая сторона вопроса. Сознаю свою вину, не то употребил я слово, время, вид и наклонение. Наивно полагал, что мой читатель различает процесс в целом и его стадии, завершенное состояние от явления незавершенного. Упущение мое очевидно. Свое наказанье несу смиренно, принимаю удар за ударом.

Моих ретивых оппонентов особенно поразило то место, где я говорю: «неизбежны неожиданности», отдельные «писатели, которые приемлют Октябрьскую революцию, славословят индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, могут оказаться в тине мещанства». Ухватившись за слова: «неизбежны», «могут», — они с натугой мудрствуют: раз неизбежны, почему могут; раз могут, значит и не могут. Следовательно: «неизбежно могут». Утверждают, что это диалектическая логика, к изучению которой мои критики уже приступают. Какая тут диалектика, — тут типичная бурсацкая схоластика какого-нибудь го голевского Хомы. Была ясная мысль: неизбежны неожиданности, так как отдельные писатели могут оказаться в тине мещанства. Сочетание слов «неизбежны», «могут» спутало «чистый разум» моих оппонентов. Для них я обязан был сказать: «неизбежны», «будут», — тогда им было бы все ясно.

Слабость и беспомощность в логике молодые люди заменяют ловкостью в другом. С первых строк своей статьи они занимаются жонглерством мысли. Правда, неумело, фокус сразу виден, но все же занимаются охотно.

В своей статье мои строгие критики делят пролетарских писателей на три группы: одни стоят «на уровне коммунистического авангарда», другие отражают «бытие рабочего-середняка», третьи — идеологи «недостаточно устойчивых масс, перевоспитание которых составляет особо трудную и длительную задачу». Писателя они рассматривают в процессе его приближения к «коммунистическому авангарду». Степень этого приближения определяет характер творчества писателя: пролетарский или непролетарский. Отсюда и дальнейший вывод: «Писатель с троцкистской или меньшевистской идеологией — непролетарский писатель, хотя бы его пролетарское генеалогическое древо восходило к семьдесят седьмому поколению, хотя бы у него в кармане еще был партийный билет».

В Коммунистической академии, исходя из этих же теоретических предпосылок, т. Зонин утверждал совершенно противоположное. Он

утверждал, что писателя, выражающего правое настроение, следует считать пролетарским писателем, хотя и не коммунистическим. На мой настойчивый вопрос: «Значит троцкистских писателей вы будете считать пролетарскими писателями?» — он без всяких колебаний и сомнений ответил: «Писатели, выражающие троцкистские настроения, конечно, являются пролетарскими писателями» (стенограмма, стр. 25—26). Это совсем не то, что в статье. Мы спрашиваем: где тут логика? Предпосылки одни, а выводы различны. Может быть, тут диалектика? Скверная «логика», скверная «диалектика»; в первом случае совершенно антипартийная. Наговорил глупостей и в кусты, пытаясь из-за кустов укусить других. Где достоинство, где мужество держать ответ? Или т. Зонин хочет

В нашем деле
Зайцем быть с судьями,
С толку их сбивая
Ложными следами.

Скверная тактика! Опасная!...

И этот человек защищает чистоту марксизма, обвиняя меня в сектантстве, в «ультралевом загибе», обучая азбуке предмета!

Неопрятны мои оппоненты и в цитировании. Процитировали: «В наше время, после Октябрьской революции, пролетарский писатель должен выражать коммунистические настроения и идеалы рабочего класса». Оборвали цитату, схоластически зацепились за слово «должен», и заскрипели их перья о «должном» и «сущем», о процессе приближения. Но ведь ниже, ровно через три строчки, у меня сказано: «Естественно, рабочий класс хочет, чтобы его писатель выражал максимально его передовые устремления, — в наше время коммунистические, — но он, понятно, не выбросит из своих рядов и тех писателей, которые не имеют этой максимальности, раз нет психологического разрыва в основной линии». В конце статьи эта мысль еще раз подчеркнута словами: «Пролетарский писатель выявляет классовую позицию в связи с развитием и ростом самого класса. Вместе с классом он проходит все стадии развития и отражает все основные исторически неизбежные черты класса». Как же можно с невинным видом писать, что «я хочу ограничить круг пролетписателей только теми, кто уже достиг коммунистического уровня».

Не мои ли противники, защитники процесса приближения, зачислили Ляшко и Гладкова в ряды писателей, выражающих настроение рабочих-середняков? Не я ли, несмотря на ряд отдельных несогласий с ними, всегда писал о них как о передовых пролетарских писателях? Не скрывается ли в их отношении к этим писателям худо прикрытая литературная фракционность, то узкое сектантство, которое они, на виду у всех, пытаются подбросить мне?

III.

По вопросу о писательских группировках я написал: «Если в основу классификации положить классовый принцип, то, естественно, будут только две основных группы: писатели пролетарские и писатели буржуазные». Оппоненты тотчас же: « А вы знаете, что на съезде транспортных рабочих 27 марта 1921 г. т. Ленин сказал, что «русская деревня за это время выровнялась..., Наша деревня стала за это время более мелкобуржуазной. Это самостоятельный класс». Указав том и страницу сочинений (т. XVIII,

ч. I, стр. 178), они, с видом победителей, с усмешкой, спрашивают: «Что скажет по этому поводу т. Полянский?» Слушайте, скажу.

В «Коммунистическом манифесте» написано: «Выросшее на развалинах феодализма современное буржуазное общество не уничтожило различия классов. Оно только поставило новые классы на место старых, выработало новые способы угнетения и новые виды борьбы. Наша эпоха — эпоха буржуазии — отличается, однако, тем, что она упростила классовые противоречия. Общество все более и более разделяется на два больших враждебных лагеря, на два больших, стоящих друг против друга класса: буржуазию и пролетариат» (5-е изд. Инст. Маркса и Энгельса, стр. 59, разрядка наша. *В. П.*).

К. Маркс в определении класса исходил из процесса производства. Характеризуя капиталистическое общество, он писал: «Капиталистический процесс производства, рассматриваемый в общей связи или как процесс воспроизводства, производит не только товары, не только прибавочную стоимость, — он производит и воспроизводит само капиталистическое отношение: капиталиста, с одной стороны, наемного рабочего — с другой» («Капитал», т. I, стр. 454, Гиз, изд. 3-е, разрядка наша. *В.П.*).

И еще определеннее К. Маркс писал: «Капиталист и наемный рабочий суть единственные функционеры и факторы производства, взаимоотношения которых вытекают из сущности капиталистического производства... Это коренящееся в сущности капиталистического способа производства — в отличие от феодального, античного и пр. — сведение непосредственно участвующих в производстве классов... к капиталистам и наемным рабочим, и исключение отсюда землевладельцев, приходящих лишь post festum, благодаря определенным отношениям собственности, не выросшим на почве капиталистического способа производства, а перенесенным к нему от феодального общества» (K. Marx, Theorien über den Mehwert. Stuttgart, 1905, B. II, T. I, S. 292—294, разрядка наша. *В. П.*).

Итак, К. Маркс признавал в капиталистическом обществе только два основных класса: буржуазию и пролетариат.

Теорию Адама Смита о трех классах, основанную на принципе распределения дохода, К. Маркс отвергал. Он указывал, что «земельные собственники являются лишь безгласными компаньонами капиталистов» («Гражданская война во Франции», Гиз, 1919, стр. 52). Рассматривать землевладельцев и буржуазию как два самостоятельных класса капиталистического общества значит в определении класса исходить не из принципа производства, а из принципа различия дохода: ренты и прибыли. Такие тенденции были у К. Каутского. Понятие класса есть абстракция, как и всякая другая экономическая категория. К. Маркс, как политический деятель, прекрасно понимал, что внутри класса есть свои фракции, которые нередко ведут между собою борьбу. В «Борьбе классов во Франции» К. Маркс так и пишет: «Класс буржуазии распался на две большие фракции, которые попеременно захватывали монополию господства: крупное землевладение — при реставрированной монархии — и финансовая аристократия и промышленная буржуазия — при июльской монархии». (Изд. «Красная новь», 1923, стр. 77). В другом месте той же работы, говоря о политических результатах всеобщего и прямого избирательного права, на основе которого открылось 4 мая Национальн... ...брание, он снова подчеркивает: всеобщее избирательное право «одн... взмахом бросало все фракции эксплоатирующего класса на вершину государ-

ственной власти и таким образом срывало с них обманчивую личину, тогда как монархия со своим цензом заставляла компрометировать себя только определенные фракции буржуазии, а другие оставляла за кулисами и окружала их ореолом общей оппозиции» (там же, стр. 41). Все это, однако, ни в какой мере не помешало К. Марксу классовую борьбу во Франции свести к борьбе лишь двух классов. «Это была великая битва между обоими классами, на которые распадается современное общество», писал Маркс об июньском восстании.

Тов. Ленин также признавал в капитализме только два основных класса. Что же касается крестьянства, то он задолго до съезда транспортных рабочих, еще в 1902 г. в полном согласии с Марксом, писал: «П о с к о л ь к у сохраняются еще крепостные отношения, постольку крестьянство продолжает еще быть классом, т. е., повторяем, классом не буржуазного, а крепостного общества» («Аграрная программа русской социал-демократии», Собр. соч., т. IX, стр. 289—290, изд. 1-е).

В связи с столыпинской земельной реформой в статье против меньшевика Ф. Дана т. Ленин указывал: «В крестьянстве нашем уже давно созданы капиталистическим развитием враждебные классы крестьянской буржуазии и крестьянского пролетариата» (Собр. соч., т. XI, ч. I, стр. 63, изд. 1-е). Приведенные места убедительно свидетельствуют, что вопрос о классовой самостоятельности крестьянства не так уже прост, как это представляется моим быстрым оппонентам. Они оборвали цитату на словах: «Это самостоятельный класс». После этих слов стоит запятая, а дальше у т. Ленина сказано: «тот класс, который после уничтожения, изгнания помещиков и капиталистов остается единственным классом, способным противостоять пролетариату» (Собр. соч.. т. XVIII, ч. I, стр. 179, изд. 1-е). Эти же мысли т. Ленин повторил и на III Всемирном конгрессе Коммунистического Интернационала 5 июля 1921 г. Он говорил: «С международной точки зрения представляет громадный интерес, что мы стремимся определить отношение пролетариата, держащего государственную власть в своих руках, к последнему капиталистическому классу, к глубочайшей основе капитализма, к мелкой собственности, к мелкому производителю» (Собр. соч., т. XVIII, ч. I, стр. 325—326, изд. 1-е).

Следовательно, взгляды т. Ленина по вопросу о классовой принадлежности крестьянства сводились к следующему: в капиталистическом обществе два класса: буржуазия и пролетариат. Крестьянство класс не буржуазного, а крепостного общества. В капиталистическом обществе оно продолжает быть классом, поскольку еще сохраняются элементы крепостных отношений. Крестьянство уже разбито капитализмом на два класса: крестьянскую буржуазию и крестьянский пролетариат.

Это звучит совсем не так, как если бы взять изолированно фразу: «это самостоятельный класс». При внимательном, серьезном отношении к делу оказывается, что в капиталистической России этот «самостоятельный класс» давно уже разбит на два враждебных класса. В советской же действительности крестьянство, естественно, — последний единственный остаток от капитализма, который еще в силах противопоставить свои интересы интересам пролетариата.

Оппоненты, бросьте свой джазбанд! Перестаньте бредить об «обречении социалистической революции на крушение»! Попадете вы в трагическое положение. Когда придет действительный враг, а вы закричите о действительной опасности, вам уже не поверят, как в известной басне о пастухе и волке.

Мои критики, обещавшиеся в вопросе о крестьянстве быть серьезми, пишут, что т. Полянский «сам себя хочет убедить в том, что все

крестьянство есть буржуазия, а не — в основной своей массе — класс мелких товаропроизводителей». Очевидно, в этом предполагается центр разногласий. Но опять-таки тут могут быть недоразумения, наскок. Как т. Ленин характеризовал мелких товаропроизводителей? — Как «глубочайшую основу капитализма». Это, однако, не мешает понимать мне, что буржуазия буржуазии рознь. Я ведь не считаю буржуазию единой, неделимой. Все знают также, что в крестьянстве есть кулаки, середняки, бедняки и пролетариат. Разногласия у меня с ними в другом. Мои присерьезившиеся критики мелких товаропроизводителей выделяют из буржуазии.

Я же, в полном согласии с т. Лениным, оставляю их в одной категории, как глубочайшей основе капитализма, и знаю хорошо, что политические позиции крестьянства, мелкого землевладения, не те, что позиции помещиков, крупного землевладен я. Мне нужно было дать анализ буржуазии, тогда мы, наверное, не столкнулись бы на этом месте. Но я полагал, что мы, марксисты, хорошо знаем состав буржуазии и экономо-политические устремления составляющих ее «фракций», групп. Я разумею не только крупную, среднюю и мелкую буржуазию, но дифференцирую и каждую эту группировку. Крестьянство и интеллигенцию в целом я отношу к мелкой буржуазии, но я хорошо знаю и их различия.

Подчеркивая мелкобуржуазную сущность крестьянства, я ни в какой мере не отказываюсь от политики овладения им в нашем социалистическом строительстве, от политики прочного союза с ним. Пустяки выдумывают мои противники.

Противникам моим надо вдумываться, что к чему; им не следует в излишнем усердии и суетливости путать разные проблемы. Я ведь не рассуждаю так: крестьянство мелкобуржуазно, дави его. Это пытаются приписать мне мои противники. Я ставлю политически проблему так: крестьянство в массе мелкобуржуазно, процесс овладения им труден, сложен, но овладеть крестьянством необходимо. Это историческая задача, основная задача нашей революции.

К чему ломиться в открытую дверь? Бедные искатели приключений! Собрались открывать Америку, а засели под Рязанью и пускают пузыри.

После этих справок обратимся к вопросу о крестьянских писателях. Как ни смотри на крестьянство, оно, за исключением сельского пролетариата, по своей природе мелкобуржуазно. Писатели, выражающие классовую сущность крестьянства, неизбежно попадают в класс буржуазии. Но когда они переходят на пролетарские позиции, они уже перестают быть крестьянскими писателями, они становятся писателями пролетарскими или попутчиками из крестьянства в зависимости от степени приближения к пролетариату.

IV.

Логика моих противников изумительна. Еще изумительнее их способность не понимать противника, вернее, искажать его в своих полемических интересах. Оказывается, я политически не различаю Маяковского от Замятина, Сельвинского от Сергеева-Ценского. Нельзя же такие пули отливать. Не стреляют они. Дерет противник мой, дерет, хоть уши затыкай! Сначала он, не краснея, приписал мне, что пролетарским писателем я считаю только стопроцентного коммуниста, хотя у меня ясно написано, что пролетариат не выбросит из своих рядов и тех, которые не

удовлетворяют этой максимальности. В суждениях о попутчиках он утверждает, что я «ссылаю» их всех огулом в буржуазную группу. Но ведь о буржуазности попутчиков всегда и все говорили, этого не опровергли и мои озорные критики, — надо полагать, и не сумеют опровергнуть, если не откажутся от марксизма. Сами же оппоненты пишут: «Разве т. Полянскому не известно, что литературный попутчик это и есть мелкобуржуазный и интеллигентский?» Известно, хорошо известно. Тут у нас нет расхождений. Не пойму я другого. По какой такой особой «диалектической логике», на которую мои противники так ссылаются, выходит, что констатирование факта буржуазной, мелкобуржуазной, классовой сущности попутчиков есть «ссылка»? И разве констатирование их природы есть отказ от овладения попутчиком? Разве где-нибудь, когда-нибудь я писал, говорил, что буржуазия, даже и мелкая, однородна? Разве мы все не знаем с малых лет, что основная черта мелкой буржуазии — ее неустойчивость? Эта группа колеблется между пролетариатом и буржуазией, то приближаясь, то удаляясь от первого. Мы не ставим на одну линию Б. Пильняка и В. Маяковского, не мешаем мы и «Павлина» с «Завистью». Давно уже все различают попутчиков не только от новобуржуазных писателей, но и различают их между собою, как правых и левых. Простая логика обязывает понимать, что констатирование не есть отказ. Опять смешали две проблемы. Очевидно, в этом пункте у моих противников органический порок. При размахе мысли это ужасный порок.

Стоит только шире
Развести мозгами,
Все поставить можно
В мире вверх ногами.

V.

Мои любезные критики услужливо предложили мне почитать некоторые пункты из резолюции «О политике партии в области художественной литературы», принятой в 1925 г. Благодарю. Я охотно и внимательно перечел их несколько раз, но я не нашел ни одного пункта, с которым разошелся бы в статье, или вообще не был бы согласен.

Что говорится в рекомендованных прочесть мне пунктах?

Во 2-м пункте подчеркивается рост пролетарской и крестьянской литературы. Но я ведь не отрицаю наличия крестьянской литературы, это очень видно из моей статьи. Крестьянскими писателями, а тем более крестьянством вообще, на совещании не занимались. Спор у нас был в другой плоскости — об отношении пролетписателей к попутчикам, спор был между напостовцами и А. Воронским. Для опровержения же моих суждений о классовости крестьянства пункт этот явно не подходит. никакого отношения к этому вопросу он не имеет.

В 8-м пункте перечисляются вопросы, на которых должно быть сосредоточено внимание при установлении отношений между пролетарскими, крестьянскими писателями и попутчиками.

9-й пункт подчеркивает, что «крестьянские писатели должны встречать дружественный прием и пользоваться нашей безусловной поддержкой».

Против этой политической линии как будто никто не возражает.

10-й пункт констатирует диференцированность попутчиков, значение многих из них как литературных спецов, наличность колебаний среди этого слоя писателей. Указывается, что одних надо отсеивать, другим терпеливо помогать. И против этого как будто никто не возражает.

Все эти пункты мои критики привели с исключительной целью опровергнуть мои суждения о писательских группировках. Они испугались моих слов: «стихийно», «случайно». Разве всем нам не известно, что в нашей марксистской журналистике не раз уже поднимались голоса, что термин «попутчик» неопределен, что его надо оставить, что надо найти какой-то другой более точный термин? О крестьянстве я уже говорил. И никто — ни редакторы журналов, ни бойкие критики, ни директивные органы — не указывали, что тут кроется подрыв резолюции ЦК ВКП (б) о литературной политике.

Зачем же подняли шум на этот раз? Не бесцельно. Не скрывается ли во всей поднятой шумихе литературной фракционности? Теперь ведь т. Зонин перешел на новые позиции. Придет время, сущность их вскроется со всей очевидностью. Но это дело еще впереди.

VI.

Выводы. «Левой ревизии» основных взглядов партии по вопросам художественной литературы в моей статье нет.

Отталкивания попутнических групп писателей, «близких и приближающихся к социалистическому пролетариату», в ней тоже нет и не могло быть.

Ограничения круга пролетарских писателей только коммунистическим авангардом у меня тоже нет. Я считаю Ляшко и с некоторыми оговорками Аросева, хотя первый не коммунист, а пролетарский характер творчества второго некоторые критики отрицают, пролетарскими писателями. С Аросева я и статью начинал.

Никого за борт коммунистического руководства я не выбрасывал,— наоборот, всегда подчеркиваю необходимость перевоспитания мелкобуржуазных элементов.

Чего нет в статье моих критиков?

Спокойствия, необходимого при обсуждении таких сложных и тонких проблем, как проблема о пролетарском писателе, дискутируемая уже в течение многих лет, возникшая еще задолго до Октябрьской революции.

Объективного, вдумчивого отношения к противнику, которое удерживало бы от злопыхательств и всяких умственных кувырканий.

Нет опрятного отношения к цитатам. Рвут их так, как подсказывают полемические соображения. И затем выводят всякие умопомрачительные узоры.

Логики, логики нет. Впрочем, может быть, и она есть, но странная, непонятная. Логика противника, примерно, такова: ткань сера, потому и не вкусна, — виноград еще зелен, потому руби виноградник. Логика часто подменивается схоластикой.

Нет, наконец, и надлежащего знания тех вопросов, о которых они так решительно пишут, полагая, что им поверят на слово. Самомнение теперь вскрывают. Вместо того, чтобы установить оттенки мнений людей, целиком стоящих на одной и той же платформе, подняли вопросы о сотворении мира. Крутили, крутили и действительно накрутили. Невольно вспоминаешь К. Пруткова, который говорил в таких случаях: «Бывает, что усердие превозмогает и разум». Все спутали, скомкали и кричат: «лови, лови его!»

У нас сейчас немало «спасителей отечества». К сожалению, некоторые из них, по выражению Д. Писарева, «гениальность шестинедельного ягненка соединяют с честолюбием Александра Македонского».

Лицо и маска.

(А. С. Грибоедов в «Вазир-Мухтаре» Ю. Тынянова.)

С. Вельтман.

«Бывают писатели, вся духовная жизнь которых, все лучшие мысли и творческие дарования выражались в одном произведении, являющемся точным итогом их существования», писал А. Веселовский о Грибоедове, и надо сказать, что несмотря на попытки автора «Горе от ума» выйти в дальнейшем за пределы этого произведения и воплотить в иных литературных образцах новые темы и образы, бессмертная грибоедовская комедия явилась началом и концом его литературного творчества. И если в области изображения русской действительности Грибоедов, дав замечательную изобличительную сатиру тогдашних нравов, не сумел развернуть в этом отношении свои дарования и как бы свернулся, скомкался, — то в области воспроизведения восточной действительности, которую он длительно изучал и знал больше любого из наших классиков, он оказался не только «однодумом», но писателем, обреченным почти на полное литературное бесплодие; органически не переваривая Востока, с которым он был связан по своей дипломатической карьере, Грибоедов прошел в этом направлении литературный путь с таким «холодным ликом», который по временам кажется совершенно непонятным с точки зрения хотя бы самых элементарных интуитивных писательских потребностей. Весь быт, социальный уклад, среда, природа, фольклор нашли в его творчестве такое миниатюрное выражение, с таким неприязненным, а временами злобным оттенком, что их трудно увязать с той широтой размаха в литературной архитектонике, общего охвата типов, обстановки, и идеологической установки, которыми блещет его комедия. От этих наслоений современной им эпохи, как известно, не были чужды и целый ряд других русских классиков — как, например, Пушкин, Лермонтов и др., отражавших завоевательные и колонизаторские тенденции русского царизма,— но все же они открыли дорогу своим творчеством к познанию быта национальностей тогдашней России и своим исключительным мастерством внесли совершенно новые моменты в отражение восточной действительности, обогатив литературу новыми красками, типами, обстановкой. Восток послужил свежей, удобряющей почвой для роста их художественных возможностей. Совершенно иное случилось с Грибоедовым. Писатель-«однодум», ограниченный небольшим кругом тем, но сумевший в родственной ему русской среде выявить материал для классического образца сатиры, бичующей современные ему нравы, — оказался бесплодным за пределами этой обстановки, и здесь, думается нам, помимо органического дефекта грибоедовского литературного таланта в значительной мере сказался Грибоедов — государственный чиновник по дипломатическому

ведомству, который несмотря на все свои либеральные устремления и сознание необходимых реформ внутри России неспособен был перескочить тогдашней официальной позиции в отношении всякого рода «инородцев» на территории царской России и «нерусских», служивших объектом наступления царизма за пределами страны. В этом отношении можно смело утверждать, что Грибоедов был одним из тех представителей, внутреннее сознание которых в определенные моменты было связано вицмундиром, отсекавшим от них целый, чуждый для них мир иных социальных, бытовых взаимоотношений. Об этом свидетельствует вся переписка Грибоедова, связанная со всей деятельностью его на Востоке, и те литературные произведения, которые относятся к небольшому участку его восточного творчества.

Заинтересовавшись Востоком, он не счел нужным включить его в круг своих вдумчивых, острых и зорких наблюдений, — он старался отделаться от него как от чего-то, навязанного ему извне, как объекта, который стоит вне его понимания русских интересов, национально-патриотических стремлений, исключающих все «иностранное»; и с этой стороны очень любопытно то обстоятельство, что даже в смысле совершенно внешнего реагирования на быт, обстановку, природу Кавказа, а впоследствии и Персии, он выявляет себя как художник «под сурдинку», как бы отворачиваясь от всего этого, фиксируя занимающие его явления скороговоркой; так, например, увидев в первый раз Кавказские горы с опускающимися над ними облаками, он выражает сожаление, что при нем нет художника, но сам не пытается создать новый образ, обогатить свой художественный резерв, — и так на протяжении всего пути от Тифлиса до Персии он монотонно, тягуче и бесстрастно отдает дань всему окружающему. Национальные песни горцев кажутся ему «приятными только для поющих», он называет их «варварскими» и не находит никаких более или менее значительных красок в своей палитре, чтобы отразить Кавказ, составивший как-никак литературную эпопею в художественном творчестве Пушкина, Лермонтова, Толстого и целого ряда других писателей. Злая ирония, подвижность, задор и пафос, которые отличали иногда его перо, превращаются у него в обстановке Востока при попытке художественного воплощения — в литературные качества меньшей ценности, в тенденциозное стремление неприязненными характеристиками дискредитировать восточную «экзотику» и отодвинуть от всего русского увлечение Востоком как ненужным, чужеземным. В стихотворении «Восток» А. С. Грибоедов говорит:

Молодые! К стороне чужой
Не влекитесь думой сладкой,
Не мечтайте чародейных снов
Тех земель неправославных.

Восток представляется ему оголенной равниной, как будто заселенной какими-то «злыми духами», сомнительными чарами, которых «святая Русь» должна чураться.

Идеологический уровень восточного творчества Грибоедова, в сущности говоря, не намного возвышался над уровнем тех современных ему образцов, которые вышли из-под пера других писателей иной категории, иного удельного веса, вроде Марлинского, представляющего себе Кавказ сборищем «азиатцев, изуверство которых заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов, скрывая неприязнь под личиной доброхотства» («Аммалат-бек», собрание сочинений А. Марлинского, СПБ 1847), или Сенковского (Брамбеуса). Конечно, он был гораздо выше их в смысле

принципиальной выдержанности, художественной корректности, как впитавший в себя традиции большой литературы: у него не было дешевой романтики и примитивной олеографии этих двух писателей, но он ни разу не мог подняться до того, чтобы в его рисунке почувствовалось проникновение в восточную действительность, как это было у Пушкина и Лермонтова, несмотря на то, что и они иногда шли не впереди, а позади «своего века». О нем вряд ли можно было сказать то, что писал Белинский о Пушкине: «Он перенес нас в среду кавказских дикарей, чтобы показать, что и там есть человеческое достоинство, осужденное на трагическое страдание». «Странное дело, — писал в другом месте Белинский, восхищаясь кавказскими произведениями Лермонтова, — Кавказу как будто суждено быть колыбелью наших поэтических талантов, вдохновителем и пестуном их музы, поэтической их родиной», отметив, между прочим, что и Грибоедов написал свое «Горе от ума» на Кавказе, так как «дикая природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзия ее сынов вдохновили его оскорбленное человеческое чувство на изображение апатичного, ничтожного круга Фамусовых, Скалозубов, Зарецких, Хлестовых, Репетиловых, Молчалиных — этих карикатур на природу человека». Нужно, однако, сказать, что этот своего рода прием «доказательства от противного» — реакция восточных настроений, отраженная в изображении «апатичного и ничтожного круга» русского быта, — вряд ли говорит в пользу Грибоедова как писателя о Востоке. Наоборот, это лишний раз подчеркивает, что Восток не дал ему того, что он дал целой плеяде русских писателей, — новый мир образов, красок, звуковых сочетаний, типов, — т. е. то, что послужило им для анализа и самостоятельного художественного воплощения восточной обстановки, а вовсе не для того, чтобы в той или иной вариации, так сказать, «подстегивать» себя Востоком для осуществления далеких и чуждых ему тем. С этой точки зрения характерны не только художественные творения Грибоедова — вплоть до «Грузинской ночи», — где крупнейшие потенциальные творческие возможности замыкались в каком-то узком кольце отдельных силуэтов, образов и картин, — но и его обширная переписка по Востоку, косвенно подтверждающая его репутацию «однодума».

Здесь помимо ценнейшего материала, освещающего современную Грибоедову эпоху, — главным образом в области внешней политики русского царизма, — имеется и целый ряд моментов, характерных для самого Грибоедова как художника тогдашнего быта, как писателя, заинтересовавшегося Востоком, с которым ему пришлось притти в столкновение. Его путевые заметки на Кавказе, по дороге в Персию, в Крыму переполнены очень любопытными деталями, из которых видно, что он углублялся в изучение Востока с чрезвычайной тщательностью, но в то же время эти же детали показывают, что он подошел ко всему восточному, «добру и злу внимая равнодушно».

«Восточное лицо» Грибоедова в его «исторической перспективе» представляет любопытный материал для характеристики нравов того времени. Автор «Горе от ума» прошел свой «жизненный путь» в самом разношерстном окружении — государственных, политических, литературных деятелей: «завоевателей» — Ермолова, Нессельроде, Паскевича, — декабристов, Фаддея Булгарина, всякого рода «сардаров» и т. п. Его «хладный лик» часто сменялся в быту «шалостями повесы», всякими неудачами по службе, которые погружали его в глубокую «меланхолию», выявляя скрытые зигзаги его интеллектуальной фигуры. Эти нюансы грибоедовского «лица» особенно рельефно сказались в обстановке его «восточной деятельности» и послужили материалом для зарисовки его в «историческом

романе». Такую попытку сделал Тынянов в своем «Вазир-Мухтаре». В процессе художественного восстановления «исторического» Грибоедова автору «Вазир-Мухтара» пришлось оперировать материалом недостаточно эластичного характера, так как все, что относится в этом отношении к Грибоедову, иллюстрируется отдельными эпизодами, разбросанными в отрывках его биографии и переписке, не выявляя в достаточной мере его роста как писателя и государственного деятеля. Поэтому Тынянову иногда приходилось, вместо того чтобы писать портрет, — лепить маску, — но он с большим искусством дал художественное выражение историческим фактам, обогатив свой роман «жанром» эпохи и разверстав вокруг сырого материала ряд блестящих сцен, типов и т. п.

В пределах настоящего обзора мы остановимся, главным образом, на более выпуклых, «восточных моментах» его романа.

В довольно чопорном предисловии Тынянов говорит: «Они узнавали друг друга потом в толпе 30-х годов, люди 20-х; у них был такой «масонский знак», взгляд такой и в особенности усмешка, которой другие уже не понимали. Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из 20-х годов, у которых перемещалась кровь!»

Автор «Вазир-Мухтара» иногда перегибает палку в архитектонике всякого рода «психологических» настроений, и некоторые из его героев, у которых «перемещалась кровь», исчезают у него из-под рук, и читатель не совсем понимает, почему Пушкин — «винное брожение 20-х годов», Грибоедов — «уксусное брожение», а «с Лермонтова идет по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары», но зато он дает ряд скульптурных сопоставлений грибоедовских современников, в результате которых вырастает обстановка тогдашней эпохи в ее весьма колоритных моментах. С этой точки зрения очень любопытны все сцены, рисующие Грибоедова на приеме у Нессельроде, в связи с заключением Туркменчайского мира, беседы с Ермоловым, пребывание на Кавказе и в Персии, — в которых автору местами удалось, так сказать, реставрировать в художественной отделке исторический материал того времени и выявить портретную галлерею деятелей той эпохи. Ю. Тынянов подымает своего героя над его средой и стремится закрепить в фигуре Грибоедова некое душевное раздвоение, которое как бы долженствует смягчить впечатление от этого человека «небольшого роста, желтого и чопорного»; но эти характеристики в отдельных моментах романа слабо упираются в исторические факты и в своем разрозненном построении носят случайный характер опыта психоанализа. Довольно любопытной иллюстрацией в этом смысле служит следующая картина, данная Тыняновым, так сказать, в разрезе литературных приемов школы формалистов, к которой он принадлежит, — методом «остранения» исторических событий, отклонения их от фактической канвы:

И он очнулся.

Стояла ночь. На всем протяжении России и Кавказа стояла бесприютная, одичалая, перепончатая ночь.

Нессельроде спал в своей постели, завернув, как голошеий петух, оголтелый клюв в одеяло.

Ровно дышал в тонком, английском белье сухопарый Макдональд, обнимая упругую, как струна, супругу.

Усталая от прыжков, без мыслей спала в Петербурге, раскинувшись, Катя.

Пушкин бодрыми маленькими шажками прыгал по кабинету, как обезьяна в пустыне, и присматривался к книгам на полке.

Храпел Тифлис; неподалеку — генерал Сипягин, свистя по-детски носом.

Чумные, выкатив глаза, задыхались в отравленных хижинах под Гумри.

И все были бездомны.

Не было власти на земле...

...Чумные дети тонко стонали под Гумри, и пил в карантине десятую рюмку водки безродный итальянец Мартиненго.

Преступление, которое он совершил десять лет назад и искупал его десять лет трудами и бедствиями, — совершилось вчера. Он не увернулся.

Потому что не было власти на земле, и время сдвигалось.

Т о г д а - т о Г р и б о е д о в з а в ы л ж а л о б н о, к а к с о б а к а. (Курсив мой. *С. В.*)

Тогда-то полномочный министр, облеченный всей властью державы, вцепился в узкую, поросшую пушком, девичью руку, как будто в ней одной было спасение, как будто она одна, рука в пушке, могла все восстановить, спрятать, указать.

Как будто она была властью...

В этом образе Грибоедова, надо полагать, больше наличия призрачной тени «уполномоченного министра», чем действительной зарисовки настоящего Грибоедова, но все же здесь что-то и от «восточного лица» Грибоедова, от его неудовлетворенных, быть может, честолюбивых помыслов, от которых он как будто был далек на своем дипломатическом посту, но которые где-то в глубине преследовали его и «раздваивали» его «холодный лик». Интуитивная неудовлетворенность Востоком, отчужденность от его экзотики и красочных форм подчеркнута в «Вазир-Мухтаре» «рикошетным» путем на выявлении «московских настроений Грибоедова» по возвращении с Кавказа:

...Не успели еще взять Эривань, как московские патриоты выражали уже свою суетность, напялив на головы эти круглые эриванки. Нет, для Москвы, любезного отечества, не стоит драться на Закавказьи, делать Кавказ кладбищем и гостиницей. Пересек Тверскую, поехал по Садовой. Подозрительно грязны и узки были переулки, вливавшиеся в главные улицы. Карета свернула. Точно в Тебризе, где рядом с главной улицей кагал грязи, а мальчишки давят друг у друга вшей. Торчали колокольни. Они походили на минареты.

Он поймал себя на азиатских сравнениях. Это была лень ума.

Как видите, здесь почти «звериное» ощущение непривлекательного для него Востока, та почти физиологическая неприязнь, о которой мы говорили в начале этого очерка. И отсюда, несмотря на то, что он был одним из культурнейших людей своего времени, выступал неизменно для него вопрос, который в самой примитивной форме волновал и всех тех его современников, с которыми ему приходилось совместно разрешать вопросы, связанные с «судьбами России». В этом отношении любопытны те места романа, в которых говорится о кавказской жадности Грибоедова:

Что такое Кавказ?

Шафран, кошениль, марена — были слова. Но слова охлопьями уже лежали в пустой комнате, лежали тюками, и ноги вязли в каких-то ошметках: марены, шелковичных червей.

И вот если человек другого, более старого века, например папенька Грибоедова Сергей Иванович, вошел бы в эту комнату, он подумал бы: двое мальчишек, — один в очках, а другой усатый, — играют в странную и даже скучную игру, которая, сдается, называется: ге-огра-фия, тогда как девы, девчонки и даже девки ждут их объятий, а кони — шпор.

Прислушавшись, он, пожалуй, брякнул бы:

«Маменькины штучки! Жадность! Торгашом, что ли, Алексаша стал?»

Потому что он был прям и прост, папенька Сергей Иванович.

Но если бы этот посторонний был не Сергей Иванович, а например сын «великого адмирала» Дон-Диего или его генерал Фернандо Кортец, глаза бы у них загорелись точно так же, как и у человека в очках. И генерал, наслушавшись, послал бы одну армию туда и другую сюда, и серебро и золото притекли бы к нему.

...Земля была так велика, что, пожалуй, вовсе в целом не существовала, а комната была пуста.

Никакой кошенили в ней не было.

В ней сидел теперь русский автор и шевелил длинными пальцами. Он был в одном белье, потому что была невыносимая жара. Он был совсем один.

Фернандо же Кортец был здесь ни причем. Вообще во всем этом было что-то неладное. Что-то не клеилось. Но, может быть, так и строится государство?

Что такое Кавказ? Вообще что такое земля? Время?

— Солдаты! Тесните язычников! Именем папы даю вам разрешение!

Тынянов упростил «кавказскую идеологию» Грибоедова, он тем же методом «остранения» посмотрел на исторический материал несколько сбоку и использовал его для создания условного портрета, но в основе здесь дано правильное сочетание наиболее характерных черт Грибоедова в его отношении к Востоку и отражена идеология тогдашней нарождающейся буржуазии в области колониальной политики на окраинах и завоевательных экспансий. В этом смысле Грибоедов выявлен как наиболее яркий представитель своего класса, и здесь мы находим иллюстрации к ранее отмеченному нами тезису, что вицмундир дипломата и чиновника понизил в Грибоедове весь, так сказать, тонус его творчества на восточных участках, иссушил то художественное ядро, которое было заложено в его произведениях. С этой точки зрения Ю. Тынянов с тонким мастерством подчеркнул один момент: чтение Грибоедовым его, казалось, лучшей вещи по Востоку — «Грузинской ночи» — в кругу литераторов — Пушкина, Крылова и др.:

Тут заставили его читать. Листков он с собой не взял, чтоб было свободнее, и так, между прочим.

Трагедия его тоже называлась «Грузинская ночь». Он рассказал вкратце, в чем дело, и прочел несколько отрывков. Вскоре выходил вторым изданием Пушкина «Кавказский пленник». Так вот у него в трагедии Кавказ был голый и неприкрашенный, как на картине, а напротив того — дикий и даже непривлекательный.

Странное дело, Пушкин его стеснял. Читая, он чувствовал, что при Пушкине он написал бы, может быть, иначе.

Он стал холоден.

Духи зла в трагедии его самого немного смутили. Может быть, духов не нужно.

Но нет их! Нет. И что мне в чудесах
И в заклинаниях напрасных?
Нет друга на земле и в небесах,
Ни в боге помощи, ни в аде для несчастных.

Он знал, что стихи превосходны.

Он огляделся.

Петя Каратыгин сидел, раскрыв рот, на лице его было ровное удивление и восторг. Но он, может быть, заранее зарядился восторгом.

Братья Полевые что-то записывали. Грибоедов понял. Они пришли на него как на чудо, а он просто прочел стихи.

Тынянов поставил перед собой очень сложную проблему художественной реставрации отдельных грибоедовских черт, которые ему показались малоизученными не только как художнику, но и как литературоведу. И вот этот литературоведческий уклон «Вазир-Мухтара» сузил рамки самого художественного портрета. С одной стороны, по временам чрезвычайно утонченная интуитивная догадка, а с другой — нарочитая «историко-литературная» установка на разные эпохи с непременным акцентом на принципы той литературной школы, к которой он принадлежит. Отсюда в самом построении романа и в его художественном оформлении выросли, если можно так выразиться, стилистические рытвины и провалы, куда-то унесшие сочность и полнокровность образов. Меткость литературно-художественных определений, красочность в манере воспроизведения отдельных картин чередуются с напряженностью пера и вычурной отделкой, иногда до тех пределов, которые снижают ценность рисунков. Самый портрет Грибоедова сделан Тыняновым, что называется, не без лукавства: он поворачивает своего героя в разные стороны, с хитрецой,

с усмешкой интригуя читателя сочетанием внезапных положений, выявляя одновременно портрет и карикатуру на него. Поэтому несмотря на целый ряд великолепно написанных сцен в этом романе нет цельной конструкции его другого произведения «Кюхля», но тем не менее в «Вазир-Мухтаре» автор его показал себя крупнейшим литературным мастером, строящим свои произведения на вдумчиво проработанном историческом материале с воспроизведением его, однако, нередко «наизнанку». Независимо от той или иной точки зрения на закономерность и убедительность такого метода художественной переработки исторических фактов нужно сказать, что сама фигура Грибоедова оказалась подходящей для всякого рода «психологических» изысканий, базирующихся на эмоциях в их соотношении с окружающей обстановкой. Тынянов весьма удачно использует эту «раздвоенность» Грибоедова, в которой «хладный лик» часто получал разного рода оттенки под влиянием внутренних вспышек, прикрытых вицмундиром чиновника, не воспринимавшего Востока, не любившего его, но порою позволявшего себе роскошь в «тихом раздумьи» подходить к нему с целью «переключить» свои настроения на тот или иной лад. Его основное отношение к Востоку может быть формулировано солдатской песней, о которой говорится в «Вазир-Мухтаре»:

Говорили про Персию,
Что богатая.
Она не богатая —
Распроклятая.

Но эта определенная характеристика у него чиновника-разночинца того времени, как-никак все же связанного в той или иной степени с радикальной интеллигенцией, получала здесь же некоторые поправки, которые в воспроизведении Тынянова звучат так:

Она не богатая, она не проклятая. Бледные дороги, голубые поля с утомленным жнитвом, красные горы, реки хрюкают по ногам: хр-хр-хр.

Азиатская сторона, голая ладонь старого человека. Волнообразные горы, как мозоли, как следы долгой работы зель-зелэ, землетрясения.

В Мугани — змеи, в Миане — клопы, кусающие только иноземцев. Ядовитость клопов сильно преувеличена путешественниками 20-х годов и развенчана путешественниками 40-х...

Что это: Грибоедов? Его портрет или «тыняновское воображение»? И то и другое. Но весь дефект этих тыняновских зарисовок заключается в том, что в них при наличии меткости отдельных определений, заостренной наблюдательности, а может быть и интуитивного проникновения в отдаленные эпохи, отсутствует та огромная художественная мощь, которая в романах классиков сращивала героев с историческими фактами, сливая их в единую характеристику эпохи на огромных полотнищах, упиравшихся в действительность так, что всякое ее преломление в романе воспринималось как единая цельная художественная концепция. Этого-то у Тынянова и нет, и недаром ему приходится местами вести свое повествование, что называется, в порядке примитивной передачи истории для того, чтобы создать обстановку для его героя. У него нехватает художественных ресурсов, чтобы связать локальные исторические моменты, фигуры, персонажи в цельные развернутые картины, и он ограничивается очень филигранной отделкой «кусочков» истории, быта, героев на небольших участках и затем уже пытается связать их в стройное произведение, но он именно силен в этих частичных моментах, в отдельных картинах и характеристиках. И несмотря на то, что он часто как будто ломает и произвольно варьирует исторический материал, он все же оста-

ется как будто в его плену, перегружая «Вазир-Мухтара» подлинной грибоедовской биографией и несколько антикварным воспроизведением деталей эпохи. Стремясь воссоздать Грибоедова в деталях, он вольно или невольно иммитирует в различных вариантах и грибоедовскую манеру письма, его замечания в путевых записях, характеризующие его отношение к Востоку.

В тыняновских портретах Аббас Мирзы и других государственных деятелей Персии, а также в обрисовке персидского придворного быта вы ощущаете отпечаток стилистических особенностей Грибоедова, — сухое лаконическое замечание, не лишенное злобы, всегда начиненное грубоватым содержанием, поскольку «уполномоченный министр» характеризовал «неправославные земли». — Ю. Тынянов в этом смысле показал образец литературного мастерства, очень своеобразного и ценного, но в этой области он остается тем литературоведом, который связывает в нем художника, подменяющего живые движения лица застывшими очертаниями маски. Нелишне с этой точки зрения отметить тот литературный прием, которым Тынянов переносит в свой роман историко-литературный материал.

Смерть Грибоедова и встреча его гроба Пушкиным описаны с теми нарочитыми общеизвестными деталями, которые имеются в «Путешествии в Эрзерум», причем автор романа в тонкой художественной перефразировке воссоздает картину, нарисованную Пушкиным, заимствуя самые характерные пушкинские моменты, но он, однако, повторяет эту картину таким образом, что она проходит перед вами в положении, что называется, «до горы ногами».

Это перелицованное «Путешествие в Эрзерум» с известным описанием гроба Грибоедова, с повторением навсегда запоминаемого «Грибоеда» звучит почти копированием, списыванием, но это все же только отдаленно видимый образ, сломанный и переработанный Тыняновым с тем мастерством, которому нельзя отказать в качествах большого литературного дарования.

«В сущности говоря, — пишет в одном месте Тынянов о Грибоедове, — он был прежде всего честный и деловой чиновник. Хотя он и ругал Паскевича и Нессельроде, он уважал их все-таки. Потому и ругал, что уважал. Он, может быть, даже и был рад своему подчинению: вот и Тейрань пройдена, да как еще пройдена — восьмой курур будет получен. Ему карьер теперь обеспечен. Фаддей и маменька рады будут, а о страхах он никому не скажет... Ему нравилось, что он был словно и не он, а Российская держава в Персии, облеченная в мундир».

«Вазир-Мухтар» войдет в нашу литературу как исторический роман, в котором автор по временам вольно обращается с материалом, но его автору нельзя не поставить в заслугу использование историко-литературных фактов с той художественной прозорливостью, которая свидетельствует о недюжинных способностях на далеком расстоянии схватывать наиболее рельефные очертания и отделять их от тех штампованных оценок, которые на протяжении десятилетий загромождают собой подлинный лик анализируемых фигур.

«Вазир-Мухтар» выходит за пределы тех моментов, которые мы отметили. Этот роман дает Грибоедова, как мы указали, в окружении целого ряда комбинированных условных «психологических» элементов — сохраняя, однако, на том или ином расстоянии подлинный фон исторической обстановки и перспективы. «Уполномоченный министр» и автор «Горе от ума» вырастает перед читателем в метко очерченных линиях, порою, может быть, «недоделанным», но тонко охваченным в деталях его портрета.

«Вазир Мухтар», печатавшийся, как известно, ранее в журнале «Звезда», не был снабжен тем эпиграфом, который имеется теперь в отдельном издании. Этот эпиграф — характеристика, данная Грибоедову его современником поэтом Е. А. Баратынским:

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни, в нем жизни нет,—
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след.
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Тынянов как будто побоялся, что те приемы «остранения» действительности, к которым он прибегает, могут затушевать подлинное лицо Грибоедова, и внес эту поправку, которая в общем оправдывает основные мотивы «Вазир-Мухтара», особенно в изображении «восточного лица» Грибоедова.

Ю. Тынянов, очевидно, не желая уйти от неких литературных принципов, часто как будто сам на себя одевает корсет или бинтует себе ноги, связывая, комкая зарисовки, искусственно вводя некоторые метафоры и т. п., — но тем не менее его «Вазир-Мухтар» — вдумчиво вылепленный Грибоедов. Может быть, это скорее скульптурное произведение, чем портрет, а может быть и маска, снятая с покойника. Но во всей концепции его рисунка «хладный лик» Грибоедова прикрывает «движения вид» и с особой рельефностью на этом фоне показывает «восточное лицо» «уполномоченного министра в Персии» и автора «Горя от ума», скрестившего в себе черты двух фигур: дипломата и художника, — те черты, которые в обстановке царской России 20-х годов прошлого столетия привели Грибоедова к бесстрастному, неприязненному и казенно-сухому изображению Востока.

«Клоп» Маяковского.

Осип Бескин.

Тексту пьесы В. Маяковского предшествует авторское предупреждение: «Пьеса «Клоп» печатается как литературное произведение (с купюрами). Текст ее в таком виде не для постановки на сцене».

Это авторское заявление дает право рассматривать «Клопа» как беллетристическое произведение, в отвлечении от сценической интерпретации. Нас будет интересовать социальное, политическое значение пьесы.

Авторские претензии в утверждении именно социального и политического значения пьесы — велики. К этому же присоединяется большинство театральных отзывов и очерков. И первые и последние исходят из того, что «Клоп» — сатира на советскую обывательщину и некий фантастический (пусть очень схематический, но стремящийся, во всяком случае, быть обоснованным) экскурс в будущее, в социализм.

Естественно, что и то и другое чрезвычайно обязывает. Сатира (а по сгущенности положений, по гротескности фигур эта «феерическая комедия» безусловно является сатирой) требует типичности, доподлинной злободневности обобщений. Путешествие в социалистическое будущее (полное, развернутое, победа социализма во всем мире!), оставляя огромный плацдарм для самых «феерических» построений, обязывает хотя бы к минимальной политической грамотности, к пониманию основных общественных предпосылок грядущего, достаточно хорошо вскрываемых уже в самом процессе нынешней борьбы за социализм.

Итак, задача, замысел — очень обязывающие, требующие изучения явлений, требующие работы на конкретном политическом и бытовом материале. Вполне закономерно, что Маяковский в качестве центрального персонажа берет фигуру если не наиболее типическую, как носителя обывательщины, то, во всяком случае, наиболее угрожающую, наиболее опасную с точки зрения распространения обывательщины в гуще пролетариата, класса, ведущего в социализм. Присыпкин — бывший рабочий, бывший партиец (так указано в списке «работающих» в пьесе лиц). Уже таким, по замыслу правильным, выбором автор обязуется подчеркнуть социально-характерное (образ-то, конечно, общественно-синтетический) именно для данной социальной категории. Если «бывшую» партийность можно отнести к моментам случайным (много таких случайных, примазавшихся из худших), то рабочее состояние, из которого, как явствует по пьесе, Присыпкин только выходит (при «раскопках» Присыпкина у него на руках обнаружены мозоли), не может являться величиной «пренебрегаемой». Делаем наиболее «либеральный» гипотетический вывод: Присыпкин — сатирически обоб-

щенный тип рабочего, из самых худших элементов класса, разложившегося, омещанившегося в течение ряда лет и, биографически, к моменту написания пьесы, окончательно оторвавшегося от класса («И с треском же ты, парень, от класса отрываешься», — говорит Присыпкину слесарь во 2-й картине).

Исходя из этих социальных предпосылок, можно a priori установить целый ряд бытовых черт, долженствующих быть у Присыпкина (еще раз и еще раз напоминаем, что он является фигурой обобщенной, гротесковым символом опаснейшей формы обывательщины). В нашу задачу не входит дать исчерпывающий указатель таких черт, но, к примеру, можно отметить, что такой Присыпкин будет очень недоволен, будет очень «бузить» по поводу экономической политики, подхватывая последние Роста очередей; он будет за свободу торговли, за частника, который лучше снабжает; он будет много говорить об обидах, нанесенных ему, «передовому пролетарию»: переквалификация, борьба с прогулами (отдохнуть человеку не дадут!), хронометраж (эксплоататоры! Рабочее государство рабочего человека притесняет!); ему будет свойственен, так сказать, «правый уклон» (побольше бы сукна да ситца, а не новые металлургические заводы строить!); он будет кричать о том, что хоть он и безбожник, но церквей (даже пустующих и порой запружающих городское движение) сносить не надо, потому что у нас «свобода религии»; он в большинстве случаев — немного антисемит; он — за женское равноправие, но все же «баба свое место знать должна», и т. д. и т. п. Этот безымянный, но совершенно конкретный портрет можно выписать во всех деталях. Цель же нашего «примерного» приема состоит в том, чтобы утвердить еще раз очень четкую, для нашего времени в особенности, истину, что рабочий, разложившийся, оторвавшийся от класса, есть величина политическая и что обходить эту политическую сущность — особенно в сатирическом аспекте — никак невозможно.

Вторым этапом такого отрыва (в основе-то отрыв общественный, политический) будет заимствование форм быта чуждых пролетариату классов или групп, обобщенно скажем — скат в обывательщину, в мещанство.

Добавим, что, благодаря двойственности классового положения, благодаря инертности и отсталости — у него политически почти враждебное нашей действительности умонастроение будет внешне связываться с любовью к аксессуарам нового быта, с этакой «красной передовитостью». Только в такой противоречивости и представляет общественный интерес явление бытовой мимикрии, приноровленчества.

Каков же Присыпкин по первой части (гротескно-бытовой) комедии Маяковского? Мы напрасно будем искать политической характеристики как в его собственных репликах, так и в репликах окружающих. Ее просто-напросто нет. Маяковский забыл слона или убоялся быть задавленным его тушей. Он обошел политическую сущность рабочей обывательщины и тем самым свел сатиру к примитивному фарсу. Наиболее благоприятным местом, где эта характеристика могла бы быть развернута, является 2-я картина (в молодняцком общежитии). Но если отбросить чисто декларативную реплику слесаря об отрыве от класса, которую мы приводили выше, то в поисках политической сущности нам, конечно, не помогут оценочные реплики товарищей по общежитию. Мы узнаем, что «он к галстуку привязан», не думает, ибо «головой пошевелить боится», или что он дырки на

носках химическим карандашом замазывает, или что у него «висят баки, как хвост у собаки, даже не моет — растрепать боится» и т. п. Это все внешние дешевые эффектики, рассчитанные на очень утробный смех. Если взять эти реплики всерьез, то единственная характеристика, к которой мы придем, это, что, мол, от класса отрывается человек тупой, нечистоплотный, мучающийся в галстуке и новых лакированных ботинках.

Ну, ничего не поделаешь, — пройдем вместе с автором мимо характеристики политической сущности рабочей обывательщины и постараемся хорошенько разобраться во внешних бытовых формах отрыва. Может быть, в этом преломлении авторская художественная обработка так типична, что через характерные явления *рабочего перерождения* мы прощупаем искомую сущность.

Любовно сколлекционируем все черты и поступки, присущие Присыпкину.

Таская за собою свою будущую тещу, Розалию Павловну Ренессанс, он скупает все и вся, включительно до бюстгальтеров на меху (которые принимает за чепчики) и самовшивающихся пуговиц. Все должна захватить Розалия Павловна, ибо дом у него «должен быть полной чашей». Он — распорядитель, ибо «вносит в дом» парикмахера профсоюзный билет.

Детям будут даны кинематографические имена (например Доротти и Лилиан).

Дом должен быть поставлен аристократически (к его учителю аристократизма — Олегу Баяну — мы еще вернемся).

Он гонится за «изящной» внешностью, будучи предельно грязным, нечистоплотным.

Он цитирует и напевает ходячие романсы («мы разошлись, как в море корабли» и т. п.) и играет на гитаре.

Он в поте лица обучается у Баяна «аристократическим» манерам и в особенности фокстроту.

Он — за внешние, застывшие «обрядовые» формы советского быта (эта черта мелькает как второстепенная).

Вот вся небольшая и малоговорящая коллекция. Где же тут специфичность советской обывательщины? Почему именно эти формы нового бытового становления должны быть присущи «бывшему рабочему, бывшему партийцу»?

Если отбросить первую черту — суматошливую скупку, более характерную для какого-нибудь нэпманчика, нувориша, выскочки (притом всех времен и народов) — и последнюю — приверженность «советским» обрядам, невыпячивающуюся по-настоящему по причине недиалектического понимания ее автором, что уже указывалось выше во вступительной части, — то ведь все остальное — это дешевый поверхностный штампик дореволюционного мещанина (взятого очень поверхностно).

Маяковский «сработал» свой гротесковый символ обывателя, рабочего-мещанина не только без политической основы, но на старом материале, на... «будильниковских» чеховских мелких рассказах (которые в старой общественности были актуальны). А ныне?.. Ныне должны быть признаны движением по линии наименьшей затраты сил без изучения быта, без присматривания к жизни. *Получился не гротесковый собирательный тип обывателя, мещанина, а поверхностная игра остроумными словечками.* Мы ищем живого человека

(а в гротеске шарж — синтез его характерных черт), а Маяковский сотворил нам мертвый штамп на все (прошлые) времена, для всех народов.

Благодаря такой бытовой бесхребетности, полной расплывчатости, благодаря дешевой клоунаде, в стиле которой подан Присыпкин, одним словом, благодаря отсутствию достаточных общественно-бытовых определяющих черт,— налицо при чтении пьесы концентрация внимания на другом персонаже — на обывательском Петронии, вдохновителе и учителе Присыпкина по части «аристократизма». Это — Олег Баян, по определению автора, самородок из домовладельцев.

Совершенно очевидно, что он задуман автором как фигура никчемная, осколок прошлого, промышляющий ныне профессией поэта-самородка, учителя галантности для разлагающихся и устроителя «красных торжеств». Известная доля саркастической злобности по отношению к современности, вырвавшей у него почву из-под ног, органическая пошлость, корыстное подобострастие, сопряженное с ехидством в отношении «совращаемого пролетария»,— все это в этом персонаже было бы понятно, если бы... Если бы совершенно неожиданно реплики Баяна не прорывали бы идейной (?) установки пьесы и не были бы направлены куда-то во-вне, не выдавали бы некоторой, уже не баяновской, а подспудной авторской озлобленности.

Возьмем для примера наиболее «саркастические» реплики Баяна. Обращаясь к Розалии Павловне, сопротивляющейся покупке бюстгальтеров на меху, он говорит: «Захватите, захватите, Розалия Павловна! Разве у них пошлость в голове? Они — молодой класс, они по-своему понимают. Они к вам древнее незапамятное пролетарское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли жалеете» (разрядка везде наша. *О. Б.*).

В другом месте: «Он — победивший класс, и он сметает все на своем пути, как лава, и брюки у товарища Скрипкина (он же Присыпкин) должны быть полной чашей». В третьем, отвечая на сердитую реплику Присыпкина: «Да что вы, товарищ Скрипкин, не то, что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения я как бы сквозь призму вижу ваше классовое возвышенное упоительное и изящное торжество».

Положительно, реплики Баяна звучат иногда убедительно, но убеждают они в настроенности не фигурирующих в комедии общественных групп. Это типичные реплики интеллигентских групп (пусть даже передовых), усматривающих некоторый ущерб своему интеллигентскому умению, якобы обиженному чрезмерным классовым заострением нашего строительства (мотив «обойденности»).

Эта тенденция представляет определенный общественный интерес, анализ этих настроений и изживание их являются серьезной задачей. Этот анализ не входит в задачу настоящей статьи. Мы хотели только подчеркнуть, что, несмотря на то, что для Баяна (самородка из домовладельцев) были тоже достаточно общественно детерминированы сатирические черты — он также оказался, в плане бытовой сатиры, пустышкой, начиненной чужими тенденциями. Разпознавание классовой сущности Маяковскому никак не дается.

А для нас уже вполне закономерно, что для положительного классового персонажа (работницы Зои Березкиной) у Маяковского совсем слов нехватает (положительность персонажа лишает возможности играть на примитивной клоунаде), и те две-три реплики, которые он

ей предоставляет, дышат уже предельной сентиментальной штампованностью («Жить хотели, работать хотели... значит все...» или в ответ на базарную брань Розалии Павловны: — «Он — мой!..»).

Сатира Маяковского не выявляет социальных корней, она заштампована по старым чужим образам-образцам, она совершенно не использует настоящего бытового наблюдения над современностью. Поэтому ее обличительское, общественное значение — мизерно.

И недаром сомнительные остроты призваны спасать положение, заменять социальную остроту вульгарной остротой, построенной на игре слов («Это просто птит истуар». — «Кто сказал: писсуар?»; «Красота это мать».— «Кто сказал: мать?»; Гименей, которого Присыпкин принимает за Гималаи, и т. п.). Только и отдыхаешь на остроумном начале 1-й картины — выкрики продавцов-разносчиков.

Гадать о том, что будет происходить назавтра после установления социализма во всем мире,— дело трудное и чрезвычайно индивидуальное в смысле выписывания деталей этой картины будущего. Требовать здесь очень большой конкретности, протестовать против фееричности и самой смелой утопичности,— конечно, не приходится.

Но есть общие предпосылки, бесспорные, безусловно обязывающие, дающие общественно-научные вехи для столь увлекательного путешествия. Такими основными предпосылками, схематизируя и опуская детали, могут служить: бесклассовое общество, коллективизм, высоко развитая техника, мощность индустрии, блестяще поставленный учет потребностей и производства, а отсюда — возможность настоящего выявления индивидуальных способностей и устремлений. На этом фундаменте автор вправе строить здание любой архитектуры.

Действие второй части пьесы происходит «после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, создавших федерацию земли». Оратор в 5-й картине напоминает, что «декретом 7 ноября 1965 г. жизнь человека неприкосновенна». Иными словами, мы уже в царстве социализма.

Угнетение, борьба классов, государство, сами классы,— все это уже позади (это естественно, и подчеркивается мыслью о полной неприкосновенности человеческой жизни). Но наше удивление положительно не имеет границ, когда в той же картине мы сталкиваемся с передачей репортерами известия о решении воскресить Присыпкина газетами... «Варшавская комсомольская правда», «Шанхайская беднота», «Мадридская батрачка» и т. п.

Автор комедии политически, вернее — элементарно, политграмотски, настолько не задумался о будущем, настолько механически представляет себе этот приход в будущее, что, по его мнению, все остается на местах: есть батраки и батрачки, комсомолки (значит, и партия) — это в бесклассовом-то обществе! Выходит, что просто красные прошли военным маршем гражданских войн по миру (уподобляясь каким-то римским легионам), установили свою власть, смяли белых, издали декрет о неприкосновенности жизни — и баста!

Как же автор представляет себе самый строй жизни? Картина 7-я начинается следующей ремаркой: «Середина сцены — треугольник сквера. В сквере три искусственных дерева. Первое дерево на зеленых квадратах, листья — огромные тарелки, на тарелках — мандарины. Второе дерево — бумажные тарелки, на тарелках — яблоки. Третье — зеленое с елочными шишками, открытые флаконы духов». Несколькими строками ниже мы сталкиваемся с репликой репортера: «Передайте мне мандарины.

Это правильно делает городское самоуправление, что сегодня деревья мандаринятся, а то вчера были одни груши — и не сочно, и не вкусно, и не питательно».

Требуется ли доказывать, что этот идеальный иванушкин рай выдает с головой потребительское представление автора о социализме! Ведь это исключительное опошление, вульгаризация. Ведь так преломляться социализм может только в голове «обывателиуса вульгариса», которого обесславить, высмеять взялся Маяковский.

Влюбленность, любовь (очевидно, вместе с другими высшими проявлениями физиологических устремлений) в 1965 г., конечно, забыты (очевидно, как чувство обывательское). «Влюбленность,— поясняет один из персонажей,— так называлась древняя болезнь, когда человечья половая энергия, разумно распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в одном воспалительном процессе, ведя к невероятным и безумным процессам».

Но возьмем центральный пункт второй части пьесы — момент распространения эпидемии, идущей от воскресшего Присыпкина. Какими характерными признаками эта эпидемия отмечается? Иными словами, — что в обывательщине мешало во всемирной стройке социализма? Оказывается, эпидемия сказалась в некотором распространении пьянства, в чтении девушками «книжиц» стихов, в фокстроте и чарльстоне, в появлении 30 герлс, в пении романсов. А сам рассадник эпидемии демонстрируется как животное, пьющее пиво, курящее, сквернословящее и предельно нечистоплотное (последнее качество доминирующее).

Нельзя не признать, что довольно малоубедительно такое противопоставление социализма исторической обывательщине.

В построении социализма, так же, как в изобличении обывательщины, Маяковский не вышел из круга явлений, механически наиболее часто попадающих в поле его зрения. Изучить, присмотреться — ему не по нутру. Политически продумать во избежание примитивнейших ляпсусов — тоже.

Самый факт новой попытки Маяковского подойти к крупному жанру — к драматургическому — надо, конечно, всячески приветствовать. Особенное значение это имеет в связи с засилием в нашей драматургии последних лет булгаковщины, всяческих явных и скрытых правых тенденций, псевдореволюционных пьес и т. п. Но тем большего вправе мы требовать от прогрессивных фигур в нашей литературе.

«Ультралевый» лозунг и трескучие обличения, при наличности старенького штампа, нас не устраивают. Необходимо изучение объекта творчества, проникновение в гущи типичных бытовых политических явлений.

«Клоп» сделан на скорую руку, легковесно, легкомысленно.

Он много ниже возможностей Маяковского.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. Каверин, Скандалист или вечера на Васильевском острове, Ленинград, «Прибой», 1929, стр. 297, ц. 2 р. 25 к.

На первый взгляд это очень узко. Замкнутый, чрезвычайно специфический мирок ученых, занимающихся литературой, мирок, ограниченный рамками Ленинграда, является предметом изображения в «Вечерах на Васильевском острове». Подчас живопись настолько портретна, что человек, причастный к литературной жизни последних лет, легко разгадает сходства литературных героев с действительностью. Особенно откровенна в этом смысле интерпретация основного героя произведения Виктора Некрылова. Здесь обнажается и не совсем привлекательная тенденция романа к сенсационной дешевке, к игре на склонности мещанской аудитории интересоваться закулисной стороной литературного быта.

Походит «Скандалист» Каверина на памфлет иронический, но не очень разящий, злой, но не очень точно направленный, памфлет без перспективы, без точно усвоенной цели, памфлет, в котором не столько ощущается разоблачение, сколько снисходительное сочувствие. Здесь одно очень характерно — необычайная узость художника. И не в том дело, что берется ограниченный предмет изображения, — на это всегда художник имеет право. Самое видение художника страшно ограниченное и замкнутое. Это и дает явно ощущаемое нарушение перспективы. Роман с крохотной темой, очень близоруко рассмотренной, хочет выглядеть произведением значительным. «Скандалист» недаром является столь разорванным, капризно, почти конвульсивно построенным сооружением. Художник стремится создать иллюзию большого произведения, не имея для этого оснований.

Но, конечно, не своей бытовой экзотикой живет этот роман, и не в этом его подлинное значение. Он говорит в сущности о вещах и явлениях более широких, чем эпизоды литературного быта. Легко снять внешнюю оболочку памфлета, как мы уже говорили, достаточно сочувственного, чтобы обнажилось подлинное содержание книги. Перед нами роман о маленьких людях, утративших смысл существования, о лишних людях, выбитых из колеи. Попробуем собрать самые яркие и живые психологические характеристики в романе, и мы легко убедимся, что все это будут слагаемые одного образа, очень убедительно раскрываемого в романе.

В «Скандалисте» многое идет от позы, ненужного выверта, своеобразной фетишизации литературной техники; но внимательно всматриваясь в роман, мы видим, что все это тяготеет к памфлету, к чисто внешней, грубо развлекательной тенденции романа. И в конечном счете все это оказывается накипью, которую можно снять. И тогда обнажается подводное и достаточно выразительное течение романа. Перед нами очень глубоко понятый образ лишнего человека. Опустошенные, бесцельные человеческие существования — вот настоящая и без всяких фокусов показанная драма, которая содержится в романе Каверина. Падающие, теснимые, утратившие смысл существования мещане, — вот чья трагедия столь полно и напряженно развертывается в романе Каверина. Здесь есть страницы, по-настоящему искренние, насыщенные большой тревогой. Сразу ощущается, что здесь лежит основной нерв произведения.

Интерпретация лишнего человека дается в «Скандалисте» очень органическая. Во множестве индивидуальных фигур, на которые расщеплен единый образ романа, мы находим все новые качества, новые признаки, приводящие в конце концов к исключительной полноте раскрытия. Притязательная, нарочитая, насквозь искусственная манера изображения, отличающая Каверина, постоянно подчеркиваемое художником бесстрастие здесь каждый раз заменяются большой искренностью, большой проникновенностью. От позы художник переходит к жестокой правде.

Итак, роман с внешностью хлесткого памфлета, восходящего к фактам литературного быта, оказывается романом, и достаточно углубленным, о лишних людях. Происходит любопытное перемещение. Подлинный смысл вещи, ее настоящее содержание раскрывается на фоне очень причудливой, пестрой и очень старательно размалеванной декорации.

Здесь мы подходим к проблеме экзотического. Художник теснимой социальной группы обращается к экзотическому для того, чтобы найти здесь некую иллюзию отрицания действительности. Экзотика Каверина очень специфическая, но это все-таки экзотика. Художник берет крохотный, замкнутый мирок и рассматривает его как единственно существующую действительность. Вот эта гиперболизация и делает изображения, данные в «Вечерах на Васильевском острове», явной экзотикой. Как мы видели, это не мешает произведению выражать, и очень интенсивно, вполне определенный комплекс классовых представлений. Драма лишних людей, драма разлагаемого мещанства находит в Каверине своего глубокого и проникновенного интерпретатора. Творчество художника с этой классовой трагедией теснейшим образом связано.

Федор Иванов.

М. Слонимский, Западники, рассказы, Собрание сочинений, т. II, Зиф, М. — Л., ц. 1 р. 30 к.

Несложность сюжета, отсутствие глубокого проникновения в события, легкий язык и внешняя занимательность характерны для коротких рассказов, собранных в «Западниках» Слонимского. Прочитанное не волнует и не утомляет. Это стиль «дамских» старых журналов, стиль легкого чтения. Герои рассказов — западноевропейский буржуа и русские деклассированные буржуазные интеллигенты. Наиболее значительный из всех рассказов — «Западники». Его тема — тоска по западной цивилизации. Советскую революцию европейские буржуа принимают как романтическую экзотику событий. СССР представляется им Патагонией, где люди «все время стреляют друг в друга». Нужно сказать, что такая «оценка» пролетарской революции буржуазией для наших дней несколько устарела. Тоской по западной цивилизации проникнута фигура русского либерального интеллигента, работающего в парижском торгпредстве. Он чувствует, что его «западничество» держится на деклассированных людях, но никак не может от него освободиться.

Скептическое отношение европейской буржуазии к стране «варваров» и изумление перед европейской цивилизацией русского интеллигента как основная тенденция проходят через весь рассказ. Понимание революции как необыкновенной романтической истории характерно и для героя другого рассказа «Романтик» — французского ресторатора, для которого представление о русских ассоциируется с убийцами и мошенниками. Книжка дает в «вежливой», сдержанной форме настроения деклассированной буржуазной интеллигенции. В некоторых рассказах заметна печать «шпенглерианства». Приятие революции как нашествия гуннов, тоска по западной цивилизации, жажда легкого заработка («Четвертая ставка»), жажда личного героизма, принимающего на практике, однако, формы простой уголовщины и бандитизма («Начальник станции», «Деревянные ноги»), трагизм «деликатной» личности, сталкивающейся с торжествующим советским обывателем («Однофамильцы») — вот основные линии рассказов, вошедших в сборник. Автор пристально всматривается в буржуазный Запад, проходя равнодушно мимо революции.

В. Архангельский.

Леонид Грабарь, Семейная хроника, книга первая, «Прибой», 1929, стр. 260, ц. 1 р. 90 к.

Грабарь с момента появления первой его книжки занимает совершенно особую в среде пролетарских писателей позицию. Болезненное влечение ко всему анормальному всегда характеризовало его творчество. Верен он себе и в «Семейной хронике».

Изображаются первые годы нэпа. Страна на переломе, и автор, познакомив нас со своими героями в период конца военного коммунизма, показывает, как эти же люди воспринимают переход к новой политике.

Мир для Грабаря делится на две половинки. Первая, большая — отрицательные фигуры, — и здесь наш автор находит нужные, понятные слова, четкие характеристики, — и вторая, меньшая — люди положительные, с которыми он не знает что делать, и показать их он не в состоянии.

Ему по средствам вылепить такую фигуру, как инженер Анненков — человек, все жизненные стремления которого сводятся к личному комфорту.

Он даже может четко обрисовать Ваську Студенцова, неплохого партийца и человека, но недисциплинированного, питающего неистребимую страсть к матерщине.

Но автор чувствует, что ведь были же и хорошие люди в эту эпоху. Их тоже нужно показать. И здесь он совершенно беспомощен. Чего стоит один из центральных героев — Рабинович! Добродетельный мужчина, — конфетка, а не человек! Правда, автор заставляет его напиться и даже мучить по ночам изменившую жену, но эти два обстоятельства так не вяжутся с обрисовкой Рабиновича вообще, что цели своей не достигают.

А дядя Влас и Сальник — секретарь парткома — вышли и вовсе неубедительными, взятыми напрокат из знаменитых «Четьи-Миней».

Заголовок обязывает, и потому автор сгоняет в один город пятерых представителей семьи Бодровых.

Какие же это далекие друг от друга люди! Только необузданная фантазия может сделать их столь различными.

Бодров № 1. Бывший меньшевик, бывший эмигрант, бывший миллионер. В данное время он в партии и является председателем химтреста. Отличительные признаки — заискивание перед специалистами и беспринципность (заимствование денег у брата-нэпмана).

Бодров № 2. Нэпман, фабрикант. Но не просто фабрикант, а благодетель рабочего класса. Создал для рабочих условия, каких не было на государственных предприятиях. Даже громадный дом отремонтировал под квартиры для них.

Бодров № 3. Инженер. Превосходит по беспринципности своего брата № 1. Циник и карьерист.

Бодрова № 4. Сестра предыдущих. Стопроцентная коммунистка. Об этом ее качестве упоминается неоднократно. Поэтому, вероятно, у нее и нет никаких отличительных признаков.

И, наконец, Бодрова № 5. Дочь фабриканта. Современная женщина, инженер. Энергии хоть отбавляй. Энергична до того, что ухитрилась выйти замуж за... председателя исполкома.

Так как это только первая часть, то есть основания предполагать, что эта семейка еще и увеличится.

Но не только в обрисовке Бодровых имеются «странности». Коснулись они и других. Разве не нелепость, что партийца Студенцова посылают в казино, чуть ли не в роли вышибалы? Разве не странно, что мастера, знающего секрет производства, держат на фабрике и платят ему громадные деньги, несмотря на явную уголовщину?

Таких «неувязок» в книге Грабаря изобилие. Поражает разухабистость тона.

Грабарь кокетничает своим цинизмом. Нарочитая грубость свойственна каждой странице его «Семейной хроники».

Легкость изложения и занимательность не спасают положения. — Книга нашему читателю не нужная.

Борис Киреев.

Бела Иллеш, Тисса горит, изд. «Московский рабочий», «Роман-газета», стр. 64, ц. 25 к.

«Тисса горит» Иллеша представляет значительный интерес. И не только

потому, что в нем впервые с большой полнотой воспроизводятся события венгерской революции, не только потому, что это хроника, закрепляющая глубоко значительный эпизод пролетарского движения на Западе, — перед нами произведение, являющееся характерным звеном в развитии пролетарской литературы. На определенном этапе такое произведение, как «Тисса горит» Иллеша, совершенно закономерно, и надо вскрыть обстоятельства, его обусловившие.

В романе Иллеша нет еще людей-образов, они называются, они выступают в действии, с их переживаниями знакомит нас художник, но они не складываются в такие цельные комплексы, в такие тесные единства, которые позволили бы нам воспринимать их как отдельные индивидуальности. Люди-образы здесь еще только с т а н о в я т с я. Они еще не возникли и не сформировались. Перед художником стоит другая задача, чем показывание отдельных замкнутых, сложившихся личностей. Он обращен к другому. «Тисса горит» Иллеша — роман большой текучести. На всем его пространстве мы не цепляемся за отдельные индивидуальности. Они все время являются. Одни из них для того, чтобы скоро исчезнуть, другие — для того, чтобы вновь и вновь повторяться, — но мы воспринимаем их только как носителей какого-то процесса. Личность всегда является известным ограничением. И наш художник, инстинктивно ощущая это, никогда не стабилизует, не останавливает, не консервирует появляющихся в его произведении людей. Он имеет обыкновение растворять их в жизненном потоке. И вот здесь возникает самое большое своеобразие книги Иллеша. Перед нами жизнь, полная жестоких противоречий, суровая, властная, подлинная, она влечется перед нашими глазами во всей своей непосредственности. Не людей, а нечто большее видит художник. Он мыслит действительность как живой, постоянно протекающий процесс, и это свое представление реализует в романе. Он имеет перед собой исключительно насыщенный революционный материал, и это творческое представление приводит его к большим результатам. Художнику удается очень живо и полно воспроизвести революционные события. Он видит не что-либо исключительное, необыкновенное, из ряда вон выходящее, — он видит простейшее. И это делает его книгу исключительным документом, в котором чрезвычайно полно выражается действительность. Он дает изощреннейшее фотографирование. Он схватывает моменты, отдельные звенья, их последовательность и взаимодействие, и это приводит его к очень глубокой и непосредственной интерпретации революционных событий.

Роман походит на автобиографию, рассказывается он от первого лица, но это, конечно, не автобиография, и, конечно, не на индивидуальных отношениях построена вся эта книга, — она восходит к основному, уже нами характеризовавшемуся представлению о действительности как процессе и этим определяется.

Надо говорить об обусловленности этих свойств романа Иллеша. Их, конечно, нельзя возводить в догму. Это своеобразное нивелирование личности, открытый отказ от нее во имя общего, эта специфическая социальность вещи, конечно, является необходимостью, свойством пролетарского искусства только на определенном этапе. До известной степени это восходит к недостаточной зрелости этого искусства, и уже сейчас мы знаем, что пролетарские художники умеют давать синтез индивидуального и социального, видеть, с одной стороны, индивидуальность во всем богатстве ее оттенков, с другой стороны — рассматривать действительность как процесс, в котором индивидуальность — лишь одна из взаимодействующих сил. Это — зрелый этап. Роман Иллеша является выражением этапа более раннего, менее совершенного, что, конечно, не мешает ему быть посвоему ярким, впечатляющим, большим произведением.

И. Марцинский.

А. Ефремин, Г р о м о в а я п о э з и я, О творчестве Демьяна Бедного, Гиз, М.—Л. 1929, стр. 244, тир. 3 000 экз., ц. 2 р.

«Читая стихи Демьяна Бедного, как будто проносишься на вихревом авто по кипящей огнем стране», пишет Ефремин. На полном ходу этого «вихревого авто» обозревает автор творчество поэта — такое

впечатление производит книга «Громовая поэзия», посвященная Демьяну Бедному.

У автора как будто нет времени и желания поглубже остановиться и вникнуть в существо тех терминов, определений, обобщений, которыми он так щедро пересыпает свою книгу.

Не однажды, настойчиво и упорно, повторяет автор, что у Демьяна Бедного есть «свой жанр» (стр. 24), что он «нашел свой стиль» (стр. 214). Критические очерки о Демьяне Бедном и должны помочь вскрыть, хотя бы в общих чертах, своеобразие этого стиля, исходя из социальных корней творчества поэта. Но в рецензируемой книге мы не находим ни анализа социального генезиса Демьяновской поэзии, ни анализа его стиля. Нельзя же, в самом деле, назвать анализом стиля общие места, трюизмы вроде: ...«напряженность характеризует нашу революцию, она же характеризует Демьянов стиль» (стр. 16), или: «Демьян Бедный идет своим оригинальным путем, создавая стиль поэзии, пахнущей порохом (разрядка автора), отражая общую устремленность эпохи» (стр. 60), и т. д. и т. д.

Не может удовлетворить такая поверхностная формулировка автора, что «Демьянов стиль, сочетающий учение революции с народными образами, близок к крестьянству, не только языком, разумеется, но и самой своей идеей» (стр. 40). Дальше этих утверждений автор не идет, не пытаясь даже уточнить, о каком слое крестьянства идет здесь речь.

Далее из статей Ефремина мы узнаем, что Демьян Бедный является создателем жанра «газетного стихового фельетона», «героической агитки», антирелигиозной сатиры, басни, эпиграммы, «поэтического райка». Но одно это голое перечисление жанров, повторяющееся в различных комбинациях и вариациях, ничего не дает. Вряд ли представляет какую-либо ценность попытка автора вскрыть содержание отдельных жанров, как например, объяснение агитки: «Агитка — это особый жанр в поэзии» (стр. 94—95)... «Агитка — это агитация в художественных образах» (стр. 150). Включая в понятие агитки и «Божественную комедию» Данте, и драмы Шекспира, и «Слово о полку Игореве», автор уничтожает какую бы то ни было значимость этого термина.

Из того, что «басня Демьяна Бедного сюрпризна», что от нее исходит «пряный аромат» (стр. 90—91), что в газетах Демьян Бедный «расцвел огнепышащим цветком стихового фельетона» (стр. 54), — из всех этих афоризмов мы не можем сделать никаких выводов и даже получить какого бы то ни было материала для определения жанровых особенностей поэзии Бедного. Пора уже критикам и историкам литературы перестать жонглировать целым рядом литературных терминов, не конкретизируя их смысла и их специфического значения.

Автор проходит мимо такого важного момента, как смена жанров у Демьяна Бедного, эволюция его творчества на протяжении всей его литературной деятельности.

Нечеткость и поверхностность всей книги в целом усугубляются тем, что одни и те же вопросы повторяются без какого бы то ни было углубления и заострения в отдельных статьях книги. Целый ряд заглавий статей можно без всякого ущерба переставить, от этого ничто не изменится.

Статья «Поэт и его читатель» интересна по замыслу, но автор не смог использовать богатого материала читательских отзывов, кстати — разбросанных не только в этой статье, но и по всей книге. Отзывы читателей не систематизированы даже по самым грубым рубрикам (по социальным, общественным, возрастным группировкам), не расклассифицированы по типам; не выяснено отношение самого Демьяна Бедного к этим читательским откликам.

На основании сказанного совершенно ясно, что историко-литературная ценность книги незначительна. Сам автор рассматривает свою работу как «разрозненные этюды», которые составят «материал для будущего исследования». Но надо прямо сказать, что такой материал — не систематизированный, поверхностный, почти лишенный хронологических дат, скупой на цитаты из творчества самого поэта, — для будущего исследователя окажется малополезным. А широкие обобщения, лишенные конкретного наполнения, не давая ничего ему, в то же время представляют малую ценность и для современного читателя.

Нельзя обойти без внимания язык, которым написана книга. Вычурная и напыщенная фразеология автора, вроде «хоровая доблесть класса, собирательный океан жертвенности, соборный тайфун энергии» (стр. 20), «сигнальный барабан Демьяна» (стр. 37), «дрожжи буржуазной цивилизации» (стр. 18), «бурноногие кони революции» (стр. 64), «радуга морфийного кровоподтека» в декадентском эстетизме (стр. 213), и т. д. и т. д., — весь этот метафорический стиль, соединенный с хвалебными выкриками по адресу Демьяна, оглушает читателя, не дает ему возможности вникнуть в существо написанного.

«Тринадцать томов громовой музыки» — так называет автор литературную продукцию Демьяна Бедного. Одной книгой — но не громовой, а трескучей критики можно назвать книгу Еремина.

Л. Поляк.

В. Кирпотин, Радикальный разночинец Д. И. Писарев, изд. «Прибой», 1929, стр. 252, ц. 2 р. 20 к.

О шестидесятничестве за последнее время говорилось и писалось немало, и хотя писания эти в большинстве случаев принадлежат перу марксистов, тем не менее вопрос о классовой расстановке сил в литературе 60-х гг. до сих пор не только не разрешен, но даже со всей решительностью не был поставлен. Канонизированная схема «отцов и детей» остается в силе.

Между тем внимательный анализ взаимоотношений внутри левого лагеря решительно убеждает в том, что разночинцы вовсе не представляли собой на протяжении всего периода 60-х гг. единого идеологического целого; в недрах общей прогрессивной идеологии разночинцев выкристаллизовались с течением времени по существу враждебные одна другой идеологии различных и враждебных классовых групп. Примерно к 1863 г. диференциация обозначилась с достаточной четкостью. «Русское слово» и «Современник» вступили в открытый бой. «Раскол в нигилистах» совершился.

Книга Кирпотина именно тем и интересна, что через оценку писаревского мировоззрения она подводит читателя вплотную к социальным корням этого раскола.

«Писарев, — пишет Кирпотин, — представляет собой самостоятельный оттенок в истории русской общественной мысли... в развернувшейся борьбе направлений он не терял своего особого лица». Характеризуя «особое лицо» Писарева, автор заостряет вопрос на его отношении к революции, мотивируя это тем, что смысл всех разногласий, всей журнальной полемики того периода сводится в сущности к одному: «за революцию или против революции». С этим нельзя не согласиться. Конечно, в оценке классовой физиономии любого из шестидесятников проблема революции должна явиться исходным пунктом уже потому хотя бы, что в 60-х гг. революция впервые из романтической мечты превратилась в реальную возможность. Рядом цитат из писаревских статей Кирпотин вполне убедительно показывает, как Писарев в ответ на революционную программу Чернышевского — Добролюбова развивает подробную теорию мирного культурничества и малых дел; оставаясь последовательным стопроцентным просветителем, он упорно доказывал, что путь в лучшее будущее лежит через знание, через просвещение. Масса, народ, в который верили, на который опирались крестьянские революционеры из «Современника», не привлекает внимания Писарева; «образованное меньшинство», «мыслящие реалисты» или, как метко расшифровывает этот образ Кирпотин, культурный капиталист, инженер, профессор, литератор — вот, по Писареву, носители прогресса. Страстный пропагандист, идеализатор индустриального развития России, Писарев был далек от социализма, даже от утопического социализма публицистов «Современника».

Знаменитое разрушение эстетики, антиэстетическое буйство Писарева автор очень интересно увязывает, с одной стороны, с его общеполитической программой, согласно которой он стремился всю общественную энергию переключить в хозяйственно-полезную деятельность, а с другой стороны — вульгарным материализмом, заимствованным у Бюхнера, грубые концепции которого мешали

Писареву охватить вопросы искусства с той широтой, на какую был способен Чернышевский.

Каков же социологический эквивалент всех этих интерпретированных в книге взглядов Писарева?

Ошибочно исходя из мелкобуржуазности Писарева, автор строит ошибочную схему идейных «шатаний» критика от мирного просветительства вверх по «дугообразной кривой» к революционности, к блоку с «Современником» и снова вниз —к малым делам и мирному культурничеству. В данном случае Писарев невинно осужден, он был весьма далек от подобных колебаний, его мировоззрение, не выходя из рамок буржуазно-индустриальной культуры, развивалось последовательно и стройно от эпикурейского индивидуализма через поиски гарантии для свободы личности к проблемам общественным, которые всегда разрешались им в плане мирного культурничества. Этому отнюдь не противоречит тот факт, что Писаревым была написана в свое время статья о Шедо-Феррати, заключавшая в себе несколько весьма резких выпадов против самодержавия: отсутствие у Писарева связи с движением, отзывы о нем активных революционеров, наконец свидетельства самого Писарева дают достаточно оснований к тому, чтобы вслед за М. Лемке оценить его статью как продукт не революционности, а просто — «плохо очерченного буржуазного демократизма, который был платформой для довольно многочисленных групп оппозиционно настроенной части так называемого «общества».

От этой характеристики до блока с «Современником», обнаруженного Кирпотиным, дистанция огромного размера.

Язык книги несколько суховат, а изложение схематично, и, может быть, только поэтому книга, несмотря на марксистскую выдержанность своих исходных положений, несмотря на правильность общей концепции автора, все же не воссоздает целостного образа Писарева, во всем его парадоксальном блеске, талантливости, подкупающей убежденности и непримиримости, доходившей до фанатизма.

Все эти замечания не умаляют, конечно, значения работы В. Кирпотина как первого (не только марксистского, но и вообще первого) монографического исследования о Д. И. Писареве.

А. Бескина.

Список книг, полученных редакцией на отзыв с 1 апреля по 1 мая.

ГОСИЗДАТ.

Третьяков С., Речевик, стихи, предисловие Дуркора И., стр. 189, ц. 2 р.

Маяковский В., Собр. соч., т. IV, Агитпоэмы, стр. 325, ц. 3 р., переплет 25 коп.

Толстой Алексей, Собр. соч., Под старыми липами, рассказы, стр. 356, ц. 2 р. 50 к.

То же, Хромой барин, Чудаки, рассказы, стр. 345, ц. 2 р. 50 к.

Луначарский А. В. и *Полянский В.* (ред.), Очерки по истории критики, т. I, стр. 332, ц. 3 р.

Рыклин Г., С подлинным верно, стр. 267, ц. 1 р. 90 к.

Годинер Ш., Человек с винтовкой, роман, перевод с еврейского Брука С., вступительная статья Бронштейна, стр. 165, ц. 1 р. 10 к.

Лием О. Флахерти, Жена соседа. перевод с английского, роман, стр. 293, ц. 1 р. 85 к.

Истрати Панаит, Репейники Барагана, роман, перевод Ивановой Е., вступительная статья Сандомирского Г., стр. 144, ц. 1 р.

Пильняк Бор., Собр. соч., т. III, стр. 231, ц. 2 р. 25 к.

Иванов Всеволод, Собр. соч., т. III, Гибель Железной и другие рассказы, стр. 300, ц. 2 р. 25 к.

Киреев Д., Н. В. Гоголь, Жизнь, мировоззрение и литературная деятельность, стр. 127, ц. 40 к.

Глебов Анатолий, Власть, драматические фрагменты Октября, стр. 123, ц. 75 к.

Серебрякова Галина, Женщины эпохи Французской революции, предисловие Покровского М. Н., стр. 164, ц. 2 р., п. 20 к.

Финк Виктор, Евреи на земле, стр. 217, ц. 1 р. 60 к.

Мольер, Избранные комедии, редакция, введение и комментарии Филиппова Вл., предисловие Когана П. С., стр. 514, ц. 2 р. 50 к.

Чернышевский Н. Г. Литературное наследие, т. II, письма под редакцией и с примечаниями Алексеева Н. А. и профессора Скафтымова А. П., стр. 606, ц. 5 р. 75 к.

«ПРИБОЙ».

Герман Г., Модеста Цамбони, роман, перевод с немецкого Крестинской Р. А., предисловие Броке А. А., стр. 267, ц. 1 р. 25 к.

«*Стройка*», альманах, книга 4-я, стр. 287, ц. 2 р. 75 к.

Стревелес Стин, Батрак, повесть, перевод с фламандского Александрова Н. А., стр. 159, ц. 75 к.

Верфель Франц, Однокашники, роман, перевод с немецкого Т. О. Давыдовой, стр. 256, ц. 1 р. 20 к.

Одоевский В. Ф., Романтические повести, предисловие и вступительная статья Цехновицер Ореста, стр. 197, ц. 2 р. 75 к.

Саянов Виссарион, Картонажная Америка, поэма, стр. 181, ц. 70 к., переплет 18 к.

Страшемиров Антон, Хоровод, рассказ, перевод с болгарского Пушкаревич К. и Дмитриева Д., стр. 159, ц. 75 к.

Форш Ольга, Под куполом, рассказы, стр. 245, ц. 2 р.

Киперман, Спутник читателя, предметно-тематический указатель литературы, стр. 520, ц. 3 р. 50 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ».

Жаров Александр, Стихи о любви, стр. 91, ц. 1 р. 15 к., папка 15 к.

Замятин Евгений, Собр. соч., т. IV, Север, стр. 277, ц. 1 р. 70 к.

Хаит Давид, Перепутье, роман, стр. 283, ц. 2 р., переплет 25 к.

Адуев, Товарищ Ардатов, повесть-гротеск, стр. 98, ц. 1 р., папка 20 к.

Вульф, Дневники (любовный быт пушкинской эпохи), статья Семеновского М. И. Прогулка в Тригорское, редакция и вступительная статья Щеголева П. Е., стр. 445, ц. 3 р., переплет 25 к.

Оськин Д., Записки солдата, стр. 333, ц. 1 р. 80 к.

Дживелегов А., Очерки итальянского возрождения, стр. 234, ц. 2 р. 50 к., переплет 30 к.

Чужак Н. Ф. (ред.), Первый сборник материалов работников Лефа, Литература факта, стр. 269, ц. 2 р. 45 к., переплет 20 к.

«ПРОЛЕТАРИЙ».

Паустовский К., Блистающие облака, стр. 242, ц. 2 р.

Тверяк Алексей, Передел, роман, стр. 331, ц. 2 р. 35 к.

Леонов Леонид, Собр. соч., т. I, стр. 371, ц. 4 р.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ».

Иллеш Бела, Тисса горит, роман, стр. 336, ц. 2 р.

Шведов Я., Юр-базар, роман, стр. 208, ц. 1 р. 25 к.

«МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ».

Платошкин М., В дороге, роман, стр. 384, ц. 2 р. 25 к.

Ставский В., Станица, кубанские очерки, стр. 199, ц. 95 к.

Алтаузен Джек, Безусый энтузиаст, поэма, стр. 80, ц. 75 к.

Рыбьи тропы, Альманах, стр. 312, ц. 2 р. 50 к.

«ACADEMIA»:

Бельчиков Н., Теория Археографии, стр. 73, ц. 85 к.

Тучкова-Огарева Н. А., Воспоминания, «Памятники литературного быта», вступительная статья, редакция и примечания Переселенкова С. А., стр. 544, ц. 2 р., переплет 10 к.

Керн А. П., Воспоминания, «Памятники литературного быта», предисловие Новицкого П. И., вступительная статья, примечания и редакция Верховского Ю. Н., стр. 473, ц. 2 р. 90 к., переплет 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

Виноградская С., Воинствующий мещанин, библиотека «Жгучие вопросы», стр. 78, ц. 20 к.

Эрдберг О., Китайские новеллы, стр. 166, ц. 1 р. 40 к.

Стефансон Вильямур, Охотники крайнего севера, перевод с немецкого Гинзбург-Гельцер, предисловие проф. Некрасова, стр. 199, ц. 1 р. 25 к.

Здзярский М., Девять дней свободы, авторизованный перевод с польского, предисловие Феликса Кон, стр. 129, ц. 85 к.

Ивушкин Н. и Тимофеев В., Библиотека комсомольского опыта. Производственное воспитание молодежи.

Письмо в редакцию.

В газете «Известия» от 30 апреля 1929 г. (№ 99) в статье под заглавием «По толстым журналам» А. Лежнев в обидном для меня и искаженном виде передает своими словами «эпизод с дворником» из «Моих записок», напечатанных в январской книжке журнала «Красная новь».

По словам Лежнева выходит, что я, якобы клеветнически, написал, что Толстой сам передал свою беседу с дворником барыне и что поэтому Толстой у меня вышел «мелко тщеславный, черствый человек, не стесняющийся предать того, кто ему доверился».

Как раз все это не так, и ничего подобного я не говорил. У меня сказано: «когда после дворник узнал, с кем беседовал и кому «расписал» барыню, — испугался. Да и было чему. Барыне, конечно, «доложили» об этом случае» и т. д.

Так вот: «барыне «доложили» написано у меня, а не так, как говорит Лежнев: «Толстой передал по назначению слова дворника».

«Доложили» барыне не Толстой, а другие, и «эпизод с дворником» рисует Толстого не с той стороны, с какой кажется это Лежневу, а с другой — со стороны барыни-помещицы, которая (а их было немало) обожала Толстого, проливала, может быть, над его драмой «Власть тьмы» и рассказами «Чем люди живы» слезу и в то же время, не задумываясь, приказывала гнать из своего имения какого-нибудь вонючего Акима-простоту.

«В таких мелких и гаденьких поступках не обвиняли еще Толстого даже его злейшие враги. Зачем понадобилось Подьячеву через 40 лет облить автора «Крейцеровой сонаты» (почему именно «Крейцеровой сонаты»?) помоями, остается его секретом», — торжественно заканчивает критик Лежнев.

Так. А я с своей стороны спрашиваю: с какой это стати понадобилось Лежневу оскорблять и возводить на меня, Подьячева, эту ложь, в коей я (С. Подьячев) неповинен?

Ведь если бы точно мне было известно, что Толстой, действительно, сам передал барыне «эпизод с дворником», так я бы нисколько не задумался сказать это, невзирая, конечно, на то, что он — автор «Крейцеровой сонаты».

Но этого не было, и «посему и принимая во внимание» и т. д.

С. Подьячев.

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский. Вс. Иванов. С. Канатчиков. Ф. Раскольников. В. Фриче.

Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4, тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ.

От редакции. Неизданные литературные работы В. В. Воровского «В кругу и вне круга» и «Ева и Джиоконда» по недостатку мест не вошли в настоящий номер и будут помещены в следующем.